



Элеонора Гильм

ОБМАНУТЬ СУДЬБУ

Не зря она стала грешницей

Элеонора Гильм

Обмануть судьбу

© Гильм Э., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Посвящение

Маме – за вдохновение, правки, ценные советы, без которых подобная дерзость была бы невозможна.

Андрею – за твердую веру в мою творческую звезду.

Папе – за звучный псевдоним и глубокий интерес к истории русской деревни.

Моему редактору, Виталине Смирновой, – за помощь и поддержку; за то, что разглядела рукопись в веренице писем

Пролог

Он хлестал по склонившейся узкой спине, которую так любил гладить. Смотрел на покорный затылок, на выбившиеся волосы и становился еще беспощаднее. После первого удара жертва закричала. От боли перехватило дыхание. Женщина упала на колени и только подвывала, поняв, что муж быстро не успокоится.

«Забьет меня до смерти... и ладно», – подумала она, и спасительная темнота накрыла с головой. Сарафан превратился в лохмотья, не прикрывавшие расплосованную спину. Мучитель жалел жертву, удары были совсем слабыми – для острастки. Не хотел он ее убивать – лишь наказывал за измену.

Когда она обмякла на полу, мужчина плеснул в лицо воды. Женщина заморгала, не понимая, что происходит. В один миг нахлынула резкая боль, она застонала.

– Рано еще стонешь, – усмехнулся муж. Свист плети, стоны и крики разбудили в нем греховное, паскудное желание. – Это еще не все наказание. Как хорошая жена, должна ты ублажить мужа, которого долго дома не было. Одна беда, голубушка! Другого ты тешила, поганю мне после него с тобой... Что делать будем?

– Иди к другой, – пробормотала запекшимися губами.

– Ишь чего удумала, не нужна мне другая, у меня жена есть, венчанная. Я знаю другой выход. – Сорвав остатки сарафана, он резким движением поставил ее на колени, стащил свои портки и пронзил, будто копьем. Безжалостно, резко, грубо он овладевал той, которая была его женой, мечтала стать матерью его детей. Испытывал особое удовольствие от ее унижения, от зверства своего. Громкий победный крик исторгло его горло, а жертва и стонать уже не могла, просто рыдала тихо, беззвучно.

– Оденься! И обмой своего мужа! – приказал мучитель.

Еле выпрямившись, она потащила лохань. Смочив ветошь, обтирала когда-то любимое тело и не чувствовала ничего, кроме ненависти. Скоро уставший муж захрапел на лавке.

Жена ополоснула истерзанную плоть, исхитрилась помазать спину травяным настоем. Встала у лавки и долго стояла, не отрывая глаз от

мужа. Она взяла с поставца большой тяжелый нож, которым разделывала мясо. Нож заманчиво оттянул руку. Женщина смотрела отражавшее свет лучины лезвие, гладила дорогую костяную рукоять, будто желанного любовника.

Глава 1

Конец безмятежности

1. Вороновы

Истошный ор прокатился по единственной улице деревушки Еловой и пошел гулять над Усолкой, уставшей от ледяных оков за долгую зиму.

– Что за галдеж? Совсем бабы сдурели. – Немолодой, но крепкий мужик возился в мужском углу избы.

– Василий, я схожу, любопытно, – отозвалась черноволосая женщина.

– Иди, Анна, коли заняться нечем.

– Оксюшка, ты со мной?

Наспех замотав девчушку в слишком просторный для нее, шестилетки, тулуп, накинув на свое пышногрудое тело теплую одежду, женщина вышла из избы.

Лед отливал богатой синевой. Ветер шаловливо играл с ветками ивы, перебирал концы старого платка, шевелил выбившиеся пряди Оксюши, охлаждал маленький нос.

Несколько разгоряченных женщин сгрудились на одном пяточке и кричали, перебивая друг друга. Анна с дочерью подошли поближе. Деревенская знахарка, Гречанка, расхристанная, полураздетая, стояла, гордо подняв седую голову. Из фигурно вырезанных ноздрей породистого носа стекала тонкой струйкой кровь. Знахарка и не пыталась утереться, позволяя крови настойчиво капать на неопрятно потемневший снег. Оксюша смотрела на бурые пятна и от страха кусала розовый палец.

Худая, востроногая Гречанка появилась в деревне давно. Даже спустя два десятилетия еловские считали знахарку пришлой, чужой. Ее христианское имя Глафира в деревне не прижилось. Звали Ведьмой, Гречанкой. Бабы недолго любили знахарку, но часто бегали за снадобьями от худого кашля, от поноса, от боли в спине. Поговаривали, что может ведьма избавить от паскудного бремени, наслать любовную сухоту, исцелить смертельно больного, выторговав жизнь его у нечистого.

Самая громкоголосая, молодая женщина, носившая старое, почти забытое имя Еннафа, с ревом наступала на знахарку. Молодуха сжимала крупные костлявые кулаки, жаждала крови. Несколько дней

назад она родила недоношенную девочку. Дите оказалось слишком слабым для брэнного мира, и Бог прибрал его к себе. Не желая смиряться с потерей первенца, Еннафа винила во всем проклятую ведьму.

Бабы теснили Глафиру к Усолке. В руках Маланьи, соседки Анны, появилась туго сплетённая веревка. По всему видно, еловчанки решили проверить, знается ли Глафира с нечистой силой. Всем ведомо, если ведьму связать, она всплывет. Без помощи ее черти не оставят.

Гречанка отступала, голые посиневшие ноги проваливались в рыхлый снег. Она почти падала. Бабы, как собаки на охоте, гнали свою добычу. На черных сиротливых ветках собрались вороны и оглушительно орали, будто подзуживали лиходеек, подталкивали их к дурному делу.

Аксинья задрала голову:

– Они утопить хотят? Жалко...

Возле реки скопилась порядочная для деревушки толпа. Кто-то крикнул:

– Не утонет Гречанка. Ведьма ведь!

Мать наклонилась, отодвинула с дочкиного уха косынку, выпустила на стылый воздух горячие слова:

– А что мы сделать-то можем? Они и нас утопят. Страшны бабы во гневе, прости Господи!

Сильная рука Еннафы схватила седые растрепанные волосы.

Только окунула она в холодную воду Гречанку, раздался гул:

– Топи ее, окаянную. Так ей и надо!

– Гречанка, иди в преисподнюю!

– Вережкой-то связывайте! Неумехи!

Уверенный голос разрезал толпу:

– Бабы, вы бы отпустили знахарку. Ничего плохого деревенским она не сделала.

Анна встрепенулась.

Кто еще не побоялся бы дурного женского племени? Жаркой гордостью обдало ее с ног до головы. Среднего роста, кряжистый, Василий был из тех мужиков, на которых держится земля русская. Всегда болел за правду и шел супротив толпы по настойчивому зову сердца.

– Прав он, непотребство затеяли. Еннафа, быстро домой, – худой, сгорбленный старик остановился рядом с Василием. Его повелению подчинились, казалось, даже вороны, спешно взметнувшиеся с деревьев и полетевшие на другой берег.

Рука молодки застыла над берегом. Посиневшая знахарка ловила ртом воздух. Со свекром спорить было бесполезно, Еннафе пришлось выпустить из рук добычу.

Гермоген был тих, по-стариковски нетороплив, но слово его не только в семье – во всей Еловой было непререкаемо. Не меньше двадцати лет он мирил ссорившихся, решал, за кем останутся лучшие заливные луга, следил за сбором посошного^[1], церковной десятины, ямской и десятка других повинностей, возложенных властью на простого человека.

Народ быстро разбежался. Потеха закончилась. Гречанка выжала волосы, быстро покрывшиеся льдистой коркой. Взгляд ее остановился на Анне и Оксюше, которые молча стояли на берегу.

– Вот так-то, бабоньки. Сердце человеческое черствее прошлогоднего хлеба, – сгорбившись, Гречанка пошла в свою избушку, кособоко примостившуюся на окраине деревушки. Казалось, ее узко вылепленные ступни не замечали холода.

Вслед Анна прошептала, не для дочки, для себя:

– Не со зла они...

Дома Оксюша разревелась. Огромные слезы катились из темных, чуть выпуклых глаз.

– Дочка, ты что это сырость развела? – отец склонился над крохой, забавной в своем детском горе.

Анна с Василием долго утешали дочку, а она и сама толком рассказать не могла, что так расстроило ее. То ли бабы со страшными, перекошенными лицами, то ли судьба старой знахарки, то ли дыхание смерти. В этот день девочка впервые ощутила, как страшен может быть мир, как ненависть делает пустыми глаза, как крючит пальцы, превращая их в смертоносные когти.

* * *

Аксинье повезло куда больше, чем многим ее ровесницам. Последыш в семье, она веревки вила из своих родителей. Появилась Оксюша у сорокалетней матери, которая детей заводить боле не

намеревалась. Но природу не перехитришь. Дарья, Петухова жена, подначивала Анну:

– Настругал тебе Васька дите на старости лет. Ты стругалку-то его утихомирь, а то увлечется мужик. Еще парочку сварганит нахлебников.

Раздобревшей Анне помогал десятилетний Федор. Лишь он остался в избе из всего обширного выводка Вороновых. Стройный, гибкий, с каштановыми кудрями, ангельскими чертами лица он слыл бы на селе первым красавцем, но... С самого детства дьявольская болезнь не давала Федьке покоя, падучая скручивала его, кидала наземь. На губах выступала пена, и рассудок надолго покидал горемычного. Сколько слез пролила мать над ним – не счесть.

Ничего мальцу не помогало, лет до десяти чуть не каждую седмицу случался приступ. Родители не знали: то ли молить Бога о выздоровлении, то ли просить, чтобы он ниспослал Феде милосердную смерть... Из-за приступов голова Федина работала иначе, чем у других, говорил он медленно, не мог додуматься порой до самых очевидных вещей. Сторонился чужих людей, все больше молчал, зато помогал отцу в гончарном деле, работал в дворе, ухаживал за скотиной и огородом – трудился за троих.

Гончарный промысел принес семье Вороновых небольшие накопления: уплатив подати, церковную десятину, тратя деньги на сырье и попутные надобности, они жили безбедно. Срубили новую избу-пятистенку с просторной светелкой. По обычаю родных мест Василий пристроил к глиняному телу печки деревянный короб – и плотный дым выходил из избы. Соседи долго смеялись над недотепой с Казани. В холодных землях расточительством было выпускать тепло на волю. Все топили печи по-черному. Русский человек привык вдыхать сажу, пачкать порты в копоти. За седмицу белая рубаха становилась грязно-серой. Год-другой, смешки поутихли, и по Еловой пошел обычай печи ставить, «как у Васьки-Ворона».

К избе с правого бока прилепился сарай с гончарным кругом, малой печью и товарами для продажи. В четырех шагах хлев, гумно, куть с запасами. Лодка-долбленка, два жеребца, корова с теленком, свиньи да птица – вот все их справное хозяйство.

* * *

Оксюша, подвижная, смышленная, с огоньком в очах, сновала по двору и избе, не столько помогая, сколько отвлекая взрослых своими вопросами. «А почему солнце восходит на востоке? А почему цапли осенью улетают?» Темноглазая, с каштановыми волосами и чуть раскосыми живыми, озорными глазами, она была похожа на отца своего, Василия, в котором текла кровь инородцев. Румяные щечки, ладная фигурка и мелодичный голос достались от матери Анны.

Никто из старших детей Вороновых, да и всех детишек и помыслить не мог, чтобы строгие родители ласкали, целовали, баловали. Строгий окрик, молитвы, розги на заднице – так десятилетиями воспитывались дети в суровом краю.

Аксинья будто притягивала любовь и заботу не только родичей, но и соседок, подруг. Девчушка заливисто смеялась в сильных, хотя и немолодых руках отца, доверчиво прижималась к матери и забавлялась над Федей, для которого стала и радостью, и докукой. Аксинья любила спрятать его одежонку и веселилась, наблюдая за судорожными поисками.

– Федя, а, Федя, а посчитай, сколько кошек у нас в деревне!

Он послушно шел считать и был остановлен кем-то из родителей. Аксинье выговаривали за каверзы, а Федя смешно злился, морщил нос.

– Отгадай загадку: белая морковка зимой растет.

– Морковка зимой... Как так может быть? – неповоротливый ум парня не справлялся с такими задачками. Он чесал затылок, убегал в мастерскую к молчаливым кринкам и горшкам. А девчушка вслед кричала:

– Сосулька это, братец, как не догадаться?

* * *

Поздней осенью Аксинья по своему обыкновению крутилась в мастерской. Маленькая, юркая, она носилась со свистулькой, отцовским подарком. Федор, с кряхтением тащивший тюк с глиной, запнулся и уронил свою тяжелую ношу на ногу. Оксюша с плачем и криками побежала в избу, а Федор тихо стонал на земляном полу сарая.

Нога подернулась синевой, парень закусывал губы, видно было, что мочи терпеть нет. До вечера Гречанка колдовала над ним. Нога, смазанная студенистым отваром, была заточена в лубок. Глафира шептала неведомые заговоры тихо, безучастно, прикрыв

морщинистыми веками совиные глаза. Дрожащее пламя лучины освещало покрывшееся испариной лицо Федора, трепетало на смуглых руках Глафиры. И его пляшущие отблески бились в такт напевному шепоту знахарки.

– Помоги... Помоги ты ему, – бормотала Анна. И не было в ее душе страха перед неведомым, перед чародейством, что могло помочь ее сыну.

Кряхтя и держась за поясницу, Глафира разогнулась:

– Все сделала я. Он молодой... Бог даст, еще бегать будет.

– Спасибо тебе, Глафира. В пояс кланяюсь.

– Ишь, спасибо. А давеча смотрела, буду я тонуть или нет. Да ты не спорь со старухой. Все понимаю.

Знахарка охотно взяла мешочек с весело бренчащими медяками и отказалась от густого варева, томившегося в печке.

Только к вечеру Анна спохватилась: младшей дочки нет. Ни на печке, ни в кути^[2], ни у постели родного брата.

– Вася, а Оксюша-то где?

– И на печи нет? – лежанка на печке, теплая и уютная, была любимым местом баловницы.

– Нигде ее нет, горюшко. Как просмотрела-то!

Долго еще огоньки лучин освещали двор Вороновых.

– А-а-а-аксинья, – раздавался протяжный женский крик.

– Оксюша! Что за пакостная девка! – вторил мужской голос.

Крошечную фигурку встревоженные родители обнаружили в самом темном углу мастерской. Девочка свернулась клубочком и замерла, как испуганный мышонок, прислонившись к еле теплой печи. Остывшая мастерская была не лучшим приютом для ребенка.

Отец принес всхлипывающую во сне Оксюшу в избу на руках. На следующее утро девочка запылала жаром. Анна крутилась как белка в колесе: сын не вставал с кровати, а теперь и дочка занемогла. Поглядев на маету жены, Василий принес Оксюшу к знахарке.

– Вылечи, Глафира, кровинушку мою, – поклонился в пояс.

– Иди. Не тревожься.

Весь сечень^[3] девчушка прожила у ведуньи, исправно принимала все отвары, дышала целебным паром, мазала грудь барсучьим жиром, играла с ее черным здоровенным котом и быстро поняла, что пришлось по сердцу Глафире.

– Бабушка, расскажи мне про Гевеста^[4]. Сказку...

Вечерами Глафира, сложив на коленях узловатые руки, раскидывала перед замороженной девчушкой яркие картины. Бесчисленные истории про славянских богов, лешего, берегинь, Перуна, Велеса. Знала она и множество греческих мифов, которые завораживали Аксиною своей красотой, замысловатостью и напевностью.

– Родился Гевест, сын Зевса и Геры, на Олимпе слабым и хромым ребенком. В гневе великая Гера сбросила хилого мальчика на землю. Сжалились над ним морские богини, унесли его с собой в воды седого Океана. Вырос Гевест хромым, но сильным, с могучими руками. Стал он искуснейшим кузнецом, ковал украшения из золота и серебра.

– А подковы для лошадей ковал? А плуги?

– Ковал, Аксиноюшка. И получались они у него крепкие да красивые, с коваными завитками, на зависть всем остальным мастерам. Боялись люди его силы.

– А почему так мать с Гевестом поступила? Злая она.

– Немилосердной была Гера, да и в те давние времена люди были нрава совсем другого, не смиренного, буйного, дикого. И боги тоже были жестокими к людям, друг к другу.

– А сейчас люди добрее?

– Стараются быть добрее, вера христианская учит милосердию. Но, – вздохнула Глафира, – не у всех получается. – Вспомнила, как давеча Еннафа утопить хотела, как мальчишки бросали в нее камнями. Вот и вся доброта. – Пора нам спать, золотце.

– Спой мне песенку.

– Ой бай да побай,
Поди, бука, на сарай,
Бука, в избу не ходи,
Наше дитя не буди!

– Бууука, – бормотала девчушка.

Тихо потрескивали поленья в печке, за окном вилась вьюга, кот сонно скрутился в клубочек и закрыл нос лапкой.

– Мороз крепчать будет, – поежилась старуха.

Она долго смотрела на спящую Аксиною, любовалась ее длинными ресницами, слушала сладкое дыхание и тосковала о том, чего никогда

у нее не будет.

Федина нога зажила быстро, уже через две недели он бодро, опираясь на сучковатую палку, хромал по двору. Возвратившись от Гречанки, Оксюша перестала дразнить его. Прижималась к брату и затихала надолго, гладила его по непокорным кудрям и шептала: «Прости ты меня. Феденька самый хороший, Феденька мой милый». Брат жмурился, как довольный кот, млел под маленькими Аксиныными ручками. И не было на свете ничего, чего бы он не сделал для сестры своей.

* * *

Деревня Еловая вольготно раскинула семнадцать дворов на берегу Усолки. Лишь семь верст отделяли ее от Соли Камской. Небольшая речка давала деревне вдоволь воды, в ее прохладных глубинах водилось множество рыбы – и хариус, и сазан, и щука, и сорный окунь, и даже царская рыба-осетр.

Деревню семь десятков лет назад основал Николка Петух, работающий и неразговорчивый помор. Почти половина дворов и сейчас принадлежала потомкам крепкой крестьянской семьи. Не мудрствуя, деревню стали звать по тому дереву, что в изобилии росло в окрестностях.

В Солекамском уезде крестьяне все были государевы, черносoshные. Еловские жили тем, что вырастить могли на земельных десятинах, простиравшихся широкой полосой от реки до леса. Поля щедро давали урожай капусты, репы, ржи, ячменя, но бедно родили сладкое пшеничное зерно. Порой земля кормила житом вдоволь, а иное лето пашенные люди туго затягивали пояса, и матери в слезах успокаивали надрывающихся от плача детей с голодными глазами. Работа на государевой пашне, ямская повинность, десятина церковная... Не разжиреешь.

Два крестьянина в Еловой хозяйство вели из рук вон плохо. Ермолка Овечий хвост много пил и не знал меры в пьяных безумствах. Макарка, ленивый, скудоумный, сеял последним, рожь убирал, когда колосья осыпались, но хвастался перед всяким, готовым его слушать. Худых хозяев презирали в деревне, считали людьми ленивыми или пьющими: окрест Еловой столько земель, корчуй лес, распахивай, сажай, работай – и голодным не будешь.

Четверо еловских мужиков своими умелыми руками и смышленной головой заслужили счастье не зависеть от своевольной матери-природы. Каждый из них хорош был в своем ремесле, оно его кормило и несло почет и уважение односельчан.

Был в деревне свой бондарь, прижимистый мужик Яков Петухов, приумноживший доброе приданое жены. Могла похвастать Еловая и кузнечных дел мастером, веселый и безалаберный Пров и его толстушка жена всегда отличались хлебосоольностью. Угрюмый бортник Иван, потомок того же Петуха, казалось, больше любил пчел, чем свою надоедливую Маланью. Василий Воронов три десятка лет назад осел в Еловой. Кувшины, чашки, блюда с вороном на донце были в каждой еловской избе.

Ремесленники продавали товар свой в Соли Камской на базаре, а чаще сдавали местным купцам по сходной цене и не бедствовали. Ремесленные люди в деревне держались несколько особняком, им завидовали, порой просили о помощи...

Были ссоры-ругань, куда без них, но жила Еловая дружно и крепко, без мордобитья и пьяных свар. За пару десятков лет самым серьезным делом, что довелось решать Гермогену умным словом и громким окриком, – смертоубийство, что чуть не сотворено было его невесткой Еннафой на берегу Усолки.

2. Детство

Аксинья, младшая баловница, каталась как сыр в масле. Лет с шести стала она проситься с отцом в город на рынок, и отказать ей не было никакой возможности – поднимался рев на весь дом. Петушки на палочках, бусы, ленты, отрезы ткани выпрашивались взрослеющей Аксиньей у отца, и возразить любимой дочурке он не мог. Федька всегда ездил вместе с отцом – сильный, он осторожно снимал с телеги посуду, перетаскивал коробки. Испуганно косился на гомонящую толпу, старался побыстрее залезть в телегу и зарыться в солому до отъезда в родную деревню.

Аксинья рада-радешенька таким поездкам. Румяная, нарядная, в беличьей шубке, крытой синей понёвой^[5], расшитой речным жемчугом и перламутром – не зря зимними вечерами выкладывали бусинами цветы и птиц заморских. На каштановых волосах шапочка, отороченная беличьим мехом, теплые рукавицы, ладные сапожки на маленьких ножках.

Соль Камская с широкими улицами, быстро, будто по прихоти кудесника застраивавшимися крепкими домами, была местом, где покупали и продавали не только зерно, меха, утварь, телеги, животину, но и заморские ткани, специи, чудные дамасские клинки, персидские ковры. Все, что душе угодно!

Более столетия назад, при московском князе Василии Темном посадские люди Калиниковы организовали соляной промысел на речке Усолке, впадающей в прозрачную Каму. Лет через пятьдесят на месте встречи двух рек вырос небольшой поселок. Соль принесла добытчикам деньги и обеспеченное будущее. Поселение стояло на пути из Москвы в сибирские земли, у подножия Урала. Через полсотни лет Соль Камская могла похвастаться деревянными укреплениями, церковью, посадником. Город не раз уничтожался пожарами, разорялся лихими тюменцами, ногайцами, но отстраивался каждый раз краше прежнего.

Центр Усольского уезда, Соль Камская славилась своим богатством, невиданным для края диких лесов: шестнадцать соляных варниц, двадцать шесть торговых лавок, лари для хранения рассола... Базары были полны народа с утра и до позднего вечера. А амбаров

сколько в городе, высоких, крепкого дерева, хранящих запасы зерна, мешки с зерном для далеких сибирских острогов и деревенок!

Покончив с делами, отец с дочкой ходили по городу, заглядывали в лавки. Девочка глазела на чудные иконы, заморские товары и ткани, россыпи драгоценных камней, оружие.

– Покупай блюда бухарские!

– Шелк, ласковый, как девичьи руки.

– Пряности с далекой Индеи! Душистые, острые, сладкие! На любой вкус!

Торговая площадь, центральные улицы города были заполнены яркой, многоликой толпой. Можно было встретить в Соли Камской крестьян, иноков с Пыскорского монастыря, причудливо одетых зырян, тюменцев, татар, и казаков, и детей боярских, и блаженных, и уличных торговцев.

– А пошли сходим на солеварни, – предложил отец.

– Айда, батя, – подпрыгнула Оксюша.

С интересом следила она за солеваром, зачерпывающим воду деревянной бадьей, привязанной к журавлю. Вода по желобам стекала на небольшую сковороду – цырен – над печью в варнице. Длиннорукий поджарый мужик издалека замахал Василию.

– Здорово. Как дело идет?

– Да не жалуемся. В сутки 60–70 пудов соли вывариваем. Сам, брат, считай, деньги хорошие. Хочешь, кроха, поближе посмотреть?

Аксинья долго смотрела на шипящий на цырене рассол, постепенно превращающийся в крупицы соли.

Десятки рассолоподъемных башен высились по берегу Усолки, защищая город, словно высокие сторожевые. Они и кормилицы города – чем больше добыто соли, тем богаче город. Соль Камская даже жила по своему соляному календарю. Заканчивался он паводком весенним, когда вся работа на варницах замирала. Соль ждала своего часа в амбарах, а как только реки скидывали панцирь, белое богатство грузилось на огромные деревянные ладьи. Плоскодонные посудины по весенней воде доходили по Усолке аж до торговой площади.

Прошлой весной Оксюша, открыв рот, смотрела, как по сходням сновали соленосы, сгибаясь от тяжести, как выстраивались вереницей баржи, уже груженные; осевшие уходили, освобождая место следующим. Соль-пермячку знали уже по всей Московии и далеко за

ее пределами, в английских, немецких землях, иных басурманских землях.

Дядька схватил заскорузлыми пальцами Оскюшину косичку, дернул. Совсем не больно.

– Пойдешь замуж за меня, будешь заменять нас с братом на моей варнице?

Девчушка внимательно посмотрела на солеvara. Старый для нее. Она помотала головой, щеки покраснелись. Солевар и отец загоготали в полный голос, а Аксинья обиженно отвернулась.

– Не хочешь? Зря! Богатства бы нажили!

– Не смущай дочку, пермяк-солено-ухо! Другого мы ей жениха найдем, помоложе! И не с красными ушами.

В уголках глаз Василия расходятся, как паучки, веселые морщинки. Аксинье радостно от того, что отец смеется, от того, что яркое зимнее солнце переливается на крупинках соли, на белом снегу и делает Соль Камскую нарядной.

Свято-Троицкий собор, возведенный на холме, горделивым лебедем парил над округой. Здесь служили молебны, читали царские указы, отсюда начинался крестный ход. Аксинья каждый раз заново переживала восторг умиротворения, вдыхала запах ладана, молилась Николаю Чудотворцу.

Когда-то он спас город от беды, и теперь неугасимая свеча перед ликом указывала, что солекамцы помнят и чтят святого. Богатый киот с черненым серебром. Тонкое лицо, мудрые, вдаль глядящие очи... Не иссякает поток верующих, кладущих земные поклоны, молящие об исцелении, помощи в делах, заступничестве.

Оксюша крестилась, шептала слова молитвы:

– Николенька, сделай так, чтобы родители были живы-здоровы, чтобы брат Феденька исцелился от болезни своей падучей... Чтобы корова принесла маленького теленочка...

Природная нетерпеливость скоро брала верх, и она принималась разглядывать пришедших помолиться в главном храме города.

Вот дородная баба, наверно, купчиха, за руку тянет щекастого сына. Вон оборванный, босой, в рубище кладет поклоны перед ликом Николая Чудотворца. У самого входа стайка молодых девчушек, бедно одетых, крестится и успевает украдкой улыбнуться друг другу. Оксюша им шлет улыбку, а те в ответ лишь перемигиваются,

отворачиваются. Круглолицый узкоглазый тюменец молится, да как-то по-своему творит крест. Все это было любопытно девчужке, она дотошно выпрашивала у отца о городе, о людях, в нем жившем. Не раз Василий восклицал:

– Мужиком бы родилась – глядишь, делом каким занялась прибыльным. Но бабе одна дорога – замуж, и ум особый ей не нужен, так что ты, девка, в другое зри – как женой хорошей стать!

* * *

Аксинья крепко сдружилась с соседкой Ульяной. Они поверяли друг другу свои детские тайны, делились лентами-бусами, ходили на речку, а долгими зимними вечерами вместе шили тряпичные куклы, трепали лен и пели песни. Мать Ульянки при рождении померла, отец пропадал на охотничьем промысле. Стала она в избе Вороновых второй дочкой.

Анна привечала Ульянку: и лишние рабочие руки пригодятся, и вечера коротать веселее. Сызмальства девчонка пела затейливо, выводила сладкозвучные рулады. Да так, что заслушаешься, забудешь о деле и весь в слух обратишься. И сама как солнышко: рыжая, в веснушках, круглая, озорная, звонкоголосая. «Наш Рыжик» звали ее Вороновы.

Год рождения Аксиньки и Ульянки, 7092 от сотворения мира^[6], стал для Руси знаменательным – преставился Иоанн Грозный, которого боялись и уважали. Именно государь повелел строить остроги с посадами к востоку от Великого Устюга, именно государевы стрельцы пресекали походы лихих кочевых людишек на русские села. И поход на Сибирское Ханство атамана Ермака, и приведение под руку государеву местных инородцев – все это было во благо земли русской, для присоединения сибирских необъятных территорий. И через Соль Камскую, и через Орел – главную слободу Строгановых, и через Верхнечусовой городок шли отряды казацкие покорять сибирские земли. Дыхание дикого края чувствовалось и в Предуралье.

После великого царя остался сын Федор, болезненный и слабый умом. До Соли Каменной доходили слухи: не Федор правит, а зять его, Бориска Годунов, хитроумный и алчный боярин. Простому народу мало дела было до интриг у трона.

– Текла бы жизнь как заведено, сыты все были и обогреты – а кто уж там правит, не нашего ума дело, – судачили мужики.

А в семье Вороновых смеялись втихомолку:

– Государь Федя слаб на голову, и наш Федя такой же скудоумный.

За такие речи, услышь их староста деревенский, по голове бы не погладили, плетей могли прописать не один десяток. Но подобные слова до чужих ушей не долетали.

Годы правления Федора стали для Руси благодатными, невзирая на скудость его ума. Росли новые города и погосты, крепи ремесло и торговля, победоносная война со шведами прирастила новые территории. Простой народ славил нового царя – никаких докучливых новшеств не вводил, правил ровно да разумно, устраивал опричнины вроде своего отца, погубившей много честных людей.

Семья Вороновых жила в эти годы счастливо. Аксинья росла и превращалась в милую девчушку, Федя был большим подспорьем для родителей. Его приступы становились все реже, Глафира-травница помогла, шепнула, какие травы прогонят хворь.

Печалились родители, что старшие дети редко передавали весточки домой. Старший, названный Тимофеем, уж давно сгинул, сложил буйну головушку в казачьем походе. Средний Леонид стал в Архангельске большим человеком благодаря своему уму и хватке. Раз в год он передавал поклоны матери, отцу, брату и сестрам, сообщал, что в очередной раз родился сын или дочка. Их у Леонида было столько, что родичи со счета сбились. Уж вторая жена плодила ему отпрысков, первая уморилась четвертыми родами. Василиса, старшая дочь, любви большой к родителям не питала, да и для них, что греха таить, была она как приемыш. Но с Великого Устюга она исправно слала приветы.

Грамоты на селе никто, кроме травницы Глафиры, не разумел, потому к ней с поклоном шли все деревенские, получив весточку. Она же Аксинью мало-мальски научила писать и читать.

Запинающийся детский голосок читал строки, писанные умелым человеком под диктовку Василисы: о богатстве мужа ее, об очередном заморском ковре, бархате и серебряной посуде, купленных рачительной хозяйкой. Порой устюжская купчиха рассказывала родителям о дочурке Любаве, слабой здоровьем. Между строк Анна слышала: боится старшая дочь не родить мужу сына, наследника,

продолжение рода торгового. Прожив восемь лет бесплодной, с засохшим чревом, неожиданно разродилась Василиса долгожданным сыном, запестрели письма материнской негой: детёночек, пяточки, носик, мамка.

Средняя сестра, названная в честь матери и бабки Анной, жила от родителей недалеко, в селе Александровка, но родители видели ее редко.

– Только вы, светики мои, радуете родителей на старости лет, – обнимала Федора и Аксиныю мать. – Все птенцы разлетелись из родительского гнезда, будто не тепло тут спать, не сладко есть. Переживай теперь о них, вечно сердце мое материнское болит.

– Да, мать, и мне не по нраву. Один Федька с нами останется, и он внуков не сообразит. Аксиные скоро уж замуж пора, бросит нас, стариков.

Аксиныя обнимала мать с отцом и уверяла, что муж ей даром не нужен, всегда она в родной избе будет жить, и калачом ее отсюда не выманишь. Родители смеялись над ее причудами и поучали: «Жена при муже хороша, без мужа не жена».

– Не будем, Вася, Бога гневить, – завершала Анна привычный разговор, – у кого еще в деревне столько детишек выжило да порадовало родителей. Наших пощадила смертушка. Тому и будем рады.

* * *

– Аксиныя, иди сюда, – Ульянка, несмотря на свою сдобную полноту, не пропускала ни одной проказы еловских ребятишек. Залезть на самую высокую ель. Пройти по Усолке, покрытой тоненьким слоем опасно похрумкивающего льда. Ловить рыбу на узком Лисьем острове. Дразнить самого злющего в деревне пса во дворе бортника Ивана. Лешка, Семка, Игнат и Ульянка. Откуда только бралось в ней это стремление к опасности, это желание пройти по краю...

Сама Аксиныя была трусихой и ничего поделывать с собой не могла. Не хотела она ходить по незамерзшей еще реке, лизать весенние холодные сосульки... Но остаться дома солнечным зимним днем – ишь чего! Не дождетесь! Ульяна великодушно брала с собой пугливую Аксиныю и спокойную Анфису. Но далеко было им до рыжего бесенка.

Округлив глаза, девки чаще наблюдали за озорниками, чем сами участвовали в забавах.

Но в тот летний день Ульяна нащупала больное место подруги:

– Трусливая ты, Аксинья. Как есть, трусливая. Береза-то невысокая... Так и будешь всю жизнь всего бояться. За печкой сидеть.

– Ты не слушай ее, – просил голенастый худой Семка, соскребая лоскуты кожи с облупившегося на солнце носа. – Она дурная, рыжуха. Пусть сама на березе этой сидит... Как кукушка... Ку-ку-ку-ку!

– Травы собираешь... Знахаркой быть хочешь... А для травницы тоже смелость нужна... Вдруг решат божьим судом испытать, тоже бояться будешь? – поддевая сарафан, Ульянка быстро спустилась с березы, хитроумно связала сарафан меж розовых полных ног.

– Будь по-твоему. Убедила. – Аксинья вздохнула и попыталась повторить движения верткой подруги. Медленно цепляясь за ветки, обхватывая дрожащими пальцами нарядно-белый березовый стан, она полезла вверх. Смотреть вниз было страшно, земля казалось далекой. Девчушка устремила взгляд вдаль, на деревню Еловую, раскинувшуюся вдоль берега Усолки, на речку с бирюзовой водой, в которой отражались облака, на влажно поблескивающую после дождя дорогу...

– А красиво тут!

Сверху и Ульянка, и мальчишки казались мелкими и смешными.

– Аксинья, слезай уже, – крикнул Семка. Он всегда вступался за девчонок и был самым справедливым из всех еловских отроков.

– Лезу я...

Длинный сарафан сковывал движения, трясущиеся ноги с трудом дотягивались до веток.

– Ой, страшно-то как...

– Глаза отверните, – напомнила Ульяна мальчишкам, засмотревшимся на такое диво, как сторожкая Аксинья, спускающаяся с дерева. До земли оставалось совсем немного, аршина^[7] два, когда девчонка неловко поставила ногу на сучок, тот подломился... Летевшую с испуганным визгом Аксинью поймал Семен. Вместе со своей ношей он повалился на землю. Увидев так близко ее темные глаза с длинными ресницами, он сглотнул слюну.

– Спасибо... Семен, – Оксюша одергивала подол с травяными пятнами. «Ишь какая! Еле живая от страха, а улыбается. Спасибо...»

– Бесстыжие, чем занимаются! – бабка Анфисы, полная, одутловатая Матрена размахивала сучковатой палкой. – Ишь, с парнями тут кувыркаются! И Анфиску...в свои бесовские игрища втянули!

Растерянный Семен вскочил и, не чувствуя ног, побежал в лес. Билась, ворошилась мысль: вот о чем поют девки за околицей, вот что за грязные шутки рассказывают друг другу парни постарше, многозначительным хохотом провожая иную девицу.

Дети оторопело смотрели на бабку. Акси́нья судорожно поправляла подол. Куда деваться от стыда?

Ульянка с независимым видом смотрела на бабку, чуть выпятив подбородок. Анфиса опустила глаза и закусилла нижнюю губу, по лицу ее совершенно невозможно было понять: стыдно ей или нет.

– Фиска, ну-ка домой! – Матрена гнала внучку, погоняя ее, как глупую телку, своей палкой.

Видимо, пожаловалась бабка, довела Анну до белого каления. Остаток лета Акси́нья, Анфиска и Ульянка провели на капустнике^[8]. Рыжик долго хмурила почти незаметные брови. Парни перестали брать ее с собой. Презрительно кривили губы: «Девчонка».

3. Девичество

Зима 1597 года была ранней. Уже к концу жовтеня^[9] снег падал каждый день, заволакивая деревню белой пеленой. Скоро ударили морозы, и народ засел по избам. Женской половине семьи Вороновых было чем заняться: приданое Аксиньи, сложенное в больших сундуках, на взыскательный взгляд Анны, требовало пополнения. Целые вечера Анна с Аксиньей в бабьем куте^[10] пряли нескончаемую пряжу, ткали холсты для рубашек, сарафанов, кофт и прочих нарядов, скатертей, простыней, коих должно было иметься великое множество в сундуках невесты, если не хотела она прослыть бесприданницей.

Ульянино приданое было скудным – без матери, тетушек и других родственниц тяжело ей было собрать все, что надобно справной невесте. С помощью Анны Рыжик кропотливо занималась извечной женской работой, радовалась каждой подсказке в рукоделии: как стежок прошить, как нитку сделать ровной и гладкой.

– Не бойся, Ульяна, и тебе нашьем нарядов. Ты как дочка нам, – утешала Анна Рыжика.

– Ты матушка моя, ты душа моя. Лешка с деньгами приедет, как Бабиновку достроят. Лишь бы мне не осрамиться перед еловскими. Родители Лешки голытьба, стыдить не будут... люди-то поглядят, что скажут!

Рыжик ластилась, гладила полную руку Анны. Аксинья наматывала пряжу на веретено. Шерсть колола пальцы, ускользала, виляла хвостом, а горло сдавливала непонятная обида.

Долгие зимние вечера сплетались в месяцы, за напевными песнями и работа шла быстрее. Анна низким, чуть надтреснутым голосом заводила песню, Ульяна с Аксиньей подхватывали. Чистый колокольчик Ульянкиного голоса вырывался на свободу. Мать с дочерью замолкали, боясь исказить, затемнить узорочье песни.

– Уж ты месяц, что за месяц?
Ночью светишь, а днем – нет.
Уж ты милый, что за милый?
Вечер любишь, другой – нет.
Уж ты месяц, белый месяц,
Мне, сердечный, помоги.
Ах ты милый, не постылый,
Поцелуй да обними.

– Ульяна, век бы тебя слушала, – утирала слезу Анна.

– Как страдаешь, как выводишь голосом. Не рано ли тебе, подруженька, песни такие петь? Милый, сердечко, поцелуй... – хохотала Аксинья.

– Да в самый раз. Лешку не забыла? – ерепенилась Ульяна, но послушно заводила совсем другие песни.

– Зайка, серый, где бывал?
Зайка серый, где гулял?
– Был я, парень, в том лесочке,
Гулял, парень, в том лесочке.

Аксинья подхватывала песню-прибаутку, передразнивала зайчишку нарочито высоким, писклявым голосочком.

– Зайка серый, не видал кого?
Зайка серый, не встречал кого?
– Видел, парень, я в лесу,
Видел девицу-красу:
Коса золотая, уста медовые,
Брови-соболя, очи пламенные.

Анна сдерживала улыбку, но смешинка гостевала в ее глазах, застревала в уголках темно-красных губ.

* * *

Филипповский пост, когда 40 дней вести себя надобно было тихо, скромно, питаться постной едой без мяса, молока, казался девушкам нескончаемым и самым скучным временем. Одно радовало – каждый день приближал к светлому празднику. Наступал долгожданный

сочельник, в каждом доме варили сочиво, ячменные или пшеничные зёрна с медом.

Уже с утра начинали готовиться к празднику: Аксинья с Ульяной мыли полы, убирались в доме, Анна у печки весь день провозилась, Федор был на подхвате – воды принести, половички выхлопать, сундуки оттащить, а Василий занимался баней и наведением чистоты во дворе. Вечером пошли в баньку, мыться и париться. Сначала мужики в самый жар, потом бабы.

Аксинья в бане нет-нет да скосит глаза на подружку. Грудь Ульянкина росла не по дням, а по часам, будто и правда дерьмом мазала. Этот совет лукавый бабы всегда давали девкам: мол, в курятник сходите и пышные перси отрастите. Всерьез, конечно, совет никто не воспринимал. Но для худенькой Аксиньи ее медленно растущая грудь была предметом большого разочарования. «Эх, у Ульянки в любом сарафане видно грудь. Невеста невестой. Снизу-то волос сколько! Баба почти, а я...»

Матери девушка так и не решилась поведать о своих огорчениях, а Глафира в ответ на ее сетования пообещала, что все еще будет. И сверху, и снизу вырастет все, что надобно. Просто у одних происходит это быстрее, и сами они потолще, посправнее, у других помедленнее. Но природа всегда берет свое. Другой тайной печалью Аксиньи было, что она еще девушкой не стала, Ульянка давно уже прятала окровавленные тряпицы, жаловалась: «Болит живот и муторно! Тебе, Аксинья, повезло».

С наступлением вечерней трапезы оканчивался и строгий филипповский пост. Можно было вдоволь наесться и поросенка запеченного, и окорока, и колбасы домашней, такой вкуснятины, что и за уши не оттащить.

– Аксинья, Ульяна, – надрывалась за воротами стайка девок и парней.

– Глянь, Семка с ними, – вытянула шею выскочившая на крыльцо в одном сарафане Ульяна. – Слышим, глотку не рвите. Выйдем сейчас.

Лицо и руки Аксиньи вымазаны были сажей. Для пущей красоты подрисовала она себе усы и прицепила клочки козлиной шерсти на вывернутые тулупы.

– Ульяна! Ты ж перепугала до смерти!

Аксинья заворуженно разглядывала причудливую маску. На обруч из бересты нашла Ульяна куски медвежьей шкуры, в прорехах виднелись острые зубы добытых Лукьяном зверюг, сзади свисали козлиные хвосты. До самого носа закрывала маска девичье лицо, оставляя открытыми лишь довольно улыбающийся рот.

– Когда ж успела?

– Избу свою протапливать ходила, там и шила. Пригодились отцовские шкуры из сундука. Вот девки завизжат!

– А зубы-то волчьи зачем прицепила?

– Укушу, гляди, – повела головой Ульяна.

– Б-р-р-р.

Поглядели друг на друга, приснули смехом. Выбежали из избы, хлопнув дверью.

– Ульянка, ты что ли?

Девки и парни окружили ее, с удивлением разглядывая причудливый наряд. Игнат, которого сложно было узнать в козьей шкуре и с рогами на голове, подхватил ее за руку.

– Иди, красавица, с нами.

– Христос рождается, славьте, – пропела румяная Зоя и подмигнула подругам. – В какую избу пойдём? Где больше пряников дадут? К Макару-бедняку не стоит.

– Айда к Спиридону Петуху, – крикнула Ульяна.

Игнат весело осклабился:

– Там коляду ждут.

Веселая ватага с песнями и прибаутками двинулась по деревне.

– Коляда, колядка!

На языке сладко,

Выноси блины

Ай да вкусны!

Полная, с маленьким носом, утопающим в красных щеках, Дарья, жена Спиридона Петуха, залиvisto хохотала, целовала измазанных сажеей парней и девок. Ее младшие дети, мал мала меньше, полураздетые, выскочили на крыльцо и с визгом крутились вокруг ряженных, лезли на руки к черту-Игнату, признав в нем старшего брата.

– Угощайтесь, родные, – в протянутые руки чертей, козлов и прочей нечисти упали теплые, сочащиеся жиром пышки.

По всей Еловой раздавались песни, шутки, смех. Двор старосты Гермогена и его снохи Еннафы шумная ватага, не стовариваясь, обошла стороной.

Аксинья, заправляя под платок выбившиеся из косы волосы, чуть задержала шаг. Сейчас же рядом с ней появилась фигура с бараньими рогами и кривой улыбкой на черном лице.

– Аксинья, разговор есть.

– Да что мне с тобой, Семка, говорить. Догоняй!

– Стой, – схватил долговязый парень ее за плечи. – Ты что ж такая...

– Семка, отстань!

Аксинья бегом догнала ватагу и подхватила под руку горделиво шагающую Ульяну.

– Семка приставал? – пряный, сладкий запах медовухи окутал Аксинью. – Пощупал бы через тулуп. Убудет что ли? Напоследок.

– Ульянка, почаще бы чарку отставляла в сторону. Смотри, отец мой унюхает – обеим достанется.

На Святочной неделе вся деревня гудела. Песни, пляски, визг и ряженые. Печи с томящимися мясными похлебками. Лишь в эти дни бабы и девки могли без оглядки выпить большую чарку медовухи назло всякой нечисти.

– Ульяна... Голос охрип, – Семен поравнялся с подругами. – Домой пора. Христос родился, – наклонился он к рыжухе и запечатлел на ее щеке мокрый поцелуй. Даже не посмотрел на Оксюшу. Шатаясь, пошел домой.

– Меня будто и нет...

– Ты чего надулась? Сама от него убежала.

– Твоя правда.

– Сама ты не знаешь, чего хошь... Задурила парня.

– Дурень он сам по себе... Без меня...

Подруги замолчали, слышен был лишь праздничный скрип снега под ногами.

– Анфиса, – окрикнула Аксинья тихо бредущую маленькую фигурку.

– Оскюш?.. Домой идешь?

– Держи. – Аксинья протянула связанные в тряпицу пряники и лепешки Анфисе.

– Спасибо. – Та сжала узелок и спрятала глаза.

– Подруженька... Накорми воробышков. Небось с голоду помирают, – Ульянкина рука с пряниками повисла в воздухе. Анфиса, шумно втянув воздух, резко развернулась и почти побежала к родной, вросшей в землю избе.

– Ты зачем с Фисой так? – Аксинья уминала теплым сапогом снег. Круг, лучи...

– Солнце у тебя получается?

– Ульяна?

– Почему помогать мы ей должны? Гордая такая. Слова хорошего не скажет. Только голову задирает. Пусть бедняцкое семя место свое знает...

Изба Анфисы соседствовала с Ульяниной, земля была самой бросовой. Ермолая по прозвищу Овечий Хвост в Еловой не уважали за большое пристрастие к хлебному вину. Его жена, тихая замученная Галина, боялась мужа как огня. И эту боязнь передала детям. Младшие братья и сестра, замурзыканные и голодные, зимой не показывались на улице. Лешка, сын Ермолая, потому с охотой и отправился на многотрудное сооружение Бабиновской дороги – выйти из родительской нищеты.

Анфиса отличалась и от непутевого отца, и от безголосой матери, замученной нуждой. Была Фиса спокойной и рассудительной девкой. Темно-русовая коса, неяркое лицо, вечно потупленные глаза скрывали острый ум.

Анфиса, дочь Ермолки, часто застенчиво скреблась в дверь Вороновых. Аксинья уставала от громкоголосой Ульяны, и в радость был тихий голос и разумные речи Фисы. А та с благодарностью проводила вечера в уютной избе подруги, без ругани и пьяных криков, которыми был наполнен ее отчий дом.

– Не любишь ты Фису. Золовка твоя будущая... Сестра Лешкина. Он вернется, что скажет? Дружить ты с ней должна, а не ругаться.

– Спать хочу, – Ульяна так и не ответила на вопрос подруги.

* * *

После сытного, до ядерной отрыжки ужина началось любимое развлечение Вороновых. По случаю на солекамском рынке куплена была Святая книга. Желтая, потрепанная, с каплями жира и копоты на

кожаном переплете, она перелистывалась многими руками до того, как попала к Вороновым.

– Не может, братия мои, сма... смоковница приносить масло... маслины или виноградная лоза смок...вы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. – Акси́нья по слогам выговаривала мудреные слова. – Батюшка, а смоковница...Что такое?

Василий теребил задумчиво бороду, отложив в сторону упряжь. Дочка и жена пытливо смотрели на него, ждали ответа. Ульянка перебирала ленты и бусы, ее чудеса заморские вовсе не интересовали.

– Акси́нья, это вроде нашей пшеницы, хлеб приносит.

– Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кра... кро...тостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и варивость... сварливость... то не хвалитесь и не лгите на истину.

– Благостны слова твои, Господи, – одобрительно теребил бороду Василий. И еще через пару страниц Книги, пожелтевшей, заляпанной, голова его клонилась вниз, нос начинал высвистывать тонкую мелодию.

* * *

– Акси́нья, Семка ни на шаг от тебя не отходит... будто привороженный. Глафира научила? – выпрашивала Ульянка.

Соседский Семен с прошлого лета смотрел на Оксюшу осоловелым взглядом и ходил за ней, как телок. Она его дразнила. Заливалась звонким смехом, когда Семен заводил разговоры. Не отказывалась от медовых сот в тусеке. Шепталась с ним на глазах у деревенской молодежи.

Подругам Акси́нья твердила одно:

– Они, еловские наши, смешные, лопухие, нескладные. Вместе мы с ними росли, помним их мелкими совсем. Ни одного добра молодца на всю Еловую...

С Рождества до Крещения девки собирались, гадали на суженого. Акси́нья с Ульяной были в том возрасте, когда жгучий интерес к гаданию помножен на детский восторг от любых чудес и колдовских дел.

– Пошли к Марфуше, там завтра все девки ворожить будут, – предложила Ульяна.

– А мы сегодня дома погадаем. Что, вдвоем не можем? – захлопала в ладоши Аксинья. – Матушка, восковую свечку возьмем?

– От беса это все, – проворчала Анна. Но смягчилась, заиграли улыбкой строгие глаза. – Да берите. Забавляйтесь, пока молодые. Идите только в светелку, под ногами не крутитесь.

Светелка, которая согревалась одним боком жаркой печи, была куда холоднее истобки. Девушки набросили шерстяные платки и, зябко переступая босыми ногами по ледяному полу, пристроились на застеленной рогожкой широкой лавке, опоясывавшей всю светлицу. В миску глиняную налили воды, трижды прошептали:

– Водица, водица, воск на тебя упал, мне всю правду рассказал.

Самодельные свечки охотно капнули в подставленную миску. Оставалось ждать, какая фигурка выйдет.

– Аксинья, у тебя воск, будто чертик, застыл. Смотри-ка, хвост да копыта.

– Ну тебя, больше на собаку похоже. Иль волка, – разглядывала Оксюша затейливые восковые завитки. – А у тебя... младенец! Смотри-ка! Вот голова... Ручки-ножки.

– Точно! Я не углядела. Значит, в будущем году родить мне суждено. Лешка с дороги приедет, свадьбу сыграем. Эх... – мечтательно закатила глаза.

– Все ж на черта похоже. Хвост. Копыта острые. Даже шерсть видно. Права ты, подружка.

– Правда истинная... гадание это. Бабка моя говорила: все сбывается. Нечистая сила помогает, – Ульянка перекрестилась.

– Дурость, Рыжик! Всего лишь воск.

Подруги примолкли. Слышен был тоскливый вой деревенских собак, мечтающих о тепле. Тихо напевала Анна.

– С колечком гадать будем? – востроенулась Рыжик.

– Где ж мы возьмем его?

– Да у матери твоей серебряное колечко. Лазили в короб прошлой осенью. Видали. Помнишь?

– Помню... Лишь бы матушка дала. Не любит его вытаскивать. И на Святки не выпросишь.

Аксинья состроила жалобную гримасу:

– Матушка, а матушка, можно колечко мне твое взять? Гадать мы хотим на суженого.

Анна вздохнула и открыла крышку старого берестяного короба, в котором хранилось когда-то ее приданое. Холщовый мешочек на самом дне сундука прятал серебряное кольцо. Простая полоска металла потемнела от времени.

– А кто подарил его тебе? Отец? Никогда про это не рассказывала.

– Не любопытничай, дочка. Хотела гадать – гадай. У меня дел еще невпроворот. – Анна бросила на дочкину ладонь кольцо.

– Вот оно! – Аксинья показала свою добычу. – Дери волос из косы, Ульяна.

Длинный рыжий волос был продет в колечко, колечко опущено в миску прямо над водой. Можно приступать.

– Колечко, колечко, скажи ты мне, в этом ли году я замуж выйду? – колечко крутанулось да стукнуло один раз по миске.

– Выйдешь...

– Колечко, как будут звать моего мужа? Аксинья. Ты у нас грамотная.

Кольцо, как живое, подпрыгивало, стучалось о края глиняной площадки, ловило отблески умиравшей свечи.

– Звяк...

– Аз...

– Звяк...

– Буки...

– Звяк

– Веди...

– Звяк...

– Глаголь... – Колечко утихло, закрутилось на месте. – Все? Глаголь! Гусь... Горох... – насмеялась Аксинья.

– Ну тебя! Сама с гусями милуйся, – скривилась Ульяна. – Георгий подходит...

– Или Григорий... Ты знаешь хотя бы одного?

– Нет таких. Аааа, есть!

– Кто?

– Дед Гермоген. Да он древний такой. Идет, и песок сыпется. Ой, не могу! – Девки повалились на пол от смеху, чуть не уронив чашку с водой на пол.

– Нет, за Гермогена не пойду! – Морщинистый дед был самым старым мужиком в деревне. Сколько ему лет, он сам уж не помнил. –

Аз... Алексеюшка. Врет все.

Долго еще Ульяна терзала кольцо. Спрашивала. Будет ли любить ее муж будущий? Сколько деток будет? Серебряный ободок исправно отвечал: муж будущий любить будет, трое детей.

– Хватит уже, давай я погадаю. – Аксинья и не сдерживала нетерпения.

Теперь в кольцо был продет темный чуть завивающийся волос, и последовали те же вопросы, заданные уже нежным голосом Аксиньи.

– Колечко-колечко, выйду ли я в этом году замуж? Если да, стукни по миске раз, я пойму.

Колечко крутилось, крутилось и стукнуло один раз.

– Значит, и я выйду замуж скоро... За кого? Скажи, колечко, всю правду.

– Аз... – Аксинья продолжала перебирать буквы, и сердце трепыхалось, и руки подрагивали.

– Звяк...

– Глаголь... Колечко, колечко, шутишь ты над нами. И у меня жених Гермоген, – прыснула девушка. – Да как же так? Знаю я, как мужа моего будущего зовут. И ничего не поменяешь... – Уголки губ опустились.

– Никита? А ты о другом мечтала имени? А, Оксюшка? – Ульяна, блестя глазами, лукаво смотрела на подругу.

– Не хочу больше гадать, давай спать. К чертям женихов!

– Нравится тебе Семка соседский. От меня не скроешь. Слова плохие про него говоришь. То притянешь, то оттолкнешь... А сама аж светишься, как его завидишь. – Рыжик возилась на лавке.

Аксинья потушила лучину и быстро нырнула под тряпичное, набитое пером одеяло.

– Слышишь, как черти воют за стенкой. Зря ты, Оксюш, поминала их, – раздался через несколько мгновений встревоженный голос Ульянки.

Вьюга разгулялась не на шутку, закручивала снег в безумном танце, гремела утварью во дворе, протискивалась в щели меж бревен, законопаченные теплым, надежным мхом.

– На Святой неделе чертям не время колобродить. Они попрятались давно. Спи, Рыжик.

Чистое девичье дыхание, одурманенное сном, закружилось над печью. Не были еще разбужены юные сердца, жили девчушки спокойно, по-детски воспринимая окружающий мир как источник радостей и забав, не изведали мук любви и ненависти. Все это им только предстояло познать.

* * *

На Тимофея-весновея^[11] в Еловую вернулись пятеро парней, отправленных строить государеву дорогу. Проложенная еще полсотни лет назад, Чердынка петляла от Соли Камской по Каме, Вишере и еще десятку мелких речек, потом волоком до Тобола и дальше уже до Оби с Иртышом. Долго и муторно было по ней добираться до Тобольска, Тюмени и полудюжины острогов, что основали казаки на земле сибирской.

Царь Федор Иоаннович доверил славное дело посадскому человеку Артемию Бабинову, ничем особо не отличившемуся, промышлявшему продажей соли, мяса, скобяных изделий – всего помаленьку.

Лучшие солекамские купцы хмуро шептались:

– С чего это такие почести? Поди на лапу воеводе да подьячим дал, пройдоха.

Артемий, промышлявший зверя, ходил частенько по окрестным лесам, прокладывал тропы. В нескольких десятках верст от города, у Чаньвинской пещеры, он увидел, как вогулы обряды свои срамные, языческие творят. Ухмыльнулся Артемка, перекрестился. Пошли вогулы от пещер к своим диким жилищам, Артемка – за ними. Ветки ломал, тропу метил, по таким чащобам они шли – не приведи Бог – и вышли прямо к верховьям Туры.

– Вот они ворота в Сибирь-то! – почесал лысый затылок Артемий.

Пришел он к подьячему, составили письмецо. Стал Артемий на стройке командовать. Деньги немалые выделили, большая ответственность и почет немалый. А лес рубить, дорогу расчищать, мосты строить крестьян отправили. С каждой деревни согнали парней да бобылей.

Ревели еловские матери и невесты, чуть не на коленях за Гермогеном ползали. Но он был неумолим. Выбрал самых крепких и смышленных – Лешку Ермолаева, брата Анфискиного, Фадейку Петрова, Игната Петуха, двоих парней петуховского племени. Галина,

мать Лешкина, рыдала пуще всех. И так нищета, прореха на прорехе. Без сына муж все хозяйство пропьет.

– Прямо на глазах моих. Вот стоял Лешка! И нет его. Дерево хрясь, а головешка раскололась, как черепок. А там месиво белесое, кровь. Страсть такая! Лежит, а головы нет. Только шутил, в снег сопли сплевывал! – рассказывал Игнат Петух вечно пьяному Ермолаю, зареванной Галине.

– Нет счастья мне, – ревела на всю деревню Ульяна, прошлой весной давшая жаркое согласие на предложение косолапого Лешки. – Лешенька-а-а-а, на что ж ты меня оставил!

Каждую ночь бурливые девичьи слезы пропитывали насквозь соломенный тюфяк. Акси́нья утешала подругу:

– Хочешь, бусы коралловые свои подарю? Ульян, не плачь так.

– Бусы? Те, красные? Давай.

Скоро Рыжик прыгала по избе, нацепив на сарафан обновку.

– Угомонись, девка, – прикрикнул Василий. Ульяна пугливо втянула шею.

Молодость быстро стирает горе, затмевая его радугой надежд и предстоящих радостей. Скоро Рыжик забыла о неудачливом парне, чьи кости закопаны были где-то у обочины Бабиновской дороги.

Игнат Петух как вернулся, так озоровать стал, девок щупал. Всем, кто соглашался его слушать, повествовал про озорных вогулок^[12], про дремучие леса и норовистые реки, которые укрощали они во славу царя Федора Ивановича. Не все верили его рассказням, но на любой вечерке был он желанным гостем.

Крестьяне получили свои копейки, Бабинов – богатые земли в верхнем течении Яйвы и свободу от податей, а Соль Камская стал еще пуще расти и богатеть, преисполняясь ощущением собственной значимости.

Город кормил, поил, как беспутная девка в кабаке, совращал, снаряжал в сибирские дикие земли всех тех, кто искал там славы, денег или лихой удачи, а собирал часто иной урожай – болезни и смерть.

* * *

Солнечным березовым^[13] утром отец и Акси́нья отправились на базар. Воздух был морозным, но приближение весны чувствовалось во

всем – в прозрачном воздухе, особом запахе готовой пробудиться природы, в перезвонах птиц. Василий хмурил брови: с Федей приключился очередной приступ. Полночи Анна успокаивала его, утирала лоб холодной тряпицей.

Солнце яростно светило. На взгорках снег потемнел, стал рыхлым и ноздреватым, как свежий каравай. Каурый резво вез сани, взрыхля острыми копытами гладкий накат, и порой всхрапывал от озорства.

Болтая по своему обыкновению обо всем на свете – как звери зиму переживают, что в городе купить надобно, о деревне и ее обитателях, Акси́нья смотрела на отца и видела, что годы оставляют на лице свои следы. Проблескивали серебром волосы, углубились морщины, но стан не потерял еще легкости и быстроты.

– Акси́нья, сегодня у Ерофеевых гостить не будем, домой сразу поедем. Не огорчайся, в следующий раз с ночевкой...

– А я не больно-то и расстроена, – пробормотала девушка так, чтоб отец, начавший гложуть на правое ухо, не услышал.

Сдал Василий Ерофееву горшки и кувшины, обменялись они положенными любезностями.

– Ишь, невестушка будущая цветет, – подмигнул лавочник, Акси́нья смешалась, опустила глаза. – Скромная девка, верно растишь дочку. А то пошла мода щеки малевать, – одобрил Ерофеев. Разговор быстро перетек на другие, куда более важные темы: вырастет ли посошное, не введут ли новый сбор, будет ли выгода от Бабиновки ремесленному люду.

Василий с дочерью ходили по торговым рядам, шумным, пропахшим кожей, пряностями и копченым духом, зашли в Свято-Троицкий собор на обедню, помолиться перед знаменитой иконой. Получив благословение отца Михаила, умиротворенные, с легким сердцем вышли они из храма.

– Да правда это, вот вам крест, – истово божился мужичок в драном тулупе, – зять мой в Соль Вычегодской был, там давно знают... Горе-то какое, православные! – столпившиеся мужики сняли шапки и приуныли.

– Что случилось-то, мил человек? – вклинился Василий в разговор.

– Царь-батюшка наш, Федор Иоаннович скончался аккурат после Светлого праздника Рождества. Мир праху его!

Царь умер 7 января 1598 года тихо и мирно. В предсмертном томлении беседовал с кем-то невидимым для других, называя его Святителем, и распространился при кончине его в Кремлевских палатах запах благоуханный.

– Истинно святой царь, осененный милостью Божьей, – шептались мужики.

– А теперь кто на престоле Святой Руси восседает? У Федора Иоанновича наследников-то нет, и царевич Дмитрий убиен в Угличе.

– Борис Годунов, зять Федора Иоанновича, сказывают... на престол взошел. Ни капли крови царской, ложный царь правит нами... И царевича, говаривают, он... В Пелыме такие толки идут^[14]...

– Ты говори, мужик, да не заговаривайся. В Угличе, известно, предатели, Митрия замучившие. Если правит нами Борис, значит, на то воля Божья, и хватит на этом. – Аксинья восхитилась зычным голосом отца. Как уверенно он разговаривает с мужиками, как держит себя. – При Федоре Ивановиче был он его правой рукой. Читит старые порядки, церковь. Вы воду не мутите.

Народ притих.

Каурый бежал тряскою трусцой. Сани катились по дороге, вкусно поскрипывая. Внезапно Каурый остановился, испугавшись прошмыгнувшего мелкого зверька, сани занесло в сугроб на обочине. Когда отец, кряхтя, вытащил сани, оказалось, что полозья выворотились.

– Косой, видать, пробегал. Наш Каурый напужался, дурная голова! Ох, дочка, надо приподнимать... Мне одному ни в жисть не справиться, силы не те. И Федора нет, с ним бы мы в два счета сани подновили.

Солнце катилось к земле, стужа залазила под тулуп, щипала, знобила: в начале марта в их местах подмораживало по-зимнему. Как назло, дорога была пустой.

Приплясывая на месте, Аксинья пыталась согреться. Мерз нос, леденели руки-ноги, не спасала уже теплая одежда. Околевать бы и дальше, если бы не чудом появившийся парень на вороном коне. «И сам вороной, и конь вороной масти. Чудно!» – подумала Аксинья.

Спешился молча, кивнул на просьбу помочь в тяжком деле. Когда «вороной» парень спрыгнул с коня, стало видно, что молодой он

совсем, годков на пять постарше Аксиныи, и сильно припадает на одну ногу.

С помощью молодца сани были починены, Вороновы продолжили путь. Парень ехал чуть впереди, на расспросы отца отвечал коротко, немногословно.

Порой Аксиныя ловила на себе его взгляд. Взгляд, от которого хотелось убежать, спрятаться. Она отворачивала голову, недовольно морщила нос. А парень усмехался одной половиной рта и думал, казалось, о чем-то приятном.

Василий оставил попытки разговорить нежданного помощника и принялся насвистывать мелодию, подхваченную у гусяра на солкамском рынке. Аксиныя попыталась вторить его напеву, но ее «фьииниить» вышло таким нескладным, что отец захохотал в голос, а парень ухмыльнулся.

Когда дорога привела их к Еловой, вороной молодец кивнул почтительно Василию.

– Рад помочь. Прощайте.

Низкий голос. А слова говорит чудно, растягивает. Отличался у чернявого говор от местного, пермского, не с уральских земель он родом.

– Спасибо тебе, – кряхтя, отец спрыгнул с саней и смотрел вслед парню.

– Так и думал я. Кузнец новый.

Темный взгляд...Страшный, непонятный. Недаром бабка Глаша говаривала, что знаются кузнецы с нечистой силой. Аксиныя, подхватив сверток с городскими покупками, побежала в избу и попыталась выкинуть из головы свое раздражение.

Девушке исполнилось четырнадцать годков – возраст, когда родители уже подсчитывают приданое и ждут сватов. Была она хороша мягкой девичьей красотой, гибкий, стройный стан – слишком стройный, по мнению еловских баб, большие темные глаза с чуть восточным разрезом. Вьющиеся рыжевато-каштановые волосы окутывали ее облаком, когда вечером Аксиныюшка распускала их и расчесывала с помощью Ульяны. В самом облике, в выражении темных глаз, лукаво изогнутых устах, маленьком выступающем подбородке проступало своеволие.

Парни заглядывались на Аксиныю. На вечерках, на хороводах за околицей она получала свою порцию шуток, подначек и предложений погулять вдоль речки. Боялась Аксиныя всех этих вольностей, помнила материнские наказания:

– Ты парням воли не давай. Смотри у меня! Растаешь, разнежишься, заговорит тебя олух какой речами своими, а потом принесешь в подоле! Только топить тебя и останется после этого!

Конечно, Аксиныя не верила, что любящие родители отправят ее восвояси с младенцем, но чем черт не шутит. Даже сон ей как-то приснился после этого разговора и особенно после случая с Дусей, старшей сестрой Игната Петуха.

Евдокия, хохотушка, пышечка, громче всех поющая частушки, задирающая парней звонкими шутками, попала в беду: ходил к ней парень с соседнего села, гуляли они вечерами. И все было уговорено у родителей, сваты должны были нагряться, а что-то у того парня в голове щелкнуло, и подался он в стрелецкое войско. Много разговоров ходило, что берут туда и черносотных крестьян, платят много, живут стрельцы хлебно и привольно, сила они военная Руси. И все бы ничего, погоревала Евдокия и оправилась от позорного бегства жениха, но оказалось, что много лишнего позволяла Дуся сладкими летними ночами. Девка ходила вся зареванная, деревня судачила о позоре ее, а однажды утром не нашли ее родители в избе, пропала Дуся бесследно. Несколько дней спустя нашли мальчишки утопленницу на берегу.

– Грех-то какой! Как могла такое вытворить с отцом-матерью, – сокрушались те же соседки, вяжихвостки^[15], что недавно злоязычили о девке и довели ее до такой печальной судьбы. Этот пример стоял перед глазами Аксиныи, Ульянки и еще полудюжины девок, входящих в самую сладкую и опасную пору девичества.

* * *

Прошло еще дней пять, солнце стало припекать, превращая гладкую белую роскошь снега в черное пористое месиво. Ребятню, молодежь тянуло на улицу, часто видно было, как девки и парни впопыхах выбегают из дому, крича: «Маманя, я гулять!»

Ульяна теребила подружку:

– Пошли кузнеца нового посмотрим. Говорят, чудной он какой-то.

– Неприятный он. Бр-р-р. Взгляд как у лешего.

– Пошли. Оксюша!

Девки отправились на противоположный конец единственной улицы Еловой – кузня располагалась на отшибе, чтобы огонь из горна не перекинулся на деревню.

Два десятка лет в кузне управлялся Пров, мастер на все руки. С шутками да прибаутками он работал от рассвета до заката. Прошлым летом Пров подался на юг.

– Буду греть кости да яблоки медовые есть, – рассказывал он всем желавшим его послушать. – Гермогена уломал я, отпускает он... Кошелек исхудал. Заработаю ишо!

Собрал скарб за три дня, детишек посадил на телегу да был таков, к глубокому сожалению односельчан. Осталась деревня без кузнеца и с лишними податями, что надобно было платить за уехавшего.

С Рождества деревня перебивалась как могла: кто в Соль Камскую ездил, кто в соседние деревни. В лютый месяц^[16] зазвенела кузня мелодичным звоном. Потянулась вереница еловчан: у кого плуг прохудился, у кого лошадь подкову потеряла.

Слух пошел, что Григорий, кузнец нелюдимый, мымира^[17], буркнет себе под нос что-то, взглянет недобро – и давай колотить молотом. Но работал он хорошо, копеек больше, чем отработал, не требовал. Потихоньку привыкали люди к его нраву. Григорий Ветер – его чудная для уральских мест фамилия совсем не подходила основательному кузнецу – жил в избе, нахохлившейся в двадцати шагов от кузни.

Пышная, сероглазая, золотоволосая Марфа, мечта окрестных мужиков, подступилась с предложением:

– Дай помогу с хозяйством, мил человек. Углы выскребу, приготовлю...

– Сам справлюсь, – буркнул кузнец.

У детворы появилось новое развлечение – смотреть в мутное окошко кузни, затянутое бычьим пузырем, как кузнец работает, как вздуваются вены на лбу и могучих руках.

– Колченогий! Хромой! Черт! Ветром надуло!

Впрочем, стоило Григорию появиться на пороге кузни – и озорников как ветром сдувало. А раз поговорил он с Фимкой, вихрастым рыжим пакостным отроком, по-мужски, и детвора успокоилась. Игнатку Петухова, Спиридонова сына, парня здорового,

сильного, заматеревшего на Бабиновке, Григорий присмотрел себе в помощники.

Ульянка тащила Аксиныю в сторону кузницы с определенными намереньями. Как увидела она вечером Григория, так тянуло ее, будто медом там намазано.

– Помнишь ты гадание наше, жених на «глаголь»? Григорий, он! Не врало колечко. Вот она крещенская ворожба, всю правду скажет.

– Странный он. Взглянет – мороз по коже. Ульянка, зачем он тебе?

– Много ты знаешь. У тебя мороз, у меня жар печной. По нраву его глаза горячие, руки сильные. Одна беда...

– Какая беда?

– Нога у него сухая.

– Хромает и хромает. И что с того?

– Бегать со мной не сможет наперегонки. Дети вдруг в него пойдут, будут колченогие. Хотя... кузнец – человек в деревне не последний. С голоду не помрет, всегда в почете. А мне надо к мужику прибиться, отец гулящий, в людях живу, – путано говорила Ульянка.

Позабавившись ее рассуждениям, Аксиныя ответила, что не в людях она, а у подруги, у сестры названной живет.

– А дети колченогими от кузнеца не родятся. Чушь это! Ты у бабы Глаши спроси, она про все это знает. Объяснение скажет, да так, что заслушаешься. А про гадание – помнишь же, что мне колечко то же самое сказало? Теперь и мне Григория суженым своим считать?

– Видала я твою ведунья знаешь где!

Так и ходили девицы, делясь своими мыслями и мечтами.

– Хочу большой-большой любви, как в сказках у Василисы и Ивана-царевича... И чтобы никто ему не был нужен, кроме меня, на все он был готов – из избы горячей вытащить и унести на руках далеко-далеко...

– Раскатала губу! – фыркнула Ульянка.

– Да неважно... Знаю, глупости все, блажь. Нашли мне уже сокола ясноглазого родители.

– Да какой он сокол... Скорее, хряк, – захохотала подружка.

Они еще долго обсуждали и передразнивали будущего жениха Аксиныи.

– Везет тебе, Ульяна, сама выбирать будешь мужа. Твоему отцу и недосуг заниматься этим. А мои выискали молодца! Фу! Не хочу я за

него, хоть ты тресни!

– Счастье придет – и на печи найдет. Может и получится все, как хочешь, – задумчиво ответила подружка, удивляя Аксинью непривычной рассудительностью.

Еще лет десять назад Василий задружил с Акимом Ерофеевым, хозяином торговой лавки в Соли Камской. По большим праздникам в гости друг к другу ездили. Дети младшие, ровесники, вместе играли. У Вороновых Аксиньюшка, у Ерофеевых – Микитка.

– Эх, красота, – радовался отец девушки. – Наша семья породнится с купцами. Лучшего мужа тебе, Аксиньюшка, и искать не надо! Как у Христа за пазухой будешь, вечно бате благодарна.

Мать поддакивала, в очередной раз радовалась счастливой судьбе своих старших дочерей, удачно выданных замуж, и готовила сундуки с приданым младшей.

Не возражала девушка родителям, грех это большой. Но от одного взгляда на чудесного суженого ей становилось плохо. С самого детства Микитка донимал ее, дразнил, дергал за косы и пребольно пинался. Взрослые только хохотали: ишь, как ухаживает! Любит невесту!

Микитка был раза в два тяжелее своей тоненькой невесты. С пухлыми щеками, пальцами-сосисками, необъятным чревом он был похож на раскормленного борова. С возрастом Микитка вытянулся, исчезла грузность. Щеки, лишние телеса, хитрый взгляд остались прежними. Никуда не девалось и желание донимать Аксинью. Способы стали совсем другими. Умудрялся он это делать так ловко, что родители не видали. То за щеку ущипнет, то дышит прямо в лицо луком и кислыми щами, то лезет под юбку.

Аксинья отбивалась от суженого как могла, толкала, кусала, даже ухватом по голове огрела. Старалась не думать, каково же ей будет ужиться с ним. Жена должна почитать и любить мужа своего. Микитку же не то что уважать, даже терпеть рядом не было никакой возможности.

– Гляди, он! – прерывая мысли Аксиньи, горячо зашептала подружка.

Кузнец, казалось, намеревался пройти мимо – что ему две девицы, много младше, хихикающие на улице. Но приостановился, поздоровался, казалось, хотел что-то еще сказать. Крякнул неопределенно и пошел восвояси.

– Григорий, а, Григорий, – осмелела Ульяна, – приходи сѣдня в избу к Марфе Макеевой. Мы собираемся, хохочем, песни поем. Почто не ходишь?

– Нет охоты, – буркнул кузнец, обжигая подружек своим взглядом. – А мож, и приду, раз зовешь, – и пошел дальше.

– Вот, видела! Как смотрел на меня! Зырк-зырк! Ну все, Аксинька, нашла я суженого своего, – радовалась Ульяна.

Аксинья веселиться не спешила. Хотелось ей остаться одной и подумать, а может, и поплакать. Пореветь над несправедливостью – Ульянка вон приглядела нового миленка, а ей всю жизнь коротать с нелюбым Микиткой. Хотелось ей напомнить подруге, что недавно суженым ее слыл Лешка Ермолаев. Быстро забыла Ульянка жениха своего. Но проглотила горькие слова.

– Пойду я к бабе Глаше. Ты со мной?

– Да ну ее, колдунью эту, – скривилась Ульяна. – Пойду я дома приберусь, батя скоро должен приехать.

Многое совпадало у подружек: и печали, и радости, и мечты. А знахарка была частым поводом для ссор. Рыжик травницу не любила, называла ведьмой. У нее была особая причина. Однажды Аксинья привела с собой подружку с Глафирой познакомиться, Рыжик давно напрашивалась.

– Сердце у тебя завистливое да нутро черное. Иди отсюда, – огорошила Глафира Ульянку. Та рассвирепела, дверью хлопнула и в слезах выбежала из избы.

Аксинья захлебнулась обидой:

– Баба Глаша, зачем ты так?

– Того она заслуживает! Давно говорила я матери твоей, чтобы не привечали вы девку эту. Она меня не слушает. Думает, что я из ума выжила. И ты...

Да, баба Глаша – первый человек в деревне. И знает она много всего, и лечить умеет, и песен-присказок знает тьму-тьмущую. «Ульяну незаслуженно охаяла», – думала Оксюша.

Блажь нашла на ведунью, не иначе.

Глафира

Судьба Глафиры была причудлива и необычна для их мест. О жизни своей Глафира рассказывала увлекательно – Аксинья только

успевала слушать и впитывать своим жадным умом.

Отец бабы Глаши, Дионисий, служил подмастерьем у Анастаса, знатного мастера живописи. Вместе с Анастасом уехал он из теплой Греции и оказался на русской земле. Вместе расписывали они московские храмы.

Дионисий хорошо освоился в стольном граде, выучил язык, ходил по кабакам. Полюбились ему русские женщины своей красотой и добрым нравом. Когда патрон засобирался в родную Грецию, Дионисий остался в Москве. Он начал малевать иконы, и, хоть не отличался особым талантом, шли иконы нарасхват. «От греческого мастера зело красивы», – хвалили покупатели.

На базаре он встретил Настюшу, волоокую и златокудную осьмнадцатилетнюю прелестницу, засидевшуюся в девках. Грек с радостью согласился на потрепанный сундук с приданым и увез ее из отчего дома.

Богата была семья смехом и любовью, да скудна золотом. За пятнадцать лет брака появились на свет десять детей. Глафира была единственной дочкой. Двое старших братьев помогали отцу в мастерской, а Глафира вместе с матерью нянчила младших.

Дионисий, человек образованный, пытался передать грамоту и мудрость детям своим, настойчиво учил их читать, писать, считать, рассказывал легенды родной страны, пересказывал Библию, пугал рассказами о коварстве, кровосмесительстве, убийствах и грехах людских. Братья откровенно скучали. Их совсем не интересовало прошлое Греции и Руси – поспать да поесть, вот и вся забота. Только Глаша и младший Иван с горящими глазами слушали о Зевсе, Артемиде, о Еве и Адаме, о Колхиде и Геракле и задавали отцу тысячи вопросов.

Дионисий по случаю собирал книги, рукописи, хранил их с благоговением. Было это делом затратным, сложным, но он по-другому не мог. Иконы приносили небольшой, но исправный доход. После особо крупных заказов грек мог позволить себе баловство. Купив очередной талмуд, он долго гладил его по тисненому кожаному переплету, нюхал страницы, разглядывал причудливые буквицы и миниатюры и переставал замечать всех и вся вокруг.

Из всех детей Дионисия Глафира одна и русской, и греческой грамоте научилась, запоем прочитала все отцовские книги. Одна из

них стала ее любимой – русский лечебник «Вертоград лечебный», где собраны были травы, которыми можно было вылечить любую хворь. Автор его, неведомый книжник, собрал все лечебные снадобья греческих, арабских, латинских авторов, добавив исконно русские травяные сборы, и книги этой не было равных в Московии^[18].

– Есть у тебя, дочка, склонность к лекарству. В тех местах, где я родился, рассказывали, что латиняне^[19] жгли людей на кострах за колдовство и врачевание. Особенно люди любят жечь красивых и молодых травниц, – предостерегал Дионисий.

Глаша делала мази на детские ссадины и ожоги, отвары от кашля и лихорадки. Соседи прознали о юной ворожее, шептались, что дьявол даровал знание, но часто просили помощи. И всегда ее получали.

Грек жену свою любил и очень горевал, когда она умерла, не дожив и до сорока лет, не дорастив младших детишек. Сколько Глаша ни потчевала мать рецептами лечебными, ни бегала по лесам за травами, мать кашляла и становилась все тоньше. Следом за ней заболел младший Ванька и сгорел за месяц.

Так Глафира потеряла мать и любимого брата, долго горевала, в монастырь хотела уйти. Отец отговорил:

– Посмотри, какая ты справная девка. Идти в невесты Христовы – это навсегда. Тебе мужа любить да детей рожать надо.

Глафира не нашла ничего лучше, как выскочить замуж за лихого казачка по прозвищу Верещалка, высокого, с громким голосом и пагубным даром пропивать все жалование.

Долго скитались они по земле русской. Осели сначала в Устюге, а потом и в деревне Еловой.

Глафира так и не смогла родить, грешила на себя. По слухам, от мужа с полдюжины детей народилось у гулящих баб. Весь жар своего сердца Глафира отдавала врачеванию. Верещалка успокоился, завел хозяйство. Жить бы и радоваться, но вскоре он умер. Глафира опять оказалась, как много лет назад, беспомощной перед страшным недугом, сжигавшим внутренности любимого и беспутного мужа.

Теперь жила Гречанка тихо и одиноко в избе на самом отшибе Еловой. Не было дня, чтобы какая из женщин, воровато оглядываясь, не пробиралась по тропке к покосившейся избушке.

* * *

Щеки Аксиныи пылали шиповником, когда прибежала она к бабе Глаше.

– Рассказывай, молодая-красивая, что нового?

Аксинья щебетала. Сарафан вышивать хочется новым, диковинным узором с жар-птицами. Отец с Федором затеяли кувшины с росписью делать. Цыплята разболелись, зерно клевать отказываются.

– Совета просит твоего мать. Что делать? Каким отваром их поить?

Про Ульянку рассказала, с ее мечтаньями о кузнеце.

– Оксюшка, ты сама не своя... Бурлишь, как старое пиво... Случилось что?

– Все ладно у меня, бабушка.

– Мне не ври. Я тебя вижу насквозь, девонька.

– Обидно мне, баба Глаша. Ульянка по Лешке сохла. Теперь кузнец у нее. Горит все, кипит. А я... Жизнь так и пройдет...

– Как пройдет-то? – не сдержала улыбки знахарка. – Много у тебя еще денёчков, хороших и плохих. И ты будешь и гореть, и тухнуть. Поверь мне.

– Не буду, – упрямо возражала девчушка. – Давай лучше помогу избу убрать.

Поговорила Аксинья с Глафирой, подмела полы старой метлой, полистала травник ее, единственное, что осталось Глафире от отца. Красиво, замысловато выписанные букочки, рисунки с переплетеньем трав и цветов, запах старой книги всегда умиротворяли девушку, но сегодня ей не было покоя. Чувствуя ее тревогу, на колени девушки забрался черный Плут и ластился, мурчал. Показывал своим видом: какие у тебя заботы, когда я с тобой?

* * *

Возвращалась Аксинья по темным улицам, сладко пахло весной, чирикали пташки на деревьях о делах своих птичьих, людям не понятным, а в доме Вороновых царила суматоха.

– Где ж ты ходишь, свербигузка^[20]! Тут с ног сбиваемся, а она шастает! Пироги с печи вытаскивай, да живо! – возмущалась мать, а Ульянка пронеслась мимо подружки с охалкой утирок-полотенец.

– Не соскучилась Аксиныюшка по сестренке своей старшей, – ехидно улыбалась Василиса. – Не торопитесь, делами колдовскими занимается.

Всем своим многочисленным семейством, с мужем, дородным и важным купцом Митрофаном, с тремя детишками, приехала Василиса в гости к родичам. Спозаранку Митрофан отправился с тестем в город решать важные купеческие дела: заключить договор с солекамскими купцами о закупке соли – важнейшего средства заготовки, о продаже говядины с устюжских мясобоен.

4. Секреты

День-деньской приходилось Аксинье слушать рассказы старшей сестрицы о жите сладком, о хоромах каменных, об уважении, заслуженном Митрофаном.

Старшая дочь София, которую родители кликали Любовой, ровесница Аксиньи, казалась спокойной ладной девушкой, совсем не похожей на говорливую, нахальную мать. Любава сторонилась всех, безропотно выполняла все просьбы и поручения Василисы, тихо отвечала на вопросы и все сидела за шитьем.

– Красиво вышиваешь. Цветы как на лесной лужайке, – любовалась Аксинья. Любава подняла безучастные прозрачные глаза и ничего не ответила. Для Аксиньи было чудно, что этой взрослой девушке она приходится тетей. Как ни пыталась она поболтать с Любовой, так ничего и не вышло.

Сын Василисы Давыдка, помладше Аксиньи на пяток лет, натурой отличался пакостной – умудрился подпалить щетину одному из поросят, напугал до смерти доброго пса Черныша, получил по заднице и шнырял по двору, задумывая новые каверзы. Самый младший только орал и пялил свои глазенки на все новое, интересное. Полюбились ему жемчужные бусы Аксиньи. Успокаивался парнишка, лишь когда она брала его на руки и начинала петь про кота-баюна.

– Дома девка мне помогает за детьми смотреть. Тут ты, Аксинька, сгодилась. – Василиса не слишком беспокоилась о своих детишках. Она успела обойти всю деревню, погостевать у подружек детства. – Хоть какой-то от тебя толк, а то, поди, целыми днями лясы с Ульянкой точишь.

От несправедливых обвинений сестры у Аксиньи в горле перехватывало. Она пыталась возражать, кулаки сами собой сжимались от злости. Анна не давала разгореться скандалу, пресекала Василису, успокаивала Аксинью. Мира в избе не было.

Аксинья только и пыталась найти подходящий момент и убежать к бабе Глаше. Лишь там можно было перевести дух, не ощущая на себе неприязненный взгляд старшей сестры.

Рыжик нашла с Василиской общий язык. Они вечерами часто болтали, пряли, выбирали узоры для рушников, наглядеться не могли

друг на друга.

– То ли дело, девка приятная. Не то что ты, Аксинька, – вздыхала Василиса. – Иди-ка, сестричка, курицу слови, похлебку готовить будем. – Она будто не выносила вида сидящей Аксиньи и тотчас придумывала ей дело. Свою дочь она и не трогала, иногда подходила, гладила мимоходом по плечу и что-то шептала на ухо.

Аксинья видела на солекамском базаре чудные кувшины, тонкостенные, хрупкие. Купцы привозили их издалека, стоили те кувшины баснословных денег. Василий вздыхал, разглядывал заморское диво, боялся его трогать руками, но ничего похожего сам сделать не мог. Когда Оксюша смотрела на Любаву, вспоминала хрупкость этих кувшинов, их странную прелесть. Тонкая кожа, светло-серые отстраненные глаза, длинные пальцы и мягкая поступь, молчание и испуг во взгляде. «Ты ж моя малахольная», – называла Любаву мать.

Наконец-то все сделки были заключены. Митрофан с Василисой и детьми отбыли восвояси. Вороновы облегченно перевели дух. Одна Ульянка ходила вечерами как неприкаянная, скучала по старшей подруге.

– И что ж вы там так упоенно обсуждали? – недоумевала Аксинья, которая и парой добрых слов с сестрой не перекинулась.

– Я совета у нее спрашивала, – улыбалась Ульянка.

– Какого, интересно?

– Да ничего особого...

– Рассказывай давай. Обижусь на тебя. И так про меня забыла, кикимора ты болотная, – подначивала подругу Аксинья.

Та отвернулась и сморщила конопатый нос. Глядя на покрасневшую, надутую подругу, залилась колокольчиком Оксюша. Ульянка держалась, лелеяла обиду, но скоро не выдержала, подхватила смех.

– Спрашивала я у сестрицы твоей, как мужику понравиться. Она ж хороша, как лягушка, а замуж вышла удачно. И муж ее, видно, уважает.

– И как же?

– Говорила, что рукодельницей надо быть хорошей, богобоязненной, тихой. На парней не пялиться. Громко не говорить. – Ульянка вздохнула.

– Совсем не про тебя.

– Тяжело советы сестры твоей выполнять... Да придется. Вековушей быть не хочу.

– Слушай ее больше. Никто замуж брать не хотел Василиску. Страшная, кислая, нудная. Родители меж собой говорили, вспоминали... Я слышала... Не думаю я, что была она такой скромницей.

– Не была, правда. Хотела она научить меня на своём опыте, свои ошибки показать. Так она говорила... Залившись медовухой, такое мне рассказала! Ты-то, Аксинья, знаешь, как слюбилась Василиса с толстопузым? – подмигнула лукаво Рыжик.

– Не знаю, даже представить не могу!

– Слушай! – Ульяновкин голос звенел от восторга.

Никому богатая купчиха не открывала свои секреты. Ласковая пронира Ульянка и крепкая настойка развязали язык строгой, подозрительный Василисы.

Василиса

С древних пор бытовало поверье: если ребенок болезненный, раньше сроку родился, надо имя его настоящее не говорить вслух. Так нечисть не заберет его с собой.

Василиса, родившаяся на два месяца раньше положенного срока, маленькая, похожая на мышонка, стала Урюпкой. Неблагозвучное прозвище цеплялось к плаксам и неряхам. Орала она, не замолкая. Видя родителей, не гулила радостно, а хмурила редкие брови и ревела.

С годами Василиса, названная в честь отца, выправилась. Ушла синюшность, щечки стали округляться. Нрав так и остался вздорным и крикливым. Подрастая, она слышала от родителей только окрики, получала оплеухи. «Почто не любят?» – обижалась она. У матери всегда на подхвате, за младшими братьями ходила, в огороде да доме первая помощница.

Нескладная, с маленькими, всегда красноватыми глазами и ноздреватым носом, без той девичьей стати, что привлекает взгляд, Василиса росла в ежедневных трудах и зависти к младшим, красивым и любимым детям.

Пятнадцатилетняя Василиса взгляд мужской не привлекала. Однажды она подслушала разговор родителей:

– Как Урюпкой была, так и осталась, что с ней делать, ума не приложу, – вздыхала мать. – Жениха ни одного не видать. Может ты, Вася, с кем побалакаешь?

– Да с кем? Неведомо, – вздыхал отец. – Приданого скоплено немного. Статью не вышла наша старшенькая. За Нюркой женихи выстроятся в ряд, а тут...

Стрыя^[21] Варвара, старая и богатая, заболела. Она вдовела уже десятый год, жила в богатом доме в Великом Устюге, детей не родила и вспомнила о младшем брате только на пороге смерти. Богатая тетка отправила подводу за родственниками, чтобы попрощаться. Родители послали лишь Василису, рассудив, что тетка и ей будет рада.

Варвара встретила племянницу хлебом-солью. От радости у нее даже хвороба прошла. Девушка не раз в церкви возносила благодарности святой Варваре за ее заступничество и покровительство, приведшие ее в Великий Устюг. Расположенный на важнейших торговых путях, город был сосредоточием деловой жизни Русского Севера. Белокаменные церкви, узоры деревянных усадеб, особый дух богатого города нравились Василисе. В сравнении с ним и Соль Каменная, и тем паче родная деревушка казались убогими.

Тетка любила проехаться по красивым улицам Устюга со всем размахом, зайти в гости, покрасоваться. Васю она везде таскала с собой, денег на нее не жалела. Нашили ей рубах новых, шелковых, справили шубу с лисой, кокошники жемчужные. Первый раз в жизни Василиса почувствовала себе счастливой. Она стала краше, выпрямилась спина. Богатые теткины харчи прибавили мяса в тех местах, где положено. Из глаз исчезло затравленное выражение.

Отъезд все откладывался и откладывался, хоть тетка выздоровела. Заприметив, что при разговоре о возвращении домой глаза племянницы подергиваются влагой, Варвара отправила со знакомыми купцами послание брату. Тетка без племянницы никак обойтись не может, и в благодарность за ее заботы без хорошего приданого Василиса не останется.

И потекли размеренные, радостные дни – прогулки по городу, хозяйственные заботы, ежевечерние беседы. Тетка была мастерица в вышивке, ткала красивые, узорчатые ткани, но Василисе, как ни старалась она, мастерство это не давалось.

– Жениха приискали тебе, краса моя?

– Какие женихи? Родители уверены... Вековушей^[22] я останусь.

– Да не плачь ты. Что мокроту разводить? Помогу тебе, Васёнка. Зря, что ли, тетка у тебя многоумная?

А Вася только еще больше расплакалась.

– Найдем жениха, еще все завидовать станут. – Варвара прикидывала, за кого из устюжских женихов выдать Василису так, чтобы и родителей его облагодетельствовать, и Варвара внакладе не осталась.

На другой стороне улицы, напротив дома Варвары, располагался основательный, уже почерневший от времени дом Чиркова, знаменитого на весь Устюг мастера басманного дела^[23]. Своих сыновей у него не было, а секреты ремесла передавал он двум ученикам, жившим здесь же, при доме.

Шинора^[24], как прозвали его еще в детстве, был у Чиркова на особом счету. Дальний родич, юркий, хитрый, он умел подольститься, никогда не дерзил раздражительному ювелиру. Шинора овладел басманным мастерством, руки его творили красоту. Но больше парню по душе были забавы, чем утомительная возня с побрякушками.

Василиса подметала крыльцо, вытрясала цветные половички. Стрыя не любила бездельников, и племянница трудилась не покладая рук, чтобы не разочаровать ее. Фигурка в льняном сарафане привлекла взгляд Шиноры.

Женских прелестей он к своим двадцати годам изведать немало. Шестнадцатилетнего парня старшие друзья притащили в избу, хозяйка которой славилась сладкими услугами. Став мужчиной, Шинора очень возгордился собой и неумно искал приключений.

Чирков ворчал, что давно пора парню остепениться, но Шинора обзаводиться крикливой бабой и голосящими отпрысками не спешил.

– Здравствуй, девица, как звать тебя? – немало не смущаясь, заорал парень Василисе.

Щеки жарко заалели, дыхание перехватило. Она в испуге заскочила домой. «Красотой не блещет. Но что-то в ней есть. Созрела ягодка», – решил парень.

С тех пор Шинора пользовался каждой возможностью, чтобы поздороваться с девушкой. Поначалу робевшая, Вася все смелее отвечала на вопросы и ухаживания нахального парня. То леденец на палочке, то красные бусы, то букет ромашек. Вечерами они катались

на лодке, любуясь живописными берегами речки Сухоны. А однажды он подарил ей серьги собственной работы – знаменитую устюжскую финифть, где птицы и цветы, выполненные красной и синей эмалью, переплетались, будто в райских кущах.

– Примерь их, Василиса. Ай красота!

– Спасибо, никогда у меня таких не было, – благодарно прошептала Василиса. И серебряных птиц с той поры из ушей не вытаскивала.

Тетка заметила интерес соседа к Василисе и втихомолку стала готовиться к свадьбе.

– Серьги-то хороши, но ты поосторожнее будь! Мужик он опасный зверь, хитрый и ловкий. Надо его словить в капкан да в церковь отвести. Тогда можно и расслабиться.

На Ивана Купалу Шинора подкараулил Василису, схватил за руку и потащил за собой:

– Айда, интересное покажу. Тебе понравится, голуба моя.

Посадил он девушку перед собой на коня, ничего не объясняя, помчался в летнюю ночь. Еле дышала Василиса, всем телом ощущая худое, жилистое тело парня. Сладко ныло сердце, испуг сковывал дыхание.

Долго продолжалась ночная скачка. Вдруг Василиса услышала отдаленный гул. Сверху низвергались струи воды, распадаясь на мириады брызг. Светлая летняя ночь не скрывала красоты падающих струй воды, выбивших в камне ложе для своей причудливой игры. Поток с грохотом падал на землю и, пенясь и веселясь неуживчивыми порогами, продолжал свой бег, ускользал далеко в лес.

– Это Васькин ключ, слышишь, как гремит. Знаешь, как он появился?

– Нет. Расскажи.

– Черт по имени Васька влюбился в красавицу устюжанку, – Шинора приобнял за плечи девушку, – привез ее сюда за срамным делом, а она отказалась и сбросилась с утеса. Со злости черт расколол утес, из которого забил ключ. Вот так-то, Василиса.

Они смотрели, как с утеса падает вода, в лунном свете она казалась бесовской, заколдованной. Блеск в глазах парня испугал Василису, отодвинулась она от него подальше.

– А ты, голубушка, будешь с утеса прыгать?

– Нет, – еле слышно прошептала девушка.

– Вот и правильно...И я на черта не похож.

Шинора помог ей спуститься с утеса, ласково придерживал за талию. У ложа, что водопад за сотни лет пробил в камне, парень остановился. Васькиному ключу не было дела до молодых любовников, что вознамерились на Ивана Купалу совершить грех.

– Не стой истуканом. – Шинора положил кафтан на траву и увлек Василису на землю. Травы пахли терпко и сладко, кружа до одури голову. Долго, до упоения целовал он ее губы, не ведавшие мужского поцелуя, расплел косу и жадно вдыхал ее запах.

– Первая ты у меня такая...

– Какая?

– Хорошая, непорченная девка.

– Да что ты говоришь такое, – в слезах стала вырываться Василиса, разнежившаяся под шальными поцелуями.

– Поздно... Поздно вырываться, – шептал парень и лихорадочно срывал сарафан с Василисы.

Громкий девичий крик слышали только сосновый бор да водопад. Недолго терзал Шинора девичье тело, быстро насытив свою мужскую жажду, заснул, а зареванная Василиса отправилась смывать кровь и семя в ледяной воде.

Пытаясь унять дрожь, натянула на себя одежду. Без красоты и большого приданого одно богатство было у Василисы – девичья честь – и ту украл злодей. Вскоре Шинора проснулся, потянул руки к Василисе:

– Не соскучилась, краса моя, иди-ка сюда.

– Домой пора, тетка скоро хватится.

– Пора так пора, – зевнул парень.

Вернувшись домой перед рассветом, девка на цыпочках пробралась в свою горницу. Тетка, проснувшись, услышала ее тихие шаги и улыбнулась, вспомнив свои игрища на Ивана Купала.

– Хорошо праздник справила, повеселилась, Васёна?

– Хорошо, тетушка, – замороженным голосом отвечала племянница. Внутри нее сжимался комок, когда она представляла, к чему могут привести ее игрища.

С трепетом ждала она сватов Митрофана. Лишь так могла закончиться их ночь на Васькином ключе. Сватов от Шиноры не

дождалась, не видела Василиса и самого парня. Осмелилась, спросила у Чиркова, почему не видно сродственника.

– К отцу поехал подсобить. А ты чтой-то интересуешься?

– Да так, – в испуге Василиса убежала.

Потекли тягостные дни, с каждым из которых ускользала надежда на то, что все обойдется. Просторные рубахи и сарафаны скрывали изменившиеся очертания тела. Но в бане, куда девушка ходила вместе с теткой, спрятаться было нельзя. Несколько раз Василиса отговаривалась то недомоганием, то делами. Ходила в баню отдельно от Варвары. Но настал момент, когда тетка увидела округлившийся живот.

– Булок много ела, а, девка? Или что другое? – обманчиво мягко спросила она.

– Другое.

Рассказала ей все Василиса, не таясь, глотая злые слезы.

– Вот паразитка, – сухой крупной рукой тетка залепила ей такую затрещину, что девушка отлетела к печке. – Что отцу твоему скажу, а? Девка непотребная! Блудница вавилонская! Что делать-то с тобой?

Скорчившись в углу, зажав руками живот, Василиса рыдала и готовилась к новым оплеухам и издевкам. Заслужила.

– Ладно, придумаем мы что-нибудь. Паршивка ты! Испортила все, я тебе такого жениха присмотрела! Вдовый купец, богач, постарше тебя. Дурья башка! – вздыхала тетка. Она выпустила пар и думала, чем помочь девке.

О былой свободе девушке оставалось только мечтать. Теперь из дому она не выходила. Отчаяние полыхало в глазах Василисы, все время она проводила за шитьем в своей комнате.

Однажды услышав оживленные голоса внизу, Василиса стала прислушиваться и поняла, что о разговор идет с соседом-ювелиром.

– Одевайся-ка, покажись сватам, – ехидно блестя глазами, сказала девка, прислуживавшая тетке. Она всё знала о Василисиных злоключениях.

Пришлось надевать нарядный сарафан с жемчужной вышивкой – подарок тетки, венец с камнями. Не был виден живот в широких нарядных одеждах. В глазах Василисиных читалась жгучая ненависть.

– Вот, наш товар, – запела тетка. – Где ваш купец?

Долго разговор шел между сватами и теткой. Девушка будто оглохла, ничего не слышала.

– Венчают вас в эту субботу, чтоб грех поскорее скрыть, – усмехнулась тетка.

– А как?.. Он сам?

– Аж из портков выпрыгивал! Размечталась! Пришлось мне родичу его пригрозить позором да за Шиноркой верных людей отправить. Хотел он отсидеться в деревне родной. Тебя обрюхатил – и в кусты, козел, охальник этакий! И что ж ты, чем напугала мужика? Несладка оказалась, – ухмылялась тетка.

Василиса благодарна была Варваре. Но хотелось своими руками стереть ухмылку с ее узкого лица.

– Не люб он мне. Ненавижу его.

– Ты смотри, не гневи Бога. Живи и радуйся. Хорошей женой будешь, и заживете не хуже других.

Во время венчания в церкви Вознесения, свадебного застолья жених не смотрел на свою бледную невесту. Отгуляли честь по чести, Варвара расстаралась для любимой племянницы. А в первую брачную ночь новоиспеченный муж налил медовухи и себе, и жене своей.

– На кой черт ты здесь появилась, дурында? – с тоской сказал он. – Жил бы я себе, не тужил.

– Зачем ты возил меня на Васькин ключ? Зачем чести лишил?

– Да не знаю. Захотелось мне попробовать тебя. А что потом будет, не думал, – задумчиво сказал парень. – Могла бы уехать в родную деревню... Или утопиться, чертова ты девка.

– Жизнь свела нас, Шинора. Но запомни: не будет того момента, когда бы я тебя не проклинала, – тихо сказала Василиса.

– Зови-ка меня не по прозвищу, а по имени моему церковному. Ишь ты, распустилась! Да хоть засыпь проклятиями своими, все, не воротишь ничего, – пьяненько ухмылялся парень, выпивший не первый стакан крепкой медовухи. – Давай, женушка, ублажай муженька.

– А вот это не хочешь, – показала фигу молодая жена.

Шинора оторопело посмотрел на невесту, которая и так красавицей не была, а от нежданного бремени растеряла последнюю девичью прелесть. Лицо стало одутловатым, будто у пропойцы, волосы растрепались, глаза казались маленькими и воспаленными.

Молодые утром перебрались в дом Чиркова. Родители вскоре узнали, что Василиса замужем, облегченно вздохнули и лишь изредка передавали гостинцы.

Василиса в великих муках родила мертвого мальчика, и не было у нее сил плакать над своей судьбой. Сухими глазами она смотрела в потолок. Неделю с постели не вставала, потом захлопотала по хозяйству. Муж в глубине души проклинал судьбу – свободу холостяцкую потерял навсегда. Вида он не подавал, стискивал зубы, утешал молодую жену. Делал он это с нужным пылом, через год Василиса забеременела, родила дочку. С младенцем на руках ей пришлось ухаживать за серьезно заболевшей теткой.

После смерти Варвары молодая семья Селезневых переехала в теткин дом, унаследованный Василисой. И дело тетки, ее немаленький капитал также перешли их семье. Шинора рассудил, что купеческое дело дает больший барыш, чем ювелирное мастерство.

С каждым годом Шинора становился все солиднее. Уходила юношеская худоба и верткость, и прозвище теперь не подходило крепкому, уважаемому купцу. Теперь звали его все чаще Митрофаном, а то и Митрофаном Селезневым, Тимофеевым сыном.

С Василисой он всегда советовался, уважал ее. Но ночами бегал к непотребным девкам. Жена давно не привечала его на супружеском ложе. Она располнела, приобрела мягкость тела, но душа ее закалилась и стала тверже железа. Василиса имела свое мнение по любому поводу, была безжалостна и остра на язык. От робкой, нелюбимой дочки Вороновых следа не осталось. Благодаря деловому таланту мужа она могла жить на широкую ногу, покупать собольи шубы и занимать лучшие места в церкви.

И хорошо бы жили Селезневые, если бы не память о прошлом, подтачивающая их семью изнутри.

* * *

– Эх, Ульянка, никогда не узнала бы я Василисины секреты. И родители... Ух! Она такая важная сейчас. Была совсем другой!

– И еще по поводу мужчин Василиса говорила, что для бабы все эта ночная пакость в тягость, и советовала не торопиться. Но у меня с Григорием все по-другому будет. Не как у нее с Митрофаном.

– Дура ты, у всех так, – фыркнула Аксинья.

– Много ты знаешь!

В тот вечер девчушки пошли на вечерние посиделки, каждая со своей затаенной надеждой. Весь вечер они вздрагивали от каждого стука щелястой двери. Девки пели песни, лузгали орехи, делились сплетнями. Когда месяц выполз на небесный простор, в избу ввалились парни. Они орали дурными голосами, Игнат терзал балалайку и тряс чубом.

Девки принялись выталкивать взащей охмелевших парней, когда раздался залихватский свист. Александровские пронесли мимо крыльца Марфиной избы. Хлопцы с соседнего села считали еловских девиц милее своих. Не было злее драк, чем стычки между еловскими и александровскими. И не было для парня с соседнего села дела занятнее, чем отбить невесту у еловского.

Нюру, старшую сестру Аксиньи, когда-то прочили за своего, еловского, парня. На одной из посиделок длинные руки Ваньки Репея, александровского баламута, схватили ее за подол. Отцепить его она так и не смогла. Ванька наслушался много ядовитых слов от Вороновых, Василий и Анна не могли смириться с тем, что средняя дочь сама выбрала жениха. Впрочем, зажиточная семья Репея приняла Нюру в свой огромный дом, и Василий Ворон был доволен, хотя вида не показывал. Даже внуки-репейники его не смутили.

Четверо александровских парней развязно зашли в избу, подмигнули Марфе, обступили девок. Игнат, Семен и Фадейка дружелюбно протянули им чарки, ухмыляясь в усы.

Не успела Аксинья и глазом моргнуть, как трое александровских уже катились кубарем с крыльца. Четвертый, лопухий, хорошо одетый, очумело моргал белесыми ресницами. Две половинки его верхней губы жалобно шлепали.

– Да вы чего... Мы ж с миром, – невнятно бормотал парень, его уродливая губа коверкала речь, превращала ее в непонятную мешанину слов.

– Иди, Зайчишка, восвояси, – потер кулаки Семен. Тот не заставил себя долго ждать, только мелькнули грязные подошвы сапог.

* * *

На Матренин день ^[25] в разгар Великого поста приехал отец Ульянки, Лукьян. Здоровый, основательный, громкоголосый, с

маленькими прищуренными глазами и рыжей лохматой бородой, он заполнял собой всю избу. Дочка суетилась, то принималась хлопотать по хозяйству, то садилась напротив отца.

– Глянь, дочка, гостинец тебе! – Лукьян вытащил из холщового мешка сверток. Внезапно куль фыркнул, издал чудной низкий звук... Кто-то юркий побежал за печку. Ульянка взвизгнула и запрыгнула с ногами на лавку.

– Что там?

– Щенок соболя. Злой, зараза. Мать в капкан попала, а он рядом крутился. Так и взял. Еле скрутил, вырывался, как чертенок. Поиграешь с ним дочка, а там решим, что делать со зверёншем.

«Соболей бы на шапку, ожерелье из серебра или платки китайские. А не щенка. На кой он мне?» – подумала, но промолчала.

– Он не укусит?

– Кто ж его знает... Ты на стол-то накрывай. – Лукьян развалился на лавке, почесывая тугое пузо. – Ты все хорошеешь да хорошеешь. Жениха-то себе приискала?

Ульяна открыла рот, но не сказала ни слова, лишь помотала головой и вздохнула.

– Нет? Вот и славно. Надо тебе в городе жениха брать. Чтоб к следующей зиме уже у меня на шее не висела, мужняя была.

– В город не хочу. Тут привыкла – Она загрохотала котелками громче, чем следовало.

– Как привыкла, так и отвыкнешь. Кто тебя, дуру, спрашивать будет. А каша-то чего постная? – повысил голос Лукьян. – Масла добавь.

– Нельзя ведь... Грех.

– Молчи, мокрохвостка. Уморить меня собралась?

Ульяна с отцом спорить не стала – себе дороже, можно под горячую руку и схлопотать. Из-за печки на громко чавкающего Лукьяна и пригорюнившуюся дочка смотрел соболек, сверкая глазами-бусинами.

Давно уже, лет десять назад Лукьян Пырьев остался вдовцом. Молодая жена Дарья таскала воду и провалилась под весенний лед. Увидели беду еловчане, но было уже поздно. Даже похоронить жену Лукьяну не удалось – осталась она на съедение рыбам в речке. Лукьян Кабан был из той породы мужчин, что многочисленна на Урале и

Сибири. Вся жизнь их проходит в скитаниях по тайге, в охоте за пушным зверем, и дом для них не долгожданный очаг, а ловушка.

В Еловой Лукьян задерживался на неделю-две, а потом начинал тосковать и пить. Кабаном прозвали мужика не просто так – выпив, он становился свиреп и опасен. Как дикий вепрь. Стоило слово поперек сказать – не жалел никого, даже жену. Дарья смотрела-смотрела, льнула к мужу:

– Сколь волка ни корми – все в лес смотрит. Иди в тайгу свою ненаглядную, Лукьян, о нас не беспокойся.

Осиротевшая дочь воспитывалась у бабки, матери Лукьяна. Ульяна ее побаивалась и не любила, тоскуя по тускневшему с каждым годом образу ласковой матери. Когда бабка умерла, Лукьян ломал голову – с кем дочку оставить. Вороновы прикипели сердцем к Ульяне на радость шалопутному отцу.

– Пора, дочка, к соседям наведаться, поблагодарить их за присмотр, за помощь.

– Я думала, мы дома побудем, расскажешь...

Лукьян не любил долго с бабами находиться. Что делать с выросшей дочкой – вовсе не понимал. Голова всякой дурью забита.

Славно в тот вечер посидели мужики, вытащив из погреба крепкую настойку. Анна пыталась воспрепятствовать святотатству, но ее отправили в светелку, подальше от соленых мужских слов. Все постные яства, заготовленные Анной на завтрашний день, были съедены. Мужики пьют, погреба пустеют. Лукьян благодарил Василия от чистого сердца и подарил связку куниц:

– Жене иль дочери – сами, промеж себя решайте. Я тебе лучшие шкурки выбрал, друг.

Лукьян, шатаясь из стороны в сторону и распевая матершинные песни, еле дошел до избы, опираясь на дочь. Несколько дней он пил в родной деревне и отправился восвояси... В лес ли, в городской ли кабак прогуливать копейки, дочь не знала.

* * *

– Ульян, ты подарок-то отцовский покажи.

– Вон сидит. Зыркает, – Рыжик неохотно махнула рукой. За печкой уже вторую неделю ютился соболь.

– Ты его кормишь?

– Еще чего. Пусть тараканов да сверчков ловит.

– Жалко же. Зверь лесной, иди сюда. – За печкой раздавалось шепуршание, но соболек выходить не спешил. – А я его хлебной корочкой приманю.

– Нужен он тебе, Аксинья. – Ульяна только голову успела повернуть вслед взметнувшемуся подолу подружки.

Исхудалый зверек остервенело ел ржаную корку, даже не замечая уставившихся на него девчушек.

– Даром, что зверь, а хлеб тоже любит. Красавец, – восхищенно протянула Аксинья и успела погладить пушистый бок щенка. Тот недовольно фыркнул, но от еды не оторвался.

Ульяна с опаской протянула руку к зверенышу:

– Хоть почесать тебя за ухом. Какой-то толк от подарка должен быть.

Через минуту раздался визг, на белом пальце выступили красные пятна. Соболек скрылся в своем убежище.

– Ну стервец! Пожалеешь еще!..

– Ты отдай мне его, а, Рыжик. Он же не нужен тебе. А я люблю зверье лесное.

– Нет, в моей избе жить будет. Батин подарок, – отрезала подружка.

5. Медуница

Весна в Еловой вступала в свои права. Звенели ручьи, веселой змейкой стекая в Усолку, освободившуюся от ледяного панциря. А Усолка несла вешние взбаламученные воды в широкую Каму. Кама питала широкую матушку-Волгу. Так воды малого ручейка текли по просторам земли русской до самой Первопрестольной Москвы.

Зазеленела трава, и радостью наполнились людские сердца, заскорузлые за долгую холодную зиму. Прилетели цапли и, соблюдая традицию, свили гнездо на засохшем дереве у берега Усолки. Неглубокая живописная заводь, полная рыбы и лягушек, давала им пищу.

Аксинья стремилась в эту благословенную заводь. Она готова была целую версту^[26] отмахать, чтобы оказаться на берегу в одиночестве. Бесконечно смотрела на Усолку, суету птиц, порхание бабочек. Не было для Аксиньи большей радости, если лань или лиса робко показывались из-за деревьев.

Ульяне привычка подруги не нравилась.

– Что забыла там? Пошли с девками песни петь. А там глядишь и парни какие придут... О-о-ох. – Ульянкина грудь вздымалась, глаза блестели.

– Кровушка дурная в тебе бродит, – дурашливо протянула Оксюша, изобразив ворчание бабки Матрены – первой грозы деревенских блудниц. – С парнями своими покоя лишилась. Надоела хуже мух! После рассказа Василисы ни о чем другом думать не можешь. Надо батю твоему говорить, чтобы скорее замуж тебя пристраивал.

– Ага, он раньше себя в мужья пристроит.

– Как?!

– А так вот. Какая-то в Соли завелась зазноба у него. Фроська-вдова. Толком не говорит, скрывает. А я сама догадалась.

– Как поняла?

– Сама видела: довольный стал, обихоженный, на одежде заплатки, рубахи стиранные. Да про Фроську какую-то поминает.

– А не стар он для таких дел?

– Не знаю. Им виднее. Так что, подруга моя, как бы в Соль Каменную мне не отправиться. Там батя обещал жениха найти.

– Я без тебя тут заскучаю. Зачем тебе в город переезжать, Ульян? У нас хорошо, вольготно. – Аксинья представила жизнь без подруги, тоскливую, как проповедь.

– Да батя грозитя совсем переехать, избенку отдать переселенцам.

– А как же... кузнец?

– А что кузнец... На посиделки наши не ходит, даже не смотрит. Что мне делать? В городе, небось, жениха краше да богаче приищу.

– И то правда. Ты вон у нас телом богата. – Ульяна к этой весне расцвела. Грудь даже под сарафаном мягкой зыбью шла и глаза парней притягивала. Волосы в тугой косе медью отливали. Даже веснушки красили девку. Любовалась Аксинья на подругу и вздыхала про себя. Нет у нее груди пышной, волос рыжих, лба белоснежного.

– Нет, не смирюсь. Гришку хочу, мой он будет... Хоть тресни! – решительно встала с лавки Ульяна и загрохотала ведрами.

– Ладно, лясы поточили, пора и за работу.

Дров натаскать, воды принести, пирог замесить. Надо все успеть – родители в мастерской. Аксинья вздохнула. Ее туда не звали.

Василий с Федором целыми днями пропадали в высоком, просторном сарае, где изготавливали крынки, чашки, миски, кружки, глиняные сковородки. В мастерской всегда было жарко, даже в студеную пору – от огромной печки.

Сердцем мастерской был гончарный круг, установленный посреди удобной скамьи. Василий одной рукой управлял кругом, другой формировал податливую глину. Крупные его руки двигались ловко, лепили кувшин или миску. Аксинья с удовольствием наблюдала за отцом. Еще в детстве попросила она разрешения сесть за гончарный круг. К ее огорчению, кринка вышла кособокая, совсем не похожая на стройные, тонкостенные изделия отца и брата. Отец утешал ее:

– Оксюша, это ж первый раз. Научишься еще, ежели есть охота. Работа упорных любит.

Сколько она не пробовала, ничего путного не выходило.

На еще не обсохших кувшинах острой палочкой выдавливались узоры. Анна украшала горшки, кринки, миски искусными узорами из линий, кружков, зубчиков и более затейливого орнамента.

После того как посуда обсыхала, ее помещали на верхний ярус печи для обжига. Жар от печи шел такой, будто «у чертей в аду», как

любил, посмеиваясь, говорить Василий. Федя следил за печью, подбрасывал дрова.

Горшки, кринки, миски, глиняные сковороды Вороновых выгодно отличались от изделий других мастеров прочностью и красотой. Секрет Василий таил от всех: он нашел выше по течению Усолки место с особой глиной. Только на лодке можно было добраться туда, где пологий берег сменял невысокий обрыв, красно-коричневый от проступающей глины. Ракушки, собираемые ловким Федором, придавали материалу прочность. Аким Ерофеев перепродавал посуду с клеймом в виде ворона по хорошей цене, сбывая и в Соли Камской, и в Верхнечусовском городке.

– Федя, а Федя, где ты? – на зов Аксиньи никто не отозвался. – Да куда ж девался, с родителями, что ли, братец?

Хлопнула дверь, пройдя через просторные сени, вошли родители, оставив у входа обутки, покрытые весенней грязью.

– Федька с вами был?

– Нет, Аксиньюшка, он Марии помогает. У нее забор покосился, и крышу заливают.

– Зачастил он к Машке, – улыбнулась Аксинья.

– Что ты улыбаешься? – проворчал отец. – Надоела ваша Машка. Дома сын не бывает, все на соседку батрачит. Он мне в мастерской нужен был, а не дозовешься. Муж бы Машкин забором да крышей занимался.

– Вася, сам знаешь, муж у Марии на промысле постоянно. А как бабе жить без мужика? Трое девок по лавкам, ни сына, ни брата...

– Это не наша беда.

– Не убудет от Федьки. Маша ласковая, умеет с ним поговорить. Пусть парниша с людьми сходится, нельзя так жить, без людей. Не прокаженный он у нас.

– Ласковая... Анна, больше Федьку к соседке не пускать. Нам скоро в город ехать. А товару с гулькин нос. Ходим, дурью маемся, а не работаем.

На лице Василия было написано сильное раздражение, заставившее Анну тихим, успокаивающим голосом ответить:

– Конечно, отец. Как скажешь.

Еще долго Василий был не в духе, хмурил свои кустистые брови, сжимал крупные кулаки. Темные глаза метали молнии. Не смог бы

Василий объяснить, почему же его сын не может помочь соседке. Мария женщина немолодая, уважительная, ничего она ему плохого не сделала. Но на душе у Василия было беспокойно. Облегченно вздохнул он только, когда Федя тенью скользнул к печке.

Все домочадцы были ниже травы, тише воды, опасаясь гнева отца семейства. Гороховая каша, крупные ломти ржаного ароматного хлеба, пироги с капустой поглощались семьей в непривычном молчании, и только благодарственная молитва Василия и чавканье нарушили тишину.

* * *

– Где мои ленты красные, нигде найти не могу? – кричала Ульяна, обшаривая все лавки и сундуки в доме Вороновых.

– Может, ты их в избе своей оставила? – вопрошала Аксинья.

– Да нет же, хорошо помню, я на сундук положила. Вот как косы заплетать?! – топала ногой Рыжик.

– Да дам я тебе свою ленту, не беда. У меня бусы жемчужные пропали, тятин подарок. Куда делись, не понимаю.

– Может, домовой утащил?

– Видно, кикиморе на подарок. – Аксинья сморщила хорошенький носик.

– Слышь, за печкой зашебуршилось... Они! – Ульянка погрозила подружке пальцем.

Вся суэта была связана со сборами на субботние посиделки у Марфуши. Подружки хотели показать себя в лучшем виде. Стан Аксиньи мягко облегал синий сарафан с красной тесьмой, белая с красным нательная рубаха была искусно вышита самой владелицей, в косах сине-красные ленты, на шее коралловые бусы. Каштановые волосы оттенялись ободком из бежевой тисненой кожи. Фигура Ульяны была куда основательнее, белая рубаха и цветастая юбка не скрывали пышных форм. Посмотрев друг на друга, подружки запели:

– Ой, мы красные девицы! – И, взявшись за руки, закужились.

– Идите уже, много от вас шуму! – замахала руками Анна.

Они накинули вышитые душегреи и, радуясь предстоящим развлечениям, отправились на другой конец Еловой.

В избе Марфуши дым ел глаза. Закопченная крыша давила на голову, а белые рубахи на глазах темнели. Сама изба производила

впечатление неряшливости и безалаберности.

Марфа, бабенка лет двадцати пяти, выглядела свежо и молодо. Губы сами собой складывались в озорную улыбку, глаза притягивали влажным блеском, разворот бедра ладно качался при ходьбе. Человек знающий сказал бы, что бабу одолевают бесы, что лезет греховная сущность ее на свет божий. Несколько лет назад схоронив мужа, бездетная и веселая, она стала центром притяжения для девок и парней деревни.

Родители ворчали, самые строгие не пускали к ней своих дочерей. Но через пару лет все были вынуждены признать, что ничего похабного у Марфуши не происходило.

Строгие родительницы приходили вместе со своим дочками, девками на выданье, – «от греха подальше». Польза от посиделок была налицо: не одна уже свадьба сыграна была после перешептываний в закопчённых углах Марфиной избы.

Появление подружек не прошло незамеченным. Навстречу им поднялась хозяйка избы. Дюжина девок и парней сидели по лавкам. Одна из девок хлопотала у стола, выставляя нехитрую снедь. В деревне так повелось, что на вечерки к Марфуше носили и медовуху, и пиво, и разносолы. В накладе после гуляний хитрая хозяйка не оставалась.

Аксинья перекинула косу через плечо, заправила за ухо выбившуюся прядь и под села к шушукающим девкам. Вновь она чувствовала на себе неотрывный взгляд худого долговязого парня. Бровью повела бы – и сватов к родителям заслал. Она подавила вздох и ласково обняла Зоеньку. Русоволосая, румяная хохотушка, дочь Петра Осоки и Зои, для каждого находила медовое слово.

– Хорошеешь, подруженька, на глазах, – ласково пропела Зоя.

– Не льсти, голубка. Расскажи лучше, как дела твои.

Оксюша с Зоенькой болтали о девичьих пустяках, а рядом шумно вздыхала Агаша. Высокая, нескладная, она была тенью бойкой Зои. Мать родила ее в годах от престарелого мужа и теперь тянула дочь одна. Агафья, ширококостная, узкобедрая, с низким лбом, широким носом, создана была, казалось, для работы, а не для плясок и песен.

– Агаша, принеси нам яблочки моченые, – попросила Зоя.

Провожая взглядом широкую спину, обтянутую выцветшей телогреей, Аксинья протянула:

– Как прислужница она у тебя, Зоя. Не совестно?

– Чего совеститься? Я ей помогаю в бедах ее. И она...

Схватив маленькое, будто светящееся изнутри яблочко, Зоя разгрызла и поморщилась.

– Ни сладости, ни аромату.

– Ранетки это, деточки. Нет в них сладости. Дичка, – со знакомой ласковой улыбкой к столу подошла Зоя-старшая, называемая в деревне Гусыней. – В тех местах, где жила я в детстве, яблоки были вот такие, – показала она пухлыми ладонями чудо-плод. – Сочные, ядреные, как девки на выданье, – ущипнула она дочь за мясистый бок и залилась смехом-гоготом.

– Агаша, держи, – огрызок яблочка, протянутый Зоей-младшей, был безжалостно размолот крупными Агашиными зубами.

– Даже косточки не выплевывает, – порадовалась Зоя-младшая. Аксинья поежилась от ее ласковой улыбки.

Ульяна, как щучка речной водицей, наслаждалась посиделками. Веселая, острая на язык, она шутила с парнями, пела задорные частушки, знала много протяжных, душевных песен и с удовольствием затягивала сейчас одну из них.

– То не сокол по небу летит,
То не сокол роняет сизы перушки,
То милый скачет по дорожке,
За счастьем на чужой сторонуще.
Застилают слезушки глаза,
Расплывается путь-дороженька,
Не прощался миленький со мной,
Пожалейте вы меня, подруженьки.
От кручины сохнуть я начну,
Уж любила сокола я милого,
А отец родименький отдаст
За нелюбого, за постылого^[27].

Столько тоски, столько чувства было в звонком Ульянином голосе, что все затаили дыхание и сидели тихо, пока последний звук песни не растаял в душном воздухе избы.

– Ай да соловушка. Вот голос-то сладкий. Мужу будет радость! – наперебой посыпались похвалы. Чуть зардевшаяся Ульяна принимала

их с видимым удовольствием.

Хлопнула входная дверь, Марфуша засуетилась:

– Кто еще к нам пожаловал?

На пороге стоял кузнец и настороженно оглядывал веселую компанию. В ладно сидящей красной рубахе, подпоясанной широким поясом, в новых портах и сафьяновых сапогах, он выглядел щеголем.

– Красавец какой, Гришенька, наконец-то к нам пожаловал. Сколько звали тебя в гости! Пожалуй к столу. Выпей пива. Чарку дозволяется, – ворковала Марфа.

– Благодарствую, хозяйюшка.

Разговор завертелся, потихоньку Григорий влился в веселую беседу, стал рассказывать байки о других деревнях, городах, где он бывал. Аксинья старалась не слушать, но...

– Есть городок такой на границе Дикого поля и нашего государства, Валуйки зовется. Острог с четырьмя башнями, высоченные, сам видел. А живут там куда спокойнее, чем в Соли Камской. Ваши инородцы мирные, волю забыли. А татары покоя не дают. За тот год, что жил я там, три раза к стенам города подходили.

– А ты что ж там делал, в Диком поле? – спросил Игнат.

– Много где судьба носила, – расплывчато ответил кузнец.

– С татарами-то бились?

– Один раз откупились. Другой раз они не выдержали, сняли осаду. Там ход к реке из крепости идет тайный, потому от жажды не померли.

– А третий? – Ульяна, подсевшая к столу, аж вперед подалась.

– Бились. И казаки, и посадские, и крестьяне окрестные. Они быстро побежали. Крымчаки любят, чтоб сражение короткое было, а добыча богатая... – он замолчал.

– Это ты не знавши... – вышел Семен, сплюнул на застеленный соломой пол. – Отцы сказывают, лет пятнадцать назад на Соль Камскую инородцы войско привели, людей побили, посад пожгли... И сами получили изрядно. И мы не лыком шиты, – с каким-то вызовом глянул на кузнеца.

– Вам виднее.

Все смотрели на Григория, но отвечать на вызов задиристого бортника он не стал, налил чашку пива и залпом осушил ее до дна.

– Ульяна, – спохватился Игнат, – спой песню.

– Ой береза ты моя,
Ой, моя березушка,
Он не смотрит на меня,
Речкой льются слезушки.
Ой, березка помоги,
Ты моя красавица,
Он со мной не говорит,
Мое сердце плавится.
Я, березка, наберусь
Смелости недевической,
Милому сейчас шепну:
«У березки вечером».
Ох, береза ты моя,
Ой, моя березушка,
Видишь, милый не пришел,
Речкой льются слезушки.

Щеки Рыжика горели лихорадочным огнем. Каждую минутку помнила она: Григорий в избе, слышит ее. Каждое слово сладкой песни может стать той ниточкой, которой привяжет она кузнеца к себе.

«Будто про нее, Ульяну, песня писана, про то, как томится она», – с непонятной грустью Аксинья смотрела на певицу, переводила взор на кузнеца: понял ли, что ему поет Рыжик, что от тоски по нему звенит ее голос. В черных глазах ничего было невозможно прочитать, они были глубже колодца, темнее омота. Почудилось Аксинье, будто кузнец заметил ее любопытство. Она отвела взгляд.

Ульяна пела, и глаза ее сверкали лихорадочным огнем. Даже рыжая коса сияла пламенем. Иль то был отблеск лучины? Неотрывно смотрела она на Григория. Все было ясно без слов. Присев за стол к Григорию, девушка завела тихий разговор. Несколько девок перемигнулись – скоро будет еще одна свадьба на деревне. Добьется настырная рыжуха своего.

Аксинья болтала с Анфисой и Зоей о ворожбе, о будущем, пыталась втянуть в разговор угрюмую Агашу.

– А я замуж не пойду, – внезапно пробормотала та и уставилась в пол. – Я с Зоей жить буду.

Девки морщили лоб и пытались понять угрюмку. Аксинья машинально водила по губам кончиком косы, прикрыв глаза. Вдруг ухо

ее обдул теплый июльский ветер. Мурашки побежали по всему телу, щекоча руки. Они кусали покрывшиеся испариной спину и грудь, сползали к животу. «Опять он! Да что ж делает, окаянный? Спасу нет». Она резко отпрянула, вжавшись в мягкую Зою.

– Сем... – и осеклась. Прямо перед ее негодующим лицом смеялись глаза кузнеца. Она почувствовала на своем лице его дыхание, несущее хмельной запах пива.

– Акси́нья, – в устах его имя ее прозвучало напевно, томно. Будто принадлежало оно манкой молодухе, а не юной робкой девушке. – Акси́нья, почему ты с нами не сидишь за столом, не поддерживаешь подружку свою? А на лавке мышкуешь?

– Да мне и тут хорошо, – оправилась она от замешательства.

– Как здоровье батюшки? Матушка как поживает?

Он задавал ничего не значащие вопросы. Она давала ничего не значащие ответы. Кузнец отошел, а девушка прижала холодные руки к горящим румянцем щекам. «Не заметил бы кто!» – думала она, пытаясь унять биение сердца.

Зоя по своему обыкновению принялась насмешничать над Агашей, Анфиса ее защищала, а Акси́нья погрузилась в молчание. Она гнала, как надоедливых пауков, мысли о только что случившемся разговоре. Но они жужжали в ее голове.

– В сени выйдем, пошепчемся, – Семен прошел мимо, задел подол сарафана своим сапогом. Внезапно что-то накрыло ее, как туманом.

Она сорвала с крючка душегрею. Запуталась в ворохе одежек. Увидела, что взяла чужую кофту. Бросила ее на сундук. Выскочила, хлопнув дверью. Семен закутался в зипун, большой, с отцовского плеча, натянул шапку до бровей.

– Зачем зовешь? Все у нас переговорено на десять рядов, – тело девушки бросило в жар. И не помогли стылые сени. Ярость сделала голос громким и язвительным.

– Акси́нья. Зачем ты так? Знаешь... Ты мне как глоток воды родниковой... Как забор высокий отец твой возвел, так не поглядеть на тебя...

– Речи красивые поешь. Да и только! Сам знаешь, просватана я.

– Акси́нья. Пойду я к отцу твоему. Буду просить. В ноги упаду!

– Не ходи. Так знаю: откажет он тебе, не смилостивится, не поменяет решения. Что попусту воду мутить... И хватит о том.

– Нет. – Семен наклонился и прижался губами к девичьему лбу. Шапка съезжала на глаза. Он ее поправлял, не додумавшись снять. – Придумать надо...

– Что придумаешь ты? А может, уводом? Сграбастаешь в охапку. Повенчаемся! А?

Семен прислонился к стене, ссутулился, поскреб наметившуюся бороденку.

– А жить-то как будем? Отец меня выгонит...

– Не отец, а мать твоя, тетка Маланья, нас на улицу выставит. Она меня страсть как не любит.

– Аксинья... Знаешь, что любя...

– Любовь твоя как худое лукошко – каждый день зерно просыпается понемножку.

– Так, значит... – Веснушки стали ярче на побледневшем лице Семена. – Аксинья, скажи. Если бы не жених, не отец... ты... ты бы пошла за меня?

– Какая уж разница, – сказала о том, что хотела скрыть. – Пошла бы. С большей радостью, чем за толстопузого Никиту.

Семен снял с головы шапку и выскочил на крыльцо.

Аксинью будто через молотилку пропустили. Она вернулась в избу и нашла свою душегрею, поминая злого домового.

– Марфа, кликни Ульянку.

Хозяйка с любопытством оглядела Оксюшу и, ничего не сказав, направилась к столу. Игнат, пьяный и счастливый, обнял Марфу за полную талию и увел в сторону. Аксинья беспомощно топталась на пороге.

– Ульяна, пойдем домой. Рыыыжиииик, – кричала она, но голос тонул в визге, смехе и выкриках парней.

– А не рано ли вы домой? – спросил Григорий, бесшумно подошедший к Аксинье.

– Завтра засветло в город поедем с братом и отцом, надо пораньше вернуться.

– И красавица, и умница, и родители основательные... Вот невеста-то видная, – протянул парень. Насмешка слышалась в его низком, уверенном голосе. Ответа он так и не дождался от засмущавшейся Оксюши.

– Григорий, всего тебе доброго, – сверкнула бесстыжей улыбкой подбежавшая Ульяна.

– Проводить вас?

– Не надо, – ответила Аксинья, не обращая внимания на возмущенное шипение подруги. Всю дорогу домой Ульяна болтала о неожиданном появлении кузнеца, повторяла каждое его слово, строила планы, смеялась.

– Видела, как он глядел на меня! Глазищи черные, бесовским огнем горят! Будто сожрать меня хочет. А у меня поджилки трясутся, в груди трепещет, пламень по телу разливается, особенно там... – Ульяна сделала паузу.

– Где? – рассеянно спросила подруга.

– Да что ж ты... В месте срамном... Мне Василиса рассказывала...

Аксинья потеряла нить рассказа, погрузившись в свои бездонные думы.

Ульянка не обращала внимания на рассеянность подруги, которая в ответ на все откровения издавала лишь неопределенное хмыканье. Рыжику и так было нескучно идти по ночной деревушке, вдыхать весенний воздух и ощущать, что впереди так много всего радостного, интересного, что все мечты скоро станут былью.

– Игнат-то! Видела?

– Что Игнат?

– Марфу за бока мял. Зойкина мать сказывала, что его петушок на ее насесте заночует. Потом женится...

– Нет, Ульяна. К Марфе сватов не засылают. Будто не слышала сплетен.

Рыжик умолкла.

В избе было тихо. Федя уже посапывал на печке. Василий спал на лавке, заботливо накрытый теплым шерстяным одеялом. Одна Анна дожидалась девчушек. Вопреки привычке в руках ее не было ни веретена, ни ниток с иглой. Огонь из печурки бросал отблеск на ее задумчивое лицо со следами былой красоты. Тяжелый ежедневный труд по капле вытягивал силы из некогда красивой стройной женщины. Остались лишь густые косы да красивые глаза, порой завораживающие своим молодым блеском. Восемь детей, появившиеся на свет в семье Вороновых, по каплям забирали красоту и молодость Анны. Из восьмерых детей выжили пятеро. И неизвестно, кто отнял

больше сил у Анны – те дети, что выжили, или те, что ушли на небеса малыши.

Каждый вечер у иконы Богоматери она ставила свечи и долго молилась. О детях, так и не ставших взрослыми. О сыновьях, от которых так давно не было вестей. О Василисе, самой удачливой, но ставшей совсем чужой родителям. О старшей Анне, которую видела так редко. О Федоре, будущее которого было скрыто во мраке болезни. Об Аксинье, самой младшей, самой любимой дочери.

С самой юности их отношения с Василием складывались по божьему и людскому закону: он решает, она подчиняется. Редко Анна спорила с мужем. Теперь пришла пора.

Весь день в мастерской между мужем и женой шел разговор.

– Девчонка она еще, посмотри, какая тоненькая, как березка. Куда ей еще хозяйство вести, детей рожать? Давай чуток обождем, хоть годика два еще. А, Вася...

– Рано... Поздно бы не было! Девка в самом соку. А что тоненькая – это порода такая! Ты у меня тоже пышкой не была, – не удержался и шлепнул жену по мягкому месту, – но детей рожала исправной сейчас хоть куда.

– Ты мне зубы не заговаривай. Время другое было. Подождет Микитка год-два. Ничего с ним не случится.

– Ерофеев ждать не будет. Он в таких кругах в Соли Камской крутится. Ого-го-го! Я в сравнении с ним вошь мелкая. Через него мне всегда почет и уважение будут в любом месте. А если передумает Ерофеев? И останемся с носом! Нет, Анна, бабский ум в таких делах не понимает.

– Осенью свадьбу играть будем, Вася?

– Как в православном мире заведено. На Рождество Богородицы^[28] сговоримся с Акимом. Ты с Аксинькой разговаривай, Анна, вбей в ее голову понятие о правильной жизни. Недосмотрела ты, мать... – Василий резко встал. Он гнал от себя мысли о собственной несправедливости. Не кто иной, как он, вел с дочерью долгие беседы, к нему Аксинья тянулась, его слова были для дочки законом. И, стало быть, перекося в ее воспитании был виной отца, не объяснившего, не уследившего, не показавшего верную дорожку.

– Добрый выбор. Богоматерь поможет, брак укрепит, детей дарует. – Анна, вздохнув, принялась застряпню. Руки проворно

замешивали тесто, резали репу, а голова занята была смурными мыслями.

И правда, ее бы воля – никуда бы она девчушку младшую свою не пускала. Веселая, добродушная, бойкая, Акси́нья в отчем доме была как свет в оконце.

Они с Рыжиком устраивали игры, пели дурашливыми голосами, кричали частушки, не давая домочадцам заскучать и задуматься о надвигающейся старости. «Пустое это все, – спорила она со своей материнской любовью, – нужна Акси́нье защита. Мы с Васей не молодеем, чем раньше свадьбу сыграем, тем спокойнее».

Вспомнился недавний разговор с соседкой Маланьей.

– Надо побыстрее вам ее замуж выдавать, а то блюсти не сможете. Мой сын все глаза провертел, глядячи, как она белье в речке полощет. До греха наших парней доведете. Бесовское в ней что-то есть, Анна. Ишь, глазищи какие, срам! Сама худосочная, смотреть не на что... А Семка чтой-то нашел...

– Не для Семки твоего моя лебедушка. С Соли Камской суженый ее. А ты будешь сплетни всякие распускать, мало не покажется!

– Накажет бог за гордыню! Головешки свои задираете. Все под Богом ходим, – отскочила от забора соседка.

Безделица, конечно. Но неприятный разговор получился. Маланья баба препоганейшая, но как начнет слухи какие распускать, от них не отмоешься.

Акси́нья, как и мать, ворочалась всю ночь и, засыпая ненадолго, каждый раз видела одни и те же темные глаза, пристально смотрящие на нее, будто прямо в душу. Завистливо смотрела на безмятежно сопящую подругу, выпроставшую ноги-руки из-под теплого одеяла.

Спозаранку Василий, Федор и Акси́нья, спешно собравшись, увязав тюки с посудой на телегу, отправились в Соль Камскую. Рыжик ехать отказалась:

– Трястись на телеге... Все кишки перемешаются!

Не отъехали Вороновы и версты от деревни, как нагнал их всадник на вороном коне.

«С чего бы это? – думала Акси́нья. Взгляд ее не отрывался от кузнеца, который ехал вровень с правившим телегой Василием. Парень сидел на коне чудно, поджав ноги, с расслабленной повадкой. –

Совпадение. Не хотелось в скуките ехать, с нами заодно и собрался в город».

Василий и кузнец обсуждали погоду, начало длинного для крестьянина времени посева, растягивающегося в их суровом крае на квитень и травень^[29], про ремесленные тяготы, про царя и местную власть. Аксинья в разговор мужской не вмешивалась, но чувствовала присутствие кузнеца каждой жилкой своей. Федор зарылся в солому. То ли спал, то ли думал о чем неведомом.

В Соли Камской пути односельчан разошлись, но сговорились они вечером встретиться, чтобы путь обратный держать вместе. Вороновы направились к Акиму Ерофееву. Василий вез ему товар гончарный, и о сватовстве надо было им потолковать. Аксинья наряд выбирала с умыслом: новые сапожки сафьяновые, шапочка мягкой, хорошо выделанной кожи, синяя душегрея с васильковым сарафаном делали девушку взрослее и милее прежнего. Не замаршкой же представать перед будущими родичами.

В городском доме Ерофеевых убранство поражало пышностью. Заморская посуда, икона с серебряным окладом, сундуки резные сразу привлекали внимание гостя. Аксинью провели в женскую светлицу, где все лавки и сундуки были устланы искусно вышитыми поделками жены да дочерей Акима. Микитка был сызмальства окружен женским царством, потому балован и откормлен без меры.

Пелагея, жена Акима, женщина невозмутимая, дородная, привечала будущую невестку. Доброта и ласка ее сулили сытую и спокойную жизнь Аксинье. Если бы не отвратный Микитка, то будущее казалось бы сладким, как июльский мед. Сейчас, болтая с сестрами Микитки и его матерью, она представляла тот окаянный день. Тот день, когда войдет она в этот дом женой Никиты.

Лишь три часа спустя Вороновы покинули гостеприимных хозяев. Федор сжимал в руке большой калач, который приглянулся ему на богатом столе. Троекратно расцеловавшись, Василий подмигнул Акиму и в чудном расположении духа запряг Каурого.

– Через месяцок-другой, дочурка, будем ждать гостей, – ласково погладил по руке Аксинью отец. – Все мы обговорили, и размер приданого, и то, что повалушу для вас отдельную сварганят, благо двор у Ерофеевых большой, просторный. Заживешь, дочка, хорошо, будешь отца своего благодарить, в ноги кланяться.

– Просила мать купить мелочовки всякой, батя.

– Так заедем, дочка. Федька, что молчишь?

Брат жевал калач и на вопрос отца предпочел не отвечать. По своему обыкновению он зарылся в солому, а Аксинья отправилась закупать в лавках соль, приправы, иглы, особые крученые нити для гладкой вышивки, крепкий чугунок – ей доверяли серьезные поручения. Взрослая девка уже, не ребенок.

Солекамский рынок к вечеру затихал – торговцы хлебом, медом, рыбой, уксусом, скобяными товарами, железом, одежкой собирали свой товар в тюки и корзины, грузили на телеги, тащили домой, чтобы завтра вновь вытащить все это великолепие на свет Божий. Царили суета, ругань, ржали лошади, скрипели телеги.

Василий успевал поздороваться со знакомыми мужиками и обменяться парой словечек. Евсей, давно продававший луки и стрелы, слывший среди торгового люда честным и основательным человеком, с охотой ответил на приветствие еловского гончара и завел долгую беседу. Аксинья, прижав к груди сверток, слушала их и зевала: подати повысят, воевода чердынский опять дерет деньгу, зыряне^[30] бунтовать вздумали, князец какой-то на смуту подбивает... Уж сколько раз за день говорено.

Аксинье не стоялось на месте, и ноги сами понесли ее вдоль опустевших рядов. Мясные и рыбные места были завалены костями, головами, требухой, которую теперь с удовольствием грызли бездомные псы. Аксинья давно привыкла к царившему здесь запаху подтухшего мяса и, не морщась, миновала ряды. Ее манил голос.

В нескольких саженьях от мясного ряда, близ деревянной церкви, собралась толпа зевак. Бабы с детишками, крестьяне с окрестных деревень окружили сладкоголосого старика. Он сидел на паперти, поджав ноги. Древний, иссушенный годами, испещренный морщинами сказитель перебирал струны певучего инструмента и, прикрыв глаза, казалось, не обращая внимания на своих слушателей, пел о прошлом земли Пермской, о храбром атамане Ермаке, о том, как Сибирь пришла под руку царя русского.

Зачарованно внимала Аксинья словам Ивана Грозного, благодарившего Ермака за покорение Сибирского ханства:

– Слушай, атаманушка,
Ермак, Тимофеев сын,
Буйная твоя головушка.
По синему морю ты гулял,
Корабли персидские разбивал.
Саблями острыми да сердцами верными
Добыл ханство Сибирское.
Навек тебе слово мое благодарное
Да свобода лихая казацкая.

– Дочь, я почто искать тебя должен? Как дитя малое! Даже братец твой – и тот знает, что шарахаться в одиночку по Соли опасно.

Аксинья скорчила умильную рожицу:

– Батюшка, награди сказителя копеечкой, заслушалась я его песнями, – Василий кинул три копейки в помятую шапку старика. Потом всю дорогу корил себя за транжирство. Можно было обойтись и одной копеечкой. Он был рачителен до жадности, с молоком матери впитав убеждение в том, что хороший хозяин полушки зря не истратит. Только дочь могла его сбить с панталыку.

Григорий уже ждал их на обочине дороге, привязав вороного к толстой березе. Он то и дело наклонялся – собирал мелкую медуницу, на взгорке пробившуюся к солнцу среди слякоти.

– Гляди, чудо! Вот цветок, мелкий, невзрачный, сколько силы. А сладости немерено, – отщипнул Григорий цветок и разгрыз его с жадностью. – Лови, Аксинья, тебе собирал.

Отец, ехавший на облучке, не услышал за цокотом копыт и ржанием разгоряченных коней слов кузнеца. Аксинья поймала веточку медуницы и всю дорогу ехала, уткнув свой нос в первые весенние цветы.

– Эх, Ульянка, сама счастье свое потеряла, – лучился озорством Василий. – Кузнец с нами и в Соль Камскую, и в обратный путь присоседился.

Рыжик фыркала, зеленела от расстройства, завистливо глядела на Аксинью.

– Что ж тянете? Сразу бы сватов заслал Гришка. Вместе бы свадьбу сыграли, – продолжал Ворон.

Пухлые губы рыжухи растянулись в довольной улыбке. Она выхватила из рук Аксиньи невзрачные цветы и закружилась с ними.

Вечером Акси́нья нашла помятую медуницу и спрятала среди сушившихся за печкой трав.

6. Теряя голову

Началась в Еловой горячая пора, когда все домочадцы валились с ног – и землю боронить, и ячмень посадить, и за скотиной двойной пригляд нужен. Репа с капустой, свиньи с телятами требовали к себе неусыпного внимания всех Вороновых.

Только посадили грядки, как налетел шквалистый ветер, принесший темные, мохнатые, грозные тучи. Страшный ливень с крупным градом смыл семена, и пришлось работу начинать заново, уповая на то, что бедствие не повторится.

Закончилась посевная, и Анна отворила сундуки с приданым Аксиньи – проветрить да посмотреть, в каком состоянии оно. С пяти лет каждая девушка начинала собирать свое приданое, чтобы к пятнадцати годам предоставить жениху все чин по чину. Льняные рубахи, белые, с красной, синей тесьмой, сарафаны всех цветов и видов, душегреи, да не простые, а из мягчайшей шерсти, две шубы – одна с куньей оторочкой, другая беличья, бесчисленное количество тех тканых мелочей, которые делают избу уютной, а жену хорошей хозяйкой, перетрясались перед летним солнышком.

– Везучая ты, Аксинья, – в сотый раз вздыхала за работой подруга. – Все у тебя хорошо и гладко, приданого сундуки. Батя печется о тебе. А я как сирота, нет до меня дела отцу.

Аксинья успокаивала подружку, а у самой на глаза наворачивались слезы. Мать делала вид, что не замечает, с какой безнадегой младшенькая перебирает новые вещицы. Да и самой было печально.

Вечером Аксинья выскользнула из избы и почти бегом направилась к берегу Усолки. Разгоряченная быстрой ходьбой, подбирая путающуюся в ногах поневу, она не сразу и заметила, что за спиной ее раздаются шаги.

Ее догонял кузнец. Он с задумчивым видом грыз травинку и, даже не поздоровавшись с Аксиньей, пошел по ее правую руку.

– Куда бежишь так, девица? – как всегда загадочно, полунасмешливо-полунежнo спросил он Аксинью. А у той не было сил отшучиваться, что-то отвечать, слова как будто застряли в ее горле, сведенном не испытанным доселе чувством.

Подойдя к берегу, они остановились. Долго стояли молча, не глядя друг на друга, слушали пение птиц, ощущая дыхание нежного весеннего ветерка.

– Зачем ты сюда одна ходишь?

– Нравится мне тут, отдыхает душа моя, глядя на лес, на реку, на тварей божьих, – наконец смогла вымолвить Акси́нья и подивилась, что слова ее льются плавно и гладко, хотя мысли скачут как оголтелые.

– А не боишься разбойников лесных или лешего? Вдруг тебя заберет к себе в чащобу...

– Или под землю... Как Пирсевону^[31] утаскивал муж ее каждую зиму.

– Что? Это что за девица? У вас в деревне, чай, такая живет? – улыбался парень.

– Да нет же! Это богиня греческая! А деревня не ваша, а наша. Со студенья-месяца уже немало времени прошло. – Акси́нья посмотрела кузнецу прямо в глаза и вздрогнула, утопая в их мрачной глубине. Спohватившись, она поняла, что выболтала: она хорошо помнит появление Григория в деревне, а значит, придает ему слишком большое значение.

– Откуда ты знаешь про богинь греческих? Ученая? Книжки читаешь?

– Да... Не то чтобы... У нас травница Глафира в деревне живет, может, слышал? Она многое знает, многое видела и болезни разные лечить умеет. Я к ней частенько хожу.

И Акси́нья, сама того не замечая, рассказала Григорию и про знахарство свое, еще неумелое, и про дружбу с бабой Глашей, и про семью свою...

Цапли, не обращая внимания на людей, выуживали рыбу, деловито носили ее вылупившимся птенцам.

– Смотри, какие красавцы, – указала Акси́нья на серых птиц с нарядными белыми шапочками, ярко-желтыми клювами и длинными ногами. – Каждый год я люблюсь ими. Кажется мне, что это все одна и та же пара птиц, верных друг другу, из года в год дающих жизнь своим птенцам на берегах нашей Усолки.

– Хотел бы и я, как эти серые цапли...

– Что... хотел? – смутилась девушка.

– Жить на берегу Усолки с любимой, чтобы каждый год она рожала мне сына...И каждый год приходить сюда, к цаплям... С тобой... – Акси́нья не удивилась. В этот момент она ощущала, что правильные и нужные вещи говорит ей кузнец. Чужак, пришлый, которого совсем недавно она боялась и дичилась.

Они замолчали. Солнце окрасило Усолку в причудливое смешение красно-розовых тонов и уже показывало только один свой бок, когда девушка спохватилась и помчалась домой.

Длинноногий, но хромой кузнец еле поспевал за ней.

– Да куда же ты? Не украдут тебя разбойники, я с тобой.

– Да ты хуже любого разбойника. – Акси́нья приспустила с пригорка. Сердце ухало в груди. Будто в начале зимы с горки катится на санях. И страшно, и сладко, и на Усолку, покрытую тонким ледком, может вынести.

Каждый вечер Акси́нья приходила на берег, и Григорий уже ждал ее. Часы пролетали незаметно: парень с девушкой то болтали обо всем на свете, то замолкали, глядя на переливающуюся закатными красками речку.

Акси́нья рассказывала Григорию о природе, травах, птицах и зверях – все то, что почерпнула у бабы Глаши. Кузнец – о том, как трудно его ремесло, о том, что металл покоряется только знающему человеку, о том, что смастерить меч или подковать коня – задачи одинаково важные и сложные.

– А ты наблюдательная, хитроумная девица, – одобрительно протянул Григорий. – А еще красивая да ясная как солнышко. Иди согрей меня лучами своими. – Кузнец резко притянул девушку к себе, наклонился и поцеловал. Усы и борода щекотали нежную кожу Акси́ньи. Она замерла от новых ощущений. «Никогда бы губ он не отнимал своих. Вот счастье-то было бы! Пропала я... совсем пропала».

– Ты что вытворяешь! Не подходи ко мне больше. Я другому невеста! – со слезами Акси́нья убежала.

Акси́нья остановилась у крыльца. В дом идти и объяснять, почему зареванная? Совсем нет охоты. Долго она сидела на крыльчке, слушала засыпающую деревню. Быть вместе, как цапли. Солнышко... Почему никогда не получить того, что до смерти хочешь?

Скоро она продрогла – весенние ночи еще были холодны, а кофта плохо грела.

– Ты сдурела, – вышла на крыльцо мать. – Иди-ка быстро в дом, горе ты мое. Ты что ж на посиделках пропадаешь? Что случилось?

– Ничего, матушка, – ответила Аксинья, а сама вдруг разревелась пуще прежнего.

– Что ж такое-то? Обидел кто? – мать обняла плачущую дочку, прижала к себе.

– Никто не обижал. – Оксюша шмыгала носом.

– Пошли в дом, холодно.

Аксинья каждый вечер склоняла голову над рукоделием. Она перестала ходить на берег Усолки, не появлялась на вечерках.

– Аксинья, напоследок погуляй. Скоро будешь бабой замужней, степенной, не до гулянок тебе будет, – звала Ульянка.

– Не хочу, подружка. Иди одна, другие у меня заботы сейчас. Свадьба скоро, – отвечала Аксинья и ниже склонялась над сорочкой выбеленного льна.

Она так и не решилась рассказать Рыжику про разговоры те, про поцелуй на берегу. Подруге будет больно слышать, как ее обожаемый кузнец с подругой хороводился. «Разобидится. Будет говорить, что первая по кузнецу томиться начала. Да и правда так было... Баловство одно для Гриши... Не повторится... И не считается... Не было ничего... Было», – суматошным хороводом крутились мысли в голове ее. Сама Ульянка разговоры о кузнеце не заводила.

– Тебе, подруга, посланьице, – придя с очередных посиделок у Марфуши, хитро улыбнулась Ульянка.

– От кого? – У Аксиньи из рук вылетел кувшин.

– От Семки. Ну ты чего? Неумеха! Зачем посуду-то бить? Передает Семен Петух тебе поклон да спрашивает, почто не появляешься у Марфы, что с тобою случилось. Хотел он сказать, что без улыбки твоей лучистой да взора ясного совсем он закручинился, свет белый ему не мил. Да не получилось, язык костяной.

Оксюша собирала черепки кувшина, красивого, тонкостенного, впитавшего тепло отцовских ладоней, и молчала. Семен передает поклон... В печку его со всеми поклонами!

Почти каждую ночь Аксинья видела сны. Знакомые темные глаза. Тяжёлая поступь. Низкий насмешливый голос. А однажды поутру Аксинья от ужаса кусала одеяло. Приснилось ей, что черт гонится за ней, стучат копыта его, бесовские глаза горят. Он ее догоняет. От

страха она почти теряет сознание – оп! – черт оказывается Григорием и начинает гладить ее по волосам, лицу, рукам, волосам, наклоняется, чтобы ее поцеловать. А она кричит в страхе, а самой приятно, нега по всему телу растекается, и неважно уже, кто ее гладит.

Вся семья спала – рядом на печи сопела Рыжик, громко храпел отец, еле слышно Федя, постанывала во сне мать – каждую ночь болели ее руки от непосильной работы.

Как ни пыталась девушка заснуть, ничего с собой поделаться не могла. Захотелось неодолимо в нужник. Накинула душегрею. Сначала не поняла, что за беда с ней случилась, почему кровью залита ее ночная рубашка. Не беда, а долгожданное – в эту ночь Аксинья перестала быть ребенком.

Весь день перед глазами чёрт, что ночью приснился. И никому не рассказать, даже Ульянке. Только отцу Михаилу на исповеди в храме можно. И то стыдно.

Вспоминалась Аксинье восковая фигурка-чертик, смутные сны. Она молилась Богоматери, чтобы отвела скверну греховную от души ее.

* * *

– Баба Глаша, где ты? Почто не откликаешься?

Аксинье ответила тишина. Щелястая дверь в избушку была открыта. К девушке подбежал кот. Животина истошно мяукала, терлась об ноги, жаловалась.

– А ты что орешь? – нагнулась девушка, чтобы погладить Плута. Он вырвался, побежал куда-то, задрав трубой пушистый черный хвост. Аксинья зашла в покосившийся сарай, где хранилась всякая рухлядь, а в пристройке тихо кудахтали куры. Там она и обнаружила знахарку на устланном сеном полу.

– Что ж с тобой?

Легонько похлопав по щекам и приведя в чувство, Аксинья довела Глафиру до лавки, уложила и обеспокоенно застыла рядом.

– Что за хвороба?

– Деточка, моя хворь называется старостью. Отвар свари мне, голубка. Горсть бишмулы^[32], цвета липы, таволги. Кровь стучит в висках и во всем теле моем. Дышать плохо.

Напоив бабу Глашу отваром, долго еще Акси́нья сидела с ней рядом, сжав безвольную руку.

Кот запрыгнул на лавку к хозяйке и лег на грудь:

– Лечит меня, Плутишка.

– Молодец, котофей. Сразу показал, где ты, баба Глаша, лежишь.

– Умный, чертяка, – гладила кота старушка. – Если раньше помру, забереешь его. Жалко животинку. Пропадет, привык в холе и неге жить.

– Что выдумала, рано еще помирать!

Старушка укоризненно посмотрела на ученицу.

– Заберу, – сбавила тон Акси́нья, – не сомневайся!

Еще недавно такая деятельная, баба Глаша за последние два года сдала. Мудрые, живые хитроватые глаза ее потухли. Не было уже живого интереса к Акси́нье и деревенским новостям.

Теперь Глафира забросила лекарские дела. Все травы, что ароматными пучками сохли у печки, были собраны быстроногой Акси́нией. Прошлым летом, в пору цветения целебных трав Глафира все больше сидела на пеньке и шурилась от яркого солнца. Девчушка бегала по взгоркам и долинам, собирала и перевязывала конопляной верёвкой большие тюки с ромашкой, таволгой, иван-чаем. Порой, не зная названия и целебных свойств травы, она подбегала к старушке и получала дотошное описание цветка. От каких хворей он помогает, как делать примочки, мази да отвары.

– Смотри, сарана, – деревянной лопаткой Акси́нья подкопала цветок и отдала луковицу с зеленой стрелкой Глафире, – в месяц липень по взгоркам да опушкам появляется ее чудный цветок. Греки посвящали ее Аресу, богу войны, а местные племена как хлеб используют. Но самое главное, что луковица ее целебными свойствами полна: настой водный и при ослаблении зрения, болях в желудке, упадке сил, болях в сердце, зубной боли. Запоминай, девонька! Помру – и никто тебе этого не скажет.

Посидев еще на солнышке, бабка начинала новую речь:

– Имя твое, Акси́нья, идет от греческого «Ксения», значит, «чужая, чужеземка». Самое для знахарки подходящее имя. Ты всегда будешь знать то, чего не ведают остальные, всегда будешь для них колдуньей, чужой. Это опасно, это страшно. Всегда берегись людей, глупых невежд, – говорила она, почти слово в слово повторяя напутствия грека Дионисия, полвека назад наставлявшего юную дочь. – Они

всегда будут тебя ненавидеть или бояться за то, что им помогаешь, их лечишь, – такова пакостная человеческая натура.

* * *

Не прошло и двух дней, как на семью Вороновых навалилась невиданная напасть. Все собрались за легким весенним ужином. Домочадцы насыщали живот ботвинником со вчерашним хлебом. В избу ворвалась с плачем Мария, впереди себя неся большой живот:

– Что ж делать мне, горемычной! Грех на мне...

Опухшее от слез лицо было украшено кровоподтеками. Хоть в Еловой мужья частенько «учили» женок ремнем иль плетью, брюхатую бить – дело непотребное.

Анна проводила нежданную гостью в светлицу.

– Что приключилось с тобой, Марьюшка? Чем помочь?

– Муж меня из дому выгнал. Трое деток остались. А он выгнал. К любовнику, говорит, своему иди да с ним дальше милуйся. Дура я, как есть дура!

– Любовнику... Это ты о ком? – сердце Анны замерло на миг и забилося дурным суматошным боем.

Никак Василий учудил на старости лет, седина в бороду – бес в ребро. Ужас охватил Анну, она стала лихорадочно придумывать, как позор скрыть... Как мужу своему венчанному, с которым в любви и согласии не один десяток лет прожили, относиться, как дети...

– Федька... Он...отец...

– Я не ослышалась? Ты про Федю нашего, про дурачка, – не стала смягчать слова разъяренная мать. – Да какой с него любовник! Сдурела совсем!

– Нетушки, соседка. Зря, думаете, крыша у меня так часто текла, забор заваливался... Закрутилось у нас...

– Ты в своем ли уме? В годах, четыре десятка скоро стукнет. Ближе ты по летам ко мне, чем к сыну моему. Господи! – Анна сразу поверила, взглядевшись в истерзанную Марию. – Федяя!

Уложив грешницу на широкую лавку в светлице, Анна отправилась к мужу, чтобы сообщить ему жуткую, невиданную новость.

Василий ее удивил. После ядерных слов в сторону «потаскухи проклятой» он заулыбался и приосанился.

– Ты чего, муж? – не выдержала баба. – Голова поехала?

– Такие мы молодцы, Вороновы, – подмигнул Василий. – Я все печалился, что Федька бараном уродился. На голову больной, с бабами не гуляет. А он ишь чего сотворил!

– Ты, Васенька, и дальше можешь за сына радоваться. А делать-то мы что будем?

– Что делать... пусть у нас поживет, а потом, глядишь, Матвей одумается. Трое детишек у них. Сам с ними не в жисть не управится. Успокойся, жена.

Анна утихомириться не могла. В голове не укладывалось, что ее младший сын Федя, блаженный, который маялся головой, который был в семье на положении ребенка, обрюхатил Марию.

Девкам объяснять ничего не стали. Поругалась соседка с мужем своим, просит приютить на пару деньков. Они шушукались, сверкали взглядами на Марию, но вопросов не задавали.

Федя сбежал из дому. Отец найти его не смог.

– Вернется, стервец такой, – сделал вывод Василий и преспокойно захрапел.

До самого утра Мария ревела. «Под крышей Феденьки моего оказалась я. А где он, горемычный? Вот расплата за деньки счастливые».

В лесу недалеко от деревеньки, в небольшом шалаше под раскидистым кедром, свернулся клубочком Федор. И не было в эту ночь человека несчастнее его.

Федор

С того самого момента как Федя себя помнил, он сознавал, что не такой, как все остальные дети. Постоянные приступы в детстве были для него наказанием. Звал он их темнотой.

– Темнота... Матушка, – жаловался он. Анна знала, что скоро будет приступ, который оставит ее сыночка без сил на долгое время. Научился говорить он поздно, лет в семь. Мать и отец принимали его как божью волю, никогда не корили за болезнь. В Еловой Федю жалели, считали за блаженного.

Дети дразнили:

– Смотрите, дурачок пошел! Ворона, Ворона, кар-кар-кар!

Когда родилась Аксинья, она стала предметом Фединогo тихого обожания. Он мог сидеть над ее колыбелькой часами и мурлыкать что-

то невразумительное на радость Анне, загруженной хозяйственными хлопотами.

Приступы становились все реже. Может, Федор и смог бы стать мужем и отцом... Но вся деревня помнила, что дурачок он, неполноценный. Никто из девок не принимал его всерьез.

Терзания плоти появились у него лет в двенадцать. Колышущиеся бедра, большая грудь, грудной женский смех становились для него предметом мучений. Лишенный дружбы с ровесниками, тугоумный, он не понимал, что с ним происходит. Почему боль в чреслах становится невыносимой, а портки тесными при взгляде на особо мясистых девок?

Мария, вынужденная без мужика справляться со своими бедами, однажды попросила Воронова ей подсобить. Василий отправил сына на подмогу. Федор взмок, пока выравнивал завалившийся на сторону забор, следом ступенька на крыльчке провалилась, дрова колоты мелкими полешками, по-бабски... Благодарная Мария посадила парня за стол, разносолами своими угощала, вареньем смородиновым, на которое была мастерицей. Расспрашивала: как живет, как мать с отцом. Федор, всегда скованный, робкий, глядя в добрые серые глаза Марии, почувствовал, как он в них растворяется, ему захотелось ей рассказать все-все. Про темноту. Про насмешки. Даже про тесные портки.

Федя теперь с охотой шел к соседке: подбить лавки, прочистить завал в печной трубе, поправить крышу – дел находилось великое множество. Одним летним вечерком, когда день уже убывает, отчетливо пахнет осенью – сухим листом и грибами, – Мария отправила детей к Дарье, дальней родственнице на другой конец деревни.

Федя уплетал за обе щеки очередные разносолы – пироги с духовитой малиной, ягодный кисель, булки с корицей.

– Как ты ешь, Феденька, соколик, любо-дорого посмотреть, – погладила она его по голове, прижалась пышной грудью к его спине. Федя сидел не шелохнувшись, он задержал дыхание и силился понять – материнская ласка это или... Все было съедено, можно было возвращаться домой.

Но парню отчаянно хотелось остаться.

– Я баньку истопила, жаркую-прежаркую. Иди, попарься, отмокни, касатик, после трудов праведных, – захохотала она низким грудным

смехом.

Федя как замороженный пошел за ней через весь немаленький огород. Низкая закопченная баня сразу дыхла на вошедших жаром.

– На вот тебе ветошь, вытереться да прикрыться, – а сама махом скинула верхний сарафан, осталась в одной белой рубахе и исчезла в разгоряченном зеве баньки.

Федя залез на полку и стал ждать банщицу. Мария шлепала и терла, хлестала и гладила его веником. Через намокшую рубаху он видел грудь и буйный треугольник внизу живота. Феде казалось, что он находится в каком-то другом мире, голова его стала легкой-легкой, все перед глазами подернулось легкой пеленой. Он лежал на полке, тихий, покорный, подчиняясь всем ее повелениям:

– Повернись, Федя, а теперь на бочок! Ох, какой ты ладный да розовенький. Бабская погибель ты, несмышлениш, – бормотала она. – Сам не знаешь, как хорош.

Не отдавая себе отчета, она провела рукой по темным завиткам на крепкой груди Федора. Пальцы ее побежали ниже, парень схватил ее руку и остановил.

Привстав и медленно повернувшись к Марии, он осмелился провести рукой по пышным выпуклостям бабы. Та тихо вздохнула и зажала его рот поцелуем. Долго они не могли оторвать губ и со стонами кусали, втягивали и лизали друг друга. Парень задрал Марьину рубаху выше груди и жадно обследовал все изгибы перезрелого тела. Он утыкался носом в ее необъятную грудь, а Маша тихо стонала. Тыкаясь, как неопытный кутенок, Федя пытался войти в ее тело, не мог найти вожаемое место. Мария помогла ему, направила в себя и вскоре закричала.

Долго не выходили они из бани. Уже стемнело, уже должны были спохватиться родители Федора, уже Дарья Петухова, к которой Мария отправила детишек, засуетилась, а любовники все не могли оторваться друг от друга. Ни слова не было между ними сказано, говорили они друг с другом на языке стонов, криков и ласк.

Быстро одевшись, Федор осушил кувшин с квасом, припасенный в предбаннике, и крадучись отправился домой. Он опасался родительского любопытства, но в семье никто и не обратил внимания – подумаешь, задержался за работой.

Так расцвела любовь перезревшей женки Марии и деревенского дурачка Фёдора. Лесные травы были их ложем, нежные березы и осины прятали от нескромных глаз, ветер сдувал пот с разгоряченных тел.

Проведя рукой по пышному бедру Марии, Федя однажды задал вопрос, давно мучивший его:

– Маша, Машенька, а зачем я тебе?

– Ох... Да как и объяснить тебе...

– Скажи, как есть. Я дурак, это всем ведомо.

– Не дурак ты, Феденька, не наговаривай. Они сами все дурные, глупые, ничего не понимают. – После долгой паузы Мария продолжила. – Слушай, коли интересно. В семье нас было семеро, я родилась второй после брата. Младших растила наравне с мамкой, столько носов сопливых подтереть, столько братьев-сестер накормить, что к вечеру падала на полати замертво, а самой годков-то немного. От родителей ничего хорошего не видела, одни крики да ругань. Все мое детство – работа да голод. Четырнадцати лет я уже была выдана за Матвея. Я его не знала совсем, моя деревня-то далече. За мужа я с радостью шла. Была тогда хороша, коса ниже задницы, глазищи, румянец во всю щеку! Это сейчас уже не та. А Матвей и тогда силушкой не отличался, в деревне его Фуфлыгой^[33] кликали за плюгавость. А мне было неважно, лишь бы душа была светлая. Надеялась я, за мужем лучше будет. Сначала сбылось, Матвей мужик не злой, жалостливый. Да и голодом не морил, жили в достатке, плотник он добрый. И детишки появились, крепкие да здоровые, живи и радуйся. А я и радуюсь, пока его дома нет, пока он на промысле. А как придет, мука для меня начинается. Ох, Господи. – Мария надолго замолчала. Федя не смел задавать вопросов, тихо сидел и ждал, когда она соберется с силами и продолжит. Видно было, что рассказ этот дается ей тяжело, что заставляет перевернуть всю душу, все самое сокровенное, ни разу не говоренное ни подруге, ни батюшке на исповеди.

– А как приезжает с лесу муж мой... Сам понимаешь, надо ему мужское свое дело с бабой, со мной, значит, сделать... А он не может! Стал он беситься через бессилие свое. Сын ему нужен, наследник. Не мужик он, если сына нет! Так вы все считаете, не возражай, – со злостью кричала Мария, а Федор вовсе не собирался ей перечить.

– То обзывается, то кулаком приложится, то розгой хлещет спину, чтобы не видел никто. И все со злостью, с ненавистью... Ладно бы, я одна получала, а то и девчонок наших повадился он бить, особенно старшую, Настю. Девке уж двенадцатый пошел. Он ее на лавку положит, сарафан задерет да хлещет по заднице. Орет, что вся в мать, такая же дурная. А дальше слова такие, какие я тебе и не повторю, – на глаза Маши навернулись слезы. Парень подвинулся к ней, голову положил к себе на колени и гладить стал по волосам.

– Изверг он, Машенька. Поплачь. Сестренка всегда плачет, если болит.

– Тут слезами не поможешь, – слизывая соленую влагу, шептала баба. – Спрашиваешь, зачем ты мне. Ничего хорошего не видела я, Феденька. Я сразу заметила, что на лицо ты пригожий да ласковый. Я уж и не вспомню, что я тебе глаголила, так, чепуху какую-то, но ты на меня так смотрел душевно да слушал внимательно, что на сердце легче сделалось. А потом, что и говорить... Чем чаще приходил ты, тем больше душа у меня болела, а мож, и не душа... Одно знаю я, Федя, люб ты мне, мочи нет... Сейчас муж бы мой пришел да сказал: иль со мной уходи, или помирай, смертушку бы я выбрала.

– Маша, Маша, я так говорить не могу... двух слов не состыкую... Но была б ты не мужняя жена, была бы со мной, жили бы одним домом... Да горя не знали...

К месяцу-жовтеню листва попадала с деревьев, ночи становились длиннее и холоднее. Вскоре приехал Матвей и задержался надолго. На промысле он ногу проткнул насквозь суком. Рана не затягивалась, мокла, Матвей зверствовал.

Когда выпал уже снег, Фуфлыге стало лучше, и он отправился за отборным соболем к северу от Соли Каменной, а Мария узнала, что у Феди был сильный приступ, долго трясла его лихоманка-болезнь. Лишь через неделю Федор, бледный, ослабевший, появился на пороге Машиной избы. Во все стороны полетела одежка, приникли друг к другу, как странники к ковшу с живительной влагой. Потом баба водила рукой по тонкому лицу Феди, точеному носу, шелковистым усам и небольшой бородке, целовала изогнутые брови и ревела в голос.

– Что? Что такое?

– Сердце плохое чувствует, Феденька, беда нас ждет. Недолго нам с тобой миловаться, – опять целовала его Мария, прижимала к себе белыми полными руками и отпустить не могла. Старшая из девчонок, Настасья, заскочила в избу за варежками, забытыми младшей. Ойкнула, увидев мать обнимающуюся с соседом.

– Ладно, иди, Федя. Прощевай! – Понурившись, Федя направился домой, не получив на прощание привычного поцелуя.

– Настенька, айды сюда, – позвала Мария. – Что, про мать плохо подумала?

– Нет, – испуганно пискнула девчонка.

– Ты смотри, отцу не вздумай говорить. Так он бьет нас напрапалую, узнает, зашибет до смерти.

– Не скажу, матушка, – прижалась Настасья к Марии.

Федор в извечном мужском желании порадовать зазную то кувшины приносил, то ленты и бусы, стащив у Аксины с Ульянкой.

Но сколь бы он ни утешал Марию, все смурнее и смурнее женщина становилась с каждой встречей. Федор не мог понять, с чего Мария слезами заливается, внезапными и горячими.

– Мария-то, соседка наша, тяжела, – говорила Анна Дарье, жене Петуха, – вот радость будет, если сына родит, Матвей бьет ее как сидорову козу, мож, перестанет, если наследник будет. Помоги ей Боже!

И тут правда наконец-то забрезжила в голове Фединой. Скудоумный, понял, почему она боится кары небесной и мужниной.

* * *

Час расплаты настал. Матвей вернулся с промысла, зычно потребовал квасу освежиться с дороги. Как увидел тяжелую Марию, так и осел на крылечке.

Долго он драл ее за волосы и орал:

– С кем, кошка драная, валялась? Кто обрюхатил, сознавайся?

В прошлую долгую побывку Матвей к жене даже не приступал.

Сколько муж ни орал, ни таскал ее по полу, Мария не сознавалась. Девочки испуганно забились на печку и смотрели на разъяренного отца. Когда Маша забылась, ударившись головой о стол, он стащил Настасью с печки и принялся за нее.

– Говори, что за мужик ходит в мое отсутствие? Кто без меня с матерью твоей спит? Говори, а то худо будет! – глаза Матвея налились кровью, голос был похож на рычание, Настя редела, сжавшись в комочек и ожидая неминуемой порки.

– Не трожь ее – сама все скажу. – Мария пришла в себя. – Федя это, – задыхаясь, прошептала она.

– Какой такой Федя, с города, что ли, купец... А?!

– Нет, соседский...

– Что?! Ты с дураком деревенским мне рога наставляла? Курва!

Что было после признания, Мария не помнила. Зажала живот руками, свернулась клубочком и отключилась. Очнувшись от дикой жажды и боли, услышала скуление девочек с печки и храп Матвея, напившегося браги с горя. Маша быстро ополоснула лицо и, не накинув душегреи, в одном сарафане побежала из дому, ставшего для нее клеткой. Выскочила на улицу и спохватилась – куда идти? Родственники назад отправят, правду узнают – позором несмываемым покроют. И побежала Мария к Вороновым.

Весь день Маша лежала на лавке, пялила глаза на стену, хотя ничего интересного увидеть там не могла – только бревна, потемневшие от старости. Федор домой так и не возвращался. Анна и девчонки хлопотали по хозяйству, затеяли большую уборку, кулебяки стряпали с квашеной капустой, кашу ячменную, а соседке было стыдно, что она бока отлеживает, не помогает.

– Как ты, голубушка? – услышала Мария сухой, невзирая на ласковые слова, голос Анны. – Выпей-ка квасу да каши поешь, тебе нельзя голодом себя морить.

Баба послушно ела, лежала и мучилась, как там дочки ее, живы ли, не прибил бы их Матвей. Думала, что надо встать, возвращаться домой, а сама и пальцем пошевелить не могла. Такая слабость сковала ее, хоть плачь. А к вечеру боль в животе стала нарастать, пульсировать, и скоро Мария начала подвывать. Была уже глубокая ночь, когда боль стала невыносимой, и ее подвывания превратились в истошный крик.

Вопли вырвали из сонного кокона всех Вороновых. Анна отправила мужа за Глафирой.

– Рожает она, до сроку, видно, детенок появится. Фуфлыга поизмывался... Ничем хорошим такое не заканчивается.

Аксинью и Ульяну разбудили, заставили воду носить, тряпки искать. Гречанка появилась быстро, неся в котомке свои снадобья. Осмотрела она роженицу, подтвердила, что ребенок просится на свет Божий, предупредила, что долго еще маяться придется:

– День, а может, и два. Чтобы мужика да девок не баламутить, пойдем мы в баню. Протопи ее, Василий, хорошенько, чтобы жару лишнего не было. Воды там накипятим да будем с песнями ребенка ждать. А ты, милая, не бойсь, все хорошо будет, – подбодрила знахарка Марию, которая, казалось, с трудом уже понимала, что происходит.

Нагрелась баня, подхватив крепко под руки, Анна с Глафирой перетащили Машку в баню.

– И двери-окна обязательно откройте, – велела знахарка Аксинье. – Иначе долго будет рожать, а то и вовсе не разродится. Дитя-то... порченное, – шепотом продолжила она.

– Баба Глаша, холодно будет, замерзнет она.

– Ничего, ей жарко будет, не бойсь, Оксюшка.

Всю ночь и весь день мучилась Мария, до избы долетали мучительные крики и стоны, у девчонок все с рук валилось. Аксинья не могла стерпеть, бегала до бани, пыталась прошмыгнуть в баню и посмотреть, что происходит. Детей и девок не пускали к роженицам, незамужних девок особенно, считалось, что они могут, насмотревшись мук родовых, обесплодеть.

– Нечего тебе, девка, здесь делать, – непривычно строго поучала Глафира. – Настой с ромашки да ивы заварить можешь – буду обтирать да смачивать губы роженице, а сюда ходить не смей!

– Почему?! Учишь делу знахарскому, а роды не даешь посмотреть!

– Насмотришься еще!

Василий кряхтел и на дом соседский косился. Вокруг уже множились сплетни, еловчане гадали, почему же Маша не в своем доме рожает, а у Васьки Ворона.

К вечеру на всю деревню раздался нечеловеческий крик Марии, и сын ее, зачатый во грехе, появился на свет. Был он крупным, большеголовым, красным, сморщенным, но для матери самым красивым на свете.

– Смотри, мамаша, какого богатыря родила. Вот отец-то обрадуется.

– Что толку, бабушка, что отец родной обрадуется? Тот, кто по закону отец его, убьет и меня, и дите, – всхлипнула Маша.

– Да подожди ты, образуется все. Знаю я историю вашу, давно я поняла уже, что таскаетесь вы, укромничаете по лесным полянам. Думала, не знает, никто? Зря, голуба, так думаешь. Федю блаженного нашего с панталыку свела. Жизни нормальной ни ему, ни тебе не будет. Да не реви ты, все хорошо будет, это ведунья старая тебе говорит, – зашлась Глафира дребезжащим смехом. – Пуповину отрезала, к вечеру тихонько перетащите ребенка в дом, в бане ему не место. Два дня тебе, баба, лежать, не вставая, и будешь лучше прежней!

Матвей с всклокоченными волосами и мутным взглядом бродил по своему двору и волком глядел на соседей. Хлебным вином^[34] горе свое заливал. Сколько не пил, все забыться не мог: гулящая брюхатая жена перед глазами стояла.

Девчушек забрали родственники. Он один как сыч. И мысль главная в голове: дурачок Федька сына заделал, а Матвей, муж законный, так и не оставил свой след, наследника.

– Вот пусть соседюшки недоноска этого и растут, мне он тут не нужен. Машку, мож, и заберу... кто стирать да варить мне будет, девок бесполезных растить. Учить ее надо ремнем... розгой, опозорила на весь мир, – бормотал мужик. Вливал в свое горло крепкое питье, спал на полу, а, лишь продрал глаза, принимался за старое.

Поздним вечером, крадучись, как вор, Федор вернулся в родную избу. Постояв немного над крепко спящей после всего пережитого Марией, тихо взял на руки ребенка и надолго замер, прислушиваясь к тихому сопению. До первых петухов Федя сидел на лавке с сыном на руках, как будто чувствовал, что больше его не увидит, не ощутит в руках сладкое молочное тепло.

– Феденька, сына кормить надо, дай мне его, – пробудилась от крепкого, почти обморочного сна Мария.

Как замороженный, наблюдал парень, как женщина оголила пышную молочно-белую грудь, как сын, похныкивая, схватил губами большой сосок и зачавкал.

Порывисто соскочив с лавки, он сел на пол и сжал колени Марии:

– Уходи от него. С родителями моими. Дочек твоих заберем. Маша...

– Ты в своем уме? Я жена Матвею венчанная, и уйти от него не могу я, только смерть может нас разлучить. Дети у меня, муж, не желторотая девчущка я... просто дурная баба. Помрачение нашло на меня... Жалею я. К мужу я пойду да буду в ногах валяться...

– Жа-а-алеешь, значит?! – начал заикаться от обиды Федя. – Жалеешь?!

– Да, жалею, что с дурачком связалась... в грех себя и тебя ввергла.

Не сдерживая рыданий (он дурачок, ему можно), Федор выскочил из избы и спрятался в клети. С того момента все бабы, кроме матери да сестры, стали для него исчадием зла, обманщицами и ведьмами.

А Мария кормила сына, с умилением глядя на дитяню, а слезы капали и капали, промочив рубаху насквозь.

– Кто дурнее, сынок, – наклонилась к младенцу Мария, – мать твоя или отец, не знаю я...

Василий в обед отправился к Матвею. Говорили, что много соленых слов было сказано, будто бы даже звук удара крепкого раздавался пару раз. По-мужски разговаривали они. Сколько Анна ни пыталась мужа, о чем говорил он Матвею, что внушал ему, ничего узнать не смогла.

Василий забрал сына в мастерскую и делал вид, что не замечает красных глаз Феди, трясущихся рук. Хотел с сыном поговорить, не знал, как и подступиться к нему. Один горшок Федор испортил, второй расколотил.

– Слушай-ка, лучше уборкой займись. Сегодня толку никакого!

Вскороости Матвей сам появился в избе Вороновых, застыл несмело на пороге:

– Здравствуй, хозяйюшка. Извини за беспокойство. Жена моя, Мария, у вас, соседи?

– У нас, – сурово нахмурилась Анна, глядя на плюгавого мужичонку. – Что тебе надо?

– Жену забрать пришел я. Родная изба грязью зарастает, а она у чужих людей прохлаждается. Нехорошо-о-о.

– Чужие люди ей помогли, от гибели ее да дитяню спасли. И от тебя, ирода.

– Ты смотри, баба, – грозно напыжился Матвей.

– Что?!

– Не сердчай, хозяйка, – отступил Матвей. – Где жена моя?

– Вон, в светлицу зайди.

Неловко зайдя в комнату, Матвей остановился на пороге и вперился глазами в лежащую Марью, баюкающую ребенка:

– Встречай мужа своего... За тобой пришел. Собирайся да домой пойдем.

Баба подняла на мужа потухшие глаза, обведенные темными полукружиями.

– Одну забираешь-то иль с довеском? – равнодушным голосом спросила Мария.

– Да пошли ужо! – потерял терпение Фуфлыга.

– Без Матвеюшки не пойду, даже не надейся.

– Матвеюшка?!

Мария с исконной бабьей хитростью выбрала самый нужный путь к сердцу мужа. Ни разу не задумывалась она, как будут звать ее новорожденного сына – как священник наречет. Лишь увидела Матвея и поняла, что назовет дитя в честь мужа, а не в честь своей первой и последней шальной любви.

Так Матвей забрал Марию с ее вымеском^[35] домой. Вороновы благословили воссоединение семьи, даже выпили браги на радостях. Один Федя ходил как в воду опущенный, перестал разговаривать, на все вопросы родителей отвечал небрежными кивками.

Матвей хвастал перед соседями:

– Смотрите, какой карапуз у нас с Марией родился! Наследник! – И вскоре все сплетни и пересуды в Еловой утихли – сроду не было такого, чтобы мужик чужого ребенка признал.

Вся эта суэта с Федей и его полубовницей произвела на девчушек разное впечатление. Аксиные было жалко брата, она, как никто, понимала, что Федор – обычный мужик. С детства лежало на нем клеймо скудоумного, лишеного простых радостей: жены, детей, людского уважения. Невидимое, неосязаемое, клеймо намертво впечаталось в его стройное, легконогое тело.

Ульяне шашни соседки и Феде были жуть как интересны: где встречались, как часто, почему брат Аксины, за мужика в деревне не считавшийся, стал для женщины искушением, введшим ее в грех, – все это она могла обсуждать часами.

7. Заложница судьбы

Весенним утром Ульянка прибежала в коровник, где Аксинья мучилась с молодой норовистой телкой. Или телка мучилась с ней... Сколь ни уговаривала девушка животину, не тянула сосцы, корова возмущенно мычала и отказывалась давать вожделенное молоко. Слезы досады готовы были уже брызнуть из глаз девушки, когда взволнованная Ульяна заорала на всю сараюшку, испугав даже спокойных, сбившихся в углу овечек:

– Он... он... в кузнице ... беда!

– Что случилось-то? Скажи ты толком? – вскочила Аксинья.

– С Григорием беда! Окалина... В глаз! Страсть!

– Подои телку, – крикнула Оксюша уже на бегу. Раздался возмущенный вздох Ульяны, а потом над сараюшкой разлилась песня. И вскоре струи молока ритмично застучали по ведру, знаменуя победу над норовистой телкой.

Аксинья бежала к Глафире, не чуя ног. Лишь старая травница поможет кузнецу. Гречанка так долго собирала котомку, возилась, скрипела костями, что нетерпеливая девушка взмолилась:

– Баба Глаша, быстрее.

– А ты на пожар, что ли, торопишься? Ничего с кузнецом твоим не случится.

Аксинья проглотила рвущиеся возражения и, схватив знахарку под руку, почти потащила по направлению к кузне. Там, невзирая на ранний час, уже столпился народ – в основном дети и старики.

– Хромой кузнец окосел на один глаз, – кривлялся рыжий Фимка.

Игнат метался вокруг Григория, толком не понимая, чем ему помочь. Кузнец сидел, прижимая грязную тряпицу к лицу, Аксинья почувствовала, как в тревоге сжалось сердце.

– Показывай, что у тебя, – с кряхтением Глафира присела на топчан, оглядывая закопченную, низкую кузницу.

– Железная крица. Видно, плохая... Я горн разжег, как обычно. Отлетел кусок, и прямо в глаз! И не видит теперь ничего! – Гриша молчал, и это с лихвой восполнял Игнашка, от волнения сделавшийся разговорчивым сверх меры.

Знахарка с отвращением бросила на пол грязную тряпицу.

– Ишь чего удумали. – Она долго рассматривала правый глаз. Он выглядел жутко, покраснел, опух, веко приобрело розовато-багровый отлив. Акси́нья, стоявшая за спиной Глафиры, вытягивала шею, пытаясь рассмотреть рану, и вдруг увидела, что здоровый глаз кузнеца ей подмигивает.

– Да-а-а, – протянула Глафира. – Акси́нья, иголку с ножичком дай-ка мне, в котомке. – Трясущимися руками девушка протянула страшные приспособления знахарке. Несколько секунд, и в узловатых руках оказался крошечный кусок металла: – Смотри, осталось бы это в глазу – точно ослеп. А так, с Божьей помощью...

Каждый день Акси́нья появлялась в кузнице, держа в руках лечебные снадобья. Сухо поздоровавшись с кузнецом и его помощником, юная лекарша всем своим видом показывала: она здесь лишь по делу. Оксюша промывала набрякший кровью глаз очанкой, наносила пахучую мазь на веко, вздрагивая каждый раз, как прикасалась к горячей коже Гриши. Он разговоры с девушкой не заводил, сидел тихо. Но с самого утра вытягивал шею, силился здоровым глазом разглядеть хрупкую фигурку девушки.

– Нет уж ничего... Заживает твой глаз, больше не приду, – предупредила через неделю Акси́нья.

Григорий цыкнул Игнашке, и тот, понятливый, вышел из кузни.

– Долго отворачиваться-то будешь? – сжал тонкую фигурку, как зажал металл в тисках.

– Пусти меня, я все тебе сказала.

– От судьбы не убежишь, краса моя, даже не надейся – Девушка вырвалась из железных рук. Тело ее горело от слов кузнеца, а в голове билось одно: «Не убежишь... Не убежишь...»

* * *

Вдыхая запах весеннего леса, набирающих сок деревьев, слушая трели птиц, чутко внимая голосам и шорохам тайги, звонким ручьям, Акси́нья забыла о своих тревогах и печалях, задумалась, замечталась. Вопреки голосу разума, твердившему, что нечего ей делать в этом укромном месте, в том самом месте, где всего две недельки назад так душевно она беседовала с Григорием... Ноги несли ее к заветному берегу.

Тропка, покрытая грязью вперемешку с застарелым льдом, предательски заскользила под ногами. Силясь удержать равновесие, девушка замахала руками, старенькие сапожки разъезжались в грязи. И в самый последний момент она почувствовала, как чья-то сильная рука подхватила ее под локоток и поставила на ноги.

– Полетать решила, красавица? – раздался низкий насмешливый голос. Вот чего уж Аксинье не хотелось, так это подобного конфуза. Объект ее ночных страданий, тот самый «черт», который смущал ее покой, ехидно улыбаясь, стоял перед ней, чуть не став свидетелем бесславного падения.

– Нет, скользко очень. Грязь, вишь, какая!

– Зачем одна пошла на берег? Ко мне бы в кузню заскочила, да только свистнула бы – я примчался!

– Смеешься все... Спасибо, Григорий, за помощь. Глаз твой...

– Не окосел я! Глаз все видит. Исцелила меня. – Он оттянул правое веко, Аксинья вздрогнула. – Тебя высматривает, а ты все прячешься.

– Прощай. Дальше дойду сама! – Она ускорила шаг и быстро поняла, что история с падением может повториться.

– Да не торопись ты, второй раз поднимать и на ноги ставить не буду. Давай ручку свою сюда.

Засунув Аксиньину руку под мышку, кузнец преспокойно продолжил путь.

– Вот теперь не упадешь. Если вместе не покатаемся по тропке.

Тут уж девушка, сколь не пыталась оставаться серьезной, прыснула. Всю дорогу они перебрасывались ядреными словечками и хохотали.

– Что ж ты долго ты не приходила, – внезапно став серьезным, спросил Григорий. – Я каждый вечер ходил сюда, ждал, что солнышко ясное появится, – опять стал его голос насмешливым. – Куда пропала-то?

– Да некогда было, вся в хлопотах домашних, весна – самое время дел огородных. И сам знаешь, пост Великий, не до баловства...

– Такая занятая да верующая... Страшно просто... Мучила меня нарочно, знаю я вас, женское племя, – жесткие нотки послышались в голосе Григория.

– Мучила? Да больно надо! У меня дел хватает и без того, чтобы думать о мучениях деревенского кузнеца. У меня свадьба скоро,

осенью и справим, – мстительно выпалила девушка и осеклась – Григорий, всегда сдержанно-насмешливый, побледнел. Переспросил:

– Свадьба?!

– А ты что, не знал? Думал, я в сердцах тебе сказала! Я невеста Микитке Ерофееву, давно отцы наши сговорились. Все деревня об этом судачит, Вороновым завидует. Деревенская девка за городского парня пойдет, экая удача!

– Не чувствую радости в голосе твоём, Акси́нья. Не люб, видать, тебе жених?

– Не люб, ох как, не люб, с детства терпеть не могу Микитку... – осеклась, вспомнив, с кем говорит. – Воля отца закон, решил он, что Никита мужем моим будет, и я не смею ему перечить.

– Ну-ну... А иди лучше за меня, – внезапно развернул кузнец к себе Акси́нью, сжал крепко и посмотрел ей в очи своими бархатными глазами.

– Гриша, что ты такое говоришь? Грех это, воле отца перечить. Невозможно это... – нежно-розовым румянцем залилась девушка, представив, каково это – быть женой того, кто мил сердцу, от кого дыхание замирает, на кого смотришь и наглядеться не можешь.

– Почему же невозможно? Я тебя посватаю да расскажу родичам твоим, как жить мы ладно станем...

– Не надобно! Молчи. Я уйду домой, не говори так... – Акси́нья силилась скрыть слезы, наворачивающиеся на глаза. – Расскажи лучше о себе, Григорий. Ты обо мне почти все знаешь, а я о тебе ничегошеньки не знаю, как будто скрываешься от меня. Какого ты роду-племени? Как в деревне нашей оказался?

– Тяжко, Акси́ньюшка. Никому я не рассказываю, сам забыть силюсь. А вспоминается, след в след идет прошлое...

– Да что ж с тобой случилось, Гриша?

Большие испуганные глаза Акси́нии переворачивали все нутро кузнеца, в них хотелось смотреть, не отрываясь. От зари до зари смотреть на ее личико ангельское, слушать ее мелодичный голос, рассказать ей все о себе... как на исповеди не рассказывал.

– Родился я в большом селе под Белгородом, семья у нас была большая да справная, семь детей в семье живыми остались. Хозяин наш был понимающим: оброк заплатил да барщину отработал – и дальше крутись как белка в колесе. И все бы хорошо, земли наши

теплые, привольные, солнце там светит ярче, чем здесь, ягоды вкуснее, урожаи знатные... Крымчаки повадились на наши земли набеги совершать.

– Крымчаки тебя утащили?!

– Да, увели татары и продали в Кафе^[36] на невольничьем рынке.

– Ох, бедный ты. Ужас-то какой! – Аксинья порывисто прижалась к Григорию. Еле дотянувшись – высок больно, – по голове опущенной стала гладить.

– Но, как видишь, все хорошо закончилось. С тобой вот стою здесь, и больше мне не надо ничего. – Григорий схватил девчущку, прижал к себе, приподнял – иначе нос ее уткнулся в его подмышку – и стал всласть целовать. Аксинья уже не сопротивлялась, таяла в его руках. Рассказ о плене разжалобил ее сердце, а для русской девки, как известно, жалость первейшее средство на пути к любви.

– Гриша, довольно, – задыхаясь, просила Аксинья.

Кузнец неохотно подчинился, но сжал ее хрупкие плечи.

– А сколько ты был в плену? Как спасся?

– Был там я почти десять лет. Домой пора уже идти. Смотри, темнота непроглядная какая.

– Не приду я завтра, Гриша, не жди – будем мы к Пасхе готовиться, с утра до позднего вечера.

– А в воскресенье придешь? Не пропадай опять надолго.

– Не смогу прийти, не проси.

– Умолять не буду, – пожал плечами Григорий.

Аксинья на ощупь открыла дверь, домой, перекрестилась быстро и полезла на печь. Взбудораженная, дрожащая, она в темноте ушибла коленку и тихо застонала от огненной боли.

– Ты, Аксинья, скулишь? Ты что это поздно сегодня? – раздался шепот Ульяны. – И запыхавшаяся... Рассказывай, где была? Семка, что ли, подкараулил?

– Никто меня не подкарауливал. На берегу была да не заметила, как стемнело. Страшно стало.

– Шарашисься ночью одна. Я б на месте матери давно тебя за косы по избе таскала. А если что случится? Балуют тебя! – причитала Ульяна. Ее некому было и баловать, и наказывать.

– А ты б вообще помолчала, давеча с гулянки пришла поздно, чуть не с петухами...

– Дак то с людьми. У Марфы. Что со мной случится?

– Много что может случиться...

Справили Вороновы светлый праздник Пасхи: яиц накатали, вымачивая в луковой шелухе да свекольном отваре, напекли несколько куличей, «сырную бабу».

– Во рту тает. Хвалю, хозяйюшки, – довольный, вытирал усы Василий.

– Девки сами делали. Удалась стряпня. Пусть привыкают, скоро женами станут, – сдержанно хвалила Анна.

В субботний вечер телега, тоскливо поскрипывая на поворотах, повезла в Соль Камскую все семейство Вороновых. Каурый фыркал, недовольный поздней дорогой, косил карим глазом, и на полпути Василий с Федей спрыгнули с телеги, шагая почти вровень с уставшим жеребцом.

Издавека был слышен сладкий колокольный благовест. Он плыл над городом, над Камой, вздымался ввысь, показывая небесам, что пермский город готов к Великому празднику. Литургия собрала в солекамском храме богато одетых горожан, мастеровой люд, нищих, крестьян близлежащих деревень – все с благоговением следили за последними приготовлениями, за певчими, прочищавшими голоса, взволнованным отцом Михаилом, готовившимся к главному действию года.

– Смотри, как отец Михаил облачен! Белое одеяние с золотом, – немного завистливо шептала Ульяна, – хорош.

Священник и правда, не взирая на уже зрелый возраст, был статен и пригож, вдовел уже не первый год, и многие прихожанки засматривались на него.

– Ты о чем думаешь в такой час? – строго шикнула Аксинья. – Греховодница. – Рыжик зыркала на подругу, та еле сдержала льющиеся наружу брызги смеха.

Через несколько часов сгустившаяся темнота отступила перед зажженными свечами, запрестольным крестом и ликом Богородицы. Белые облачения священника, хоругвеносцев и диаконов, перезвон колоколов, торжественная песнь обращались к небесам, размягчали душу сладостью своей неизбывной. Все суетные тревоги отступили далеко, перестав тревожить мятущееся сердце Аксиньи.

После крестного хода храм вновь поглотил верующих, врата закрылись. Служба продолжалась долго, от благовоний и тесноты у девушки стала кружиться голова, все подернулось дымкой, и упасть бы ей в обморок, если бы вовремя не подхватил брат.

– Отец, я на свежий воздух. Можно?

Василий сдержанно кивнул. С трудом выбравшись из храма, девушка остановилась у паперти, глубоко вдыхала пьянящий весенний воздух. Солнце радостно возвестило о начале нового дня. С холма открывался чудный вид на город, узкие улицы с рядами деревянных затейливых домов, часовенки небольших деревянных храмов, блистающую синевой Усолку, расположенные вдалеке солеварни. Черпаки возвышались над городом, будто длинношеее цапли. Подумалось Аксинье, что постылое замужество принесет хоть одну радость – возможность ходить часто в храм и любоваться городом, озорным, шумным, манящим.

– Что выскочила из храма, как будто черти гнались за тобой? – раздался знакомый голос. Спиной ощутила его близость, зажегся огонь в самой глубине тела.

– Григорий... Да разве можно так говорить?

– Как? А, про чертей... Все забываю, что ты богомолица...

– Не шути так, Гриша, неужто ты безбожник? – прошептала девушка. – Не раз подмечала я, что нет в тебе почтения...

– Да брось ты, медуница. Долго я жил в Крыму, много повидал и понял... Не сейчас про это говорить, не поймешь ты, мала еще... Потом я тебе все расскажу...

– Мала, мала, все в один голос говорят. И родители, и ты... Надоело уже, – вспылила девушка. – Мне уж пятнадцать годов скоро, а вы все об одном твердите.

– Если выросла, девица взрослая, заневестившаяся... Буду тебя ждать сегодня-завтра в нашем месте. Поеду я в Еловую, дел много, некогда в городе баклуши бить.

Исчез Григорий также внезапно, как появился.

– И не наше это место, а мое... много лет туда хожу, – вслед кузнецу пробурчала Аксинья. Сама же не могла сдержать радостного выдоха: «Он меня будет ждать, опять будет ждать, Гриша мой».

– Свербит, девка, у тебя. Смирйяй похоть, ёнда^[37], – ехидный голос вернул ее на землю.

Покрутив головой, Акси́нья разглядела крошечного бедного старичка, притулившегося на краю паперти.

– Вот такие потом и топятся. Слышь, девка, сбегай за угол, купи медовухи... На светлый праздник Воскресения Христова...

Она недоуменно смотрела на божьего человека и не знала, что сказать в ответ. А блаженный глаза закрыл и засопел, не дождавшись благодеяния. Вернулась в церковь и уже не замечала духоту, бесконечную службу, возвращение в деревню. Перед глазами ее стояли ласковые очи кузнеца, а в ушах скрипело: «Смирйй похоть... ёнда...»

В пасхальное воскресенье деревня гуляла, все избы были открыты для гостей.

– Христос воскрес!

– Воистину воскрес! – раздавалось в каждом доме.

К вечеру все от мала до велика высыпали на улицу. Девки в круг сгрудились, частушки пели, парни мерялись удалью молодецкой.

В центре Еловой столб вкопали и три платка к самой макушке прицепили.

– Кто самый смелый? – крикнула Марфа. Бойкая и шепутная, она была заводилой в таких делах. – Кто зазнобе своей платок подарит? Два платка простых, ситцевых, а наверху кумачовый, особенный плат. Налетай, парни!

Два хлопца платки ситцевые добыли, один был подарен Ульяне, другой – самой Марфе. Радостные девки расцеловали парней.

– А особый платочек-то висит на самой верхушке столба! Перевелись храбры молодцы?

– Я полезу, – вышел Семен. Долговязый, нескладный, он снял рубаху, закатал порты и ловко полез по столбу.

– Бортник – медовая душа...

Ишь как перебирает ногами! Гляньте, медом намазался. Ванька, подсоби сыну...

Иван Петухов замер, закусил губу, с гордостью наблюдал за сыном. Семен прочно прилипал к столбу, ласково обхватывая его загорелыми руками и бледными, поросшими светлой шерстью ногами. Скоро он уже отвязывал алый платок.

– Кому ж подарит-то? – шептали Зоя и Анфиса. В каждой билось: вдруг меня порадует молодец?

Семен быстро слез, потер руки в свежих занозах и подошел к Аксинье.

– Держи. Тебе... – А она покраснела под цвет подаренного платка.

– Спасибо тебе, Семен, – по обычаю поклонилась Оксюша и в щеку поцеловала парня.

Она сжала в руках кумачовую тряпицу, яркую, задорную, совсем ей ненужную.

– Эх, Аксинька, весело живешь, – протянула Зоя. Веселый тон не скрыл зависть. Всем ведомо, осталась девка на гуляниях без подарочка – бросовый она товар.

Подруга не слушала ее, крутила головой.

– Ты кого высматриваешь? Семка вон стоит лыбится.

Но Аксинья искала глазами вовсе не его. Увидела она, как Григорий покинул толпу и направился к своей кузнице. Когда он шел быстро, хромота была видна сильнее обычного, и сердце девушки обожгла любовь вперемешку с жалостью.

Вечером, накормив поросят и куриц, умаявшись от тяжелых лоханей, Оксюша заспешила на берег. Долго ждала она кузнеца. Не радовали ее утки, деловито скользившие по поверхности воды. Наводил тоску мерный перестук дятла, пристроившегося на высокой сосне.

Собравшись домой, она увидела в свете угасающего солнца очертания мужской фигуры – прихрамывая, кузнец спешил к ней.

– Где же ты? Куда пропал? Заждалась я!

– Дела задержали срочные... С Соли Камской приехали ко мне с заказом большим.

– Так, значит! Заказ тебе важнее. Прощай, я домой!

– Куда, краса моя? Остановись-ка!

Развернув ее к себе, Григорий сгреб, прижал ручищами к рубахе, пропитанной солью.

– Раздавишь же, Гриша, – шептала Аксинья, а губы ее касались горячего мужского тела, ее отделяло лишь тонкое полотно. Пахло мужским потом и кузней. Она ощущала гулкие удары сердца парня, и смущение окрашивало ее щеки румянцем. Потребность быть с ним, любимым и желанным, становилась все яснее. Тепло и терпкий мужской запах окутали ее, отделяя от остального мира. «Пусть катятся они в тар-тарары, отец, Микитка и все остальные».

– Не раздавлю, Оксюша.

Подхватив ее на руки легко, как ребенка, кузнец закружил, не обращая внимания на маленькие кулачки, ударявшие по его спине и плечам.

– Где платок Семкин? С ним теперь гулять будешь, Аксинья, раз подарки он тебе дарит? – увидела она совсем рядом с собой сузившиеся глаза Григория.

– На землю меня поставь. Так вот в чем дело! Потому опоздал на свидание? Наказать меня хотел, отомстить! Не ожидала от тебя!

– Прости, выиграла во мне ревность, когда увидел тебя с Семеном. Я тебе платок тот должен быть снимать... Кабы не нога моя проклятая...

– Да успокойся, что мне тот платок! Что мне Семен! Мы с детства с ним дружны были, а теперь... любви моей захотел! Не люб он мне.

– Значит, никто тебе, кроме меня, не нужен? Да, Аксинья?

– Да, никто и ничто! Сокол мой...

– Все у нас хорошо будет. Я тебе обещаю.

И в душе Аксиньи разлилось тепло. Верила он милому своему, верила каждому его слову.

* * *

После Пасхи в Соли Камской с большим размахом отмечался особый праздник. Каждый год Аксинья ходила следом за отцом и выпрашивала:

– Батюшка, расскажи про чудесное спасение.

– Дочь, сколько раз уж я тебе историю сию рассказывал. Пора бы запомнить, чай, не маленькая, – для виду отпирался он.

– Ты хорошо говоришь, складно. Никто так не умеет...

– Да расскажи ты, Василий, и мы с Федей послушаем, – вздохнула Анна.

– Много-много лет назад великое разорение грозило Соли Камской. Ногайская орда шла на город сплошной стеною. Крестьяне да посадские защищали город, бились не на жизнь, а на смерть. Топорами, косами, копьями раскидывали врага храбрые мужи русские. А ногайцы все наступали и наступали, и на месте каждого убитого ирода появлялось два новых. И стали ордынцы теснить защитников славного города, и стали за стеною плакать жены да дети малые.

Увидев это, настоятель Троицкого храма вышел за ворота да иконы Спасителя и Николая Чудотворца вынес. Встал он за спинами защитников да начал молиться Господу нашему, молился за Соль Камскую, за избавление от напасти. Икона наслала на ногайцев чудесное видение: новые и новые русские воины идут в бой. И не видели супротивники, что осталась горстка воинов. Чудилось, будто армия несметная защищает стены города. Бежали ногайцы от города, и преследовали их солекамцы несколько дней и ночей. Много мужей полегло в той битве, долго оплакивали их. Было это в девятую пятницу после светлого праздника Пасхи. С той поры этот день для наших мест самый досточтимый праздник.

– А в Еловую тоже ногайцы ходили?

– Бабы да дети за стенами города попрятались, а мужики защищали отчизну вместе с горожанами. Так дед Гермоген сказывал.

Ульяна хихикнула.

– Бесова девка, что смешного-то?

– Нет, нет, прости, дядь Василий, – сдерживала шальную улыбку Рыжик.

Вспомнилось гадание крещенское девкам и «жених» Гермоген, и покатались обе со смеху, рассыпались бисером.

– Тьфу. Не буду больше рассказывать, пустоголовки!

Все семейство Вороновых отправилось в город на службу.

– Заодно обсудим приданое да свадебку с будущими родственниками, – потирал руки Ворон.

Соль Камская встречал гостей гуляниями. Народ съезжался сюда со всей округи купить нужное в хозяйстве иль безделицу, поторговаться всласть, посмотреть на скоморохов; молодежь – померяться удалью, хороводы поводить и познакомиться. Но самым главным действием был крестный ход во главе с архиепископом Вологодским и Солекамским Ионой, который торжественно нес в руках икону Николая Чудотворца.

– Аксинья, Ульяна, Федя, пошлите на качели. Они у нас хороши! Смотрите, девки. До небес взлетите! – зубоскалил Микитка.

– А почему нет? Пойдемте! – согласилась за всех Ульянка. Федор с Аксиньей поплелись следом.

– Держись теперь, невестушка! – осклабился Микитка.

Несколько резных деревянных качелей, рассчитанных на двоих, были расположены в укромном уголке на берегу. Да так, что особо

раскачавшаяся парочка рискнула упасть прямо в прохладные воды Усолки.

Аксинья визжала от страха, сжимала веревки побелевшими пальцами. Парень довольно ухмылялся, пухлые щеки его лоснились от радости. Рядом не в пример спокойно качались Федор с Ульяной.

– Все, хватит, Микитка! Устала, останавливай!

– А я еще хочу! Солнышко! – гоготал толстяк.

И правда, качели уже стремились описать полный круг. Аксинья сжала губы, не хотела она просить жениха о милости. Так и жизнь ее с Микиткой будет, будто качель эта. То вверх, то вниз, и страшно, и тошно, и нет конца-края мучению. А муж будущий знай себе дергает веревку и радуется ее страхам.

Федор увидел, что Аксинья позеленела, подошел к Микитке. Ни слова ни говоря, выдрал веревку из толстых пальцев.

– Ты что ж, родственничек? Забаааваам нашим мешаешь, – протянул издевательски.

Микитка дул на красные пальцы, перетянутые следами от веревки, будто колбаса.

Федор помог сестре спрыгнуть и повел ее на лавку – отдышаться.

– Болван ты, Микитка. Ума никакого нет! Недаром Аксинья... – выговорила Ульяна.

– Что Аксинья?

– Да ничего, много будешь знать – скоро состаришься.

– Ты, приживалка, помалкивай. Только из жалости тебя Вороновы держат. Кому ты, дура, нужна? – И, не дожидаясь ответа, Ерофеев-младший ушел, завидел вдалеке своих приятелей, разряженных и напыщенных, будто тетерева на току.

Аксинья, Ульяна и Федор проводили Микитку облегченными взглядами, Рыжик показала ему вслед язык, черный от ягодных лепешек. Аксинья рассмеялась и ущипнула ее за руку. Они долго еще гуляли по городу. Чувствовали себя чужими среди веселящейся толпы, нарумяненных городских девок, парней с шапками набекрень. Федя кривился: пьяные, шумные, крикливые люди были ему противны. Но перед сестрой и Ульяной позориться не хотелось. Он терпел.

Забавлялись над ужимками ряженных, отведали засахаренных фруктов и калачей, выпили духовитого сбитня, подивились на ручного медведя, которого за веревку водил чернявый мужик. Федор зазевался

– и в миг кошелек на поясе его исчез в руках какого-то ловкого малого. Он расстроился почти до слез – не так часто родители давали ему полушку на пустые траты.

– Ты что ж, раззява? Ушами хлопаешь, – выговаривала Ульяна, а Аксинья лишь утешающе похлопала по широкой спине. Что с него взять?

Поплутав по узким улицам, нашли дом Ерофеева и долго стучали в деревянные, обитые железом ворота. Сам дом производил впечатление достатка – с расчетом на то и строился десяток лет назад. Резные наличники, выполненные лучшим в округе мастером, окна с дорогой слюдой лучшего качества, два этажа из первосортного бруса сразу давали понять – купец здесь живет хороший, оборотистый.

Наконец кособокая, горбатая девка отперла ворота и проводила в дом.

– Отдохните немного, гости дорогие. А к столу просим, – ласково пропела Пелагея Ерофеева.

Ульяна упала на лавку, сыто икая после калачей и засахаренных фруктов, в обилии съеденных на ярмарке. Аксинья присела рядом, задумчиво теребя косу.

– Родичи твои денег не жалеют, – похвалила Ульяна городские хоромы. – Заживешь тут как у Христа за пазухой. Добрые они, хорошие люди, к тебе ласковы. Один Микитка подкачал...

– Что Микитка? – незаметно появился на пороге горницы жених Аксиньи. – Ты бы, Ульяна, погуляла, к столу сходила, яств отведала. Надо мне наедине с Аксиньей поболтать.

– Никуда я не пойду, – взъерепенилась Ульяна. – Ишь чего удумал!

– Иди, – попросила Аксинья. Рыжик покосилась на подругу и покинула комнатку.

Микитка, немало не смущаясь, завалился на широкую лавку рядом с невестой.

– Можно уж и пообниматься. Жених с невестой, а на сеновале не барахтались.

– Не о том речь, – отодвинулась Аксинья. – Разговор есть серьезный.

– Говори, коль не шутишь.

Он приподнялся, подпер подбородок рукой и сделал столь серьезную гримасу, что в другой раз Аксинья не удержалась бы от

смеха. Но не сейчас.

– Давно родители наши меж собой договор о помолвке нашей заключили. Им выгода прямая. Наши чувства им не важны. Скажи мне, хочешь ты жениться на мне? – в лоб спросила Аксинья.

– А ты, что ль, замуж за меня выходить не хошь, невестушка?

– Вопросом на вопрос не отвечай.

– Если правды хочешь... Ты, конечно, не дурнушка и побаловаться с тобой я не прочь. Но вообще люблю девок других, пышных и веселых. Вроде твоей подруги-приживалки.

– Вот как! – обрадовалась Аксинья. – Есть у меня мыслишка... Давай попробуешь отца своего убедить. Пусть найдет другую невесту. Побогаче да посправнее. Может, согласится?

– Вряд ли, – задумался жених. – Упрямый он, что в голову себе вобьет, то и будет, – вздохнул Микитка. В этот момент он показался невесте не таким противным. – Так что, невестушка, никуда нам не деться друг от друга. Привыкай, – ущипнул он ее за грудь.

– Тьфу, говорил, будто путный человек. Опять за свое взялся! Иди отсюда, – замахала на него девка.

– Что тут у вас, милуетесь? – подмигнула зашедшая в горницу Прасковья, сестра Микитки. – Нанежитесь вдоволь после свадьбы. Иди, Никита, отец зовет.

Лишь в обед поехали Вороновы домой, еле вырвавшись от хлебосольных хозяев.

– Наелась я на славу, – хлопала себя по животу Ульяна. – Таких мясных пирогов да запеченной стерляди не видала я...

– Хорошо живут, богато, – вздохнул Василий.

Стол в доме Ерофеевых поразил воображение не одной Ульяны. На кочковатой дороге семья пыталась удержать в животе городские яства.

* * *

Встречи Аксињи с Григорием продолжались. Становилось все теплее. Деревья оделись в нежную дымку, трава зазеленела густым ковром. Девки с парнями ходили, песни пели, хороводились. Самые смелые по опушкам расходились, чтобы наедине поговорить о чувствах своих, помилиться. На Троицу они просили у родителей благословения.

– Голодранцам деньги считать не надо, – говорил Василий.

«Счастливые они, бедняки, – вздыхала дочь. – Нет над ними воли лютой отцовской».

Теплый дождь с первой грозой освежил молодую листву. Пьянящий воздух наполнял безоглядным счастьем, казалось, что природа дает повеление людям и зверям: любите, радуйтесь, благодарите Бога за этот чудесный мир.

Аксинья переплела косу, завязала повязку из желтой мягкой кожи. Она улыбалась, мурлыкала песенку и думала о милом.

– Аксинья, – брат схватил ее за руку, когда она вышла за ограду.

– Ты чего, Федя? Тороплюсь я.

– Ты счастливая. Я вижу.

– Да... Весна, что ж печалиться?

– Сестра, ты, цветешь... На лице написано... Отцу не по нраву придется...

– Да, Феденька. Некогда мне, подружки ждут.

Она быстро шла, оставив встревоженного брата позади, юбка путалась в ногах, а мысли суматошно перескакивали с одной на другую. Как брат догадался? Что отцу сказать? И что ж теперь делать с той мешаниной, в которую превратилась ее жизнь? Еще совсем недавно была она простой и ясной, как весеннее небо. А теперь Оксюша чувствовала себя птенцом, только вставшим на крыло. Раскинула крылья и полетела. Лишь не упасть с самой высоты.

* * *

– Разговаривала я, Гриша, с женихом своим, – рассказывала Аксинья, срывая ярко-зеленые пахучие молодые листочки мяты. – Он тоже не горит желанием меня в жены брать.

– Как так? Не понимаю я его, – улыбнулся парень.

– Да не подходим мы друг другу, как лань и волк, как голубка с коршуном. Нравятся ему другие девки... А мне люб другой. Хоть лбом об стену бейся.

– А я знаю, как расстроить свадьбу вашу с Микиткой!

Быстро Григорий скинул косоворотку, бросил ее на траву.

– Иди сюда, Аксиньюшка.

Вырвав из рук ее корзинку с мятой, Григорий повалил ее на траву. Быстрые ловкие руки стянули сарафан с девушки, задрали до шеи рубаху. Невзирая на ее возражения, кузнец властным поцелуем закрыл

рот, стал гладить юное, не знавшее ласк тело. Дыхание сбивалось, пот выступил на разгоряченных телах.

– А титьки какие маленькие да упругие, как раз в мою ладонь, – горячая кожа Григория касалась прохладной нежной кожи Аксиньи, голова ее кружилась, разум терялся в сладости ласк.

Внезапно что-то остервенело кольнуло голое бедро, Аксинья прихлопнула комара... и пришла в себя.

– Гриша, – отпихнула кузнеца девушка, – не надо так. Грязь это, срам. Я хочу, чтобы по-людски все было. После благословения родителей... после венчания.

– Бисова девка! Да разве ж можно так! – со стоном Григорий откатился в сторону. – Мужикам это мука великая – бабу память да дело свое не завершить.

Вокруг насмешливо зудели разошедшиеся после дождя комары. «Спасибо вам», – поблагодарила Аксинья божьих тварей, вовремя напомнивших ей о девичьей чести.

Встала с травы, чуть не ставшей свидетельницей ее греха, поправила рубаху и надела сарафан, Аксинья повернулась к кузнецу:

– Все будет у нас только после венчания. Я придумала, что делать будем... нет другого пути... А мята-то вся раскидана! – девушка стала ползать ее собирать. – Хоть помог бы мне, что ли.

Со вздохом кузнец отряхнул рубаху, поправил портки.

– Давай корзинку. Как холоп я твой. Что скажешь, то и делаю, – опустился на траву Григорий, растирая ароматный лист.

– Ты о чем это?

– Ты не забыла, кто главный? Мужик. Я рабом твоим не буду, даже не надейся – Он встал на ноги, выкинув небрежно собранную траву.

– Ты мне мужем будешь. За тобой пойду, куда захочешь, Гриша. – Аксинья опустилась на колени перед парнем и прижалась лбом к его животу.

– Погорячился...

– Виновата я... Прости, миленький.

– Ты осторожней! Будешь так прижиматься – опять без сарафана останешься.

Взявшись за руки, они медленно шли по лесу, беззаботно смеясь.

– О как! Григорий нашу травницу сопровождает! – несколько девок открыли рты.

– В ученики, что ль, подался? Кузнечное мастерство не кормит? – раздались насмешливые голоса.

– По лесу гуляем, травы собираем. Нельзя, что ль?

– Можно, Гриша, можно. – Марфа проводила пару задумчивым взглядом. – Вот вам и городской жених. Мало Аксинье солекамского парня да Семки, еще и Гришка ей понадобился. Пойду-ка я в деревню побыстрее.

Кузнец сразу приглянулся Марфе. Не девка молодая, не старая баба, она не могла отыскать себе мужа по нраву. Желторотые юнцы вдову не интересовали, молодые мужики все при женках были. Вдовцы в годах не выдерживали ее сладострастной натуры. Много любовников ночевало тайком в ее избе. Но замуж никто не звал. Марфа особо и не кручинилась, привольная жизнь ее устраивала. До встречи с Григорием.

– Расскажу я про тебя, потаскушку, родителям. Зададут они тебе трепки, – шептала Марфа. Она бежала в деревню. Лишь бы опередить!

На краю леса Аксинья рассталась с Гришей. Все ближе дом и тягостный разговор с отцом.

– Ну рассказывай, дочка, с кем по лесам шляешься? – ноздри отца раздувались, рот кривился. – Перед кем, мокрохвостка, подол задираешь?

– Батя, прости меня, дуру, – бухнулась на колени дочь. Таким она отца не видела никогда. Побледнев от гнева, он смотрел на любимую дочь как на мокрицу, которую следовало бы раздавить.

– Прости, говоришь?! Мать, ты-то знала? – Василий обратил свой взор на хозяйку.

– Не знала я, Васенька. Ведаю только, что не хотела Аксинья за Микитку замуж выходить.

– Ах, не хотела, – еще больше взъярился отец. – Кормишь, наряжаешь, холишь и лелеешь ее. А она... неблагодарная! Жениха богатого нашел, другая бы в ножки кланялась да счастлива до гроба была. А эта... таскается по лесам с колченогим...

– Он не колченогий. Охромел на одну ногу, – пробормотала Аксинья.

– Ты еще смеешь возражать! В клеть ее! Под замок! На хлеб и воду! Нет... На одну воду! Пусть подумает! Перед всей деревней опозорила! Честного имени лишила!

Понури́в голову, Акси́нья пошла в клеть. Сундуки, утварь, остатки квашеной капусты, связки лука. Теперь ее темница.

Мать закрыла тяжелый амбарный замок, не сказав ни слова утешения. На Ульяну Акси́нья так и не решилась посмотреть.

«И родителей опозорила, и парня, который подруге нравился, увела... Что я за девка бесстыжая!» – покаянно думала во время заточения.

В клетки день тянулся мучительно долго. Федя принес сестре краюху хлеба и кружку молока. Сочувственно посмотрев, он обнял Акси́нью, по голове гладил, что-то тихонько мурлыкал.

– Один ты, Федя, меня жалеешь, понимаешь, – разрыдалась в голос от этой ласки Акси́нья.

Прошел день. Второй.

Акси́нья прислушивалась к голосам, шуму за стенкой и пыталась понять, чем занимаются домочадцы. Все валялось из рук, и шитье продвигалось медленно. В приданом не хватало белой рубахи для первой брачной ночи – с особым узором красными нитями по горловине и подолу. Акси́нья исколола все руки и отодвинула рубашку в сторону.

На третий день пришла мать, принесла еду и села напротив, наблюдая за жадно глотавшей хлеб дочерью.

– Вот что ты натворила, дуреха? Я отца твоего успокоить не могу, он рвет и мечет. Грозится тебя в обитель отдать. Мол, пусть монахини ее на путь истинный наставляют, если мы не смогли.

– Матушка, обитель... Правда, отдаст?

– Да слова все... Знаю я отца, пожалеет. Будет он...

– Что?

– С Ерофеевыми говорить... С Акимом. Да только боюсь я, Ерофеевы тебя не возьмут в семью. Дурная слава, поди, и до города уже докатилась. У нас народ любит похабные истории смаковать.

– Замуж за кузнеца меня выдавать надо, иного пути нет. Я хотела сама все рассказать, повиниться да благословения с Григорием на Троицу просить. А кто-то меня опередил, растрезвонил.

– Марфа, вестимо. Как ужаленная прибежала, стала на всю улицу орать, что вы с Гришкой травы собираете да милуетесь у всех на виду.

– Злыдня!

Мать выразительно посмотрела на Акси́нью:

– Злыдня не злыдня, а слова ее правдивы. А ты врала, изворачивалась...

– Матушка, – бросилась на колени девушка, – уговори отца, помоги. Нет мне жизни без Гриши. Ты должна понять!

– Дочь, молода ты еще. Главное – покой, дом да детки. Остальное – от беса, происки нечистой силы.

– Не могу я без него. Буду на коленях молить... Матушка...

– Дочка... Кузнец человек залетный. Слухи про него ходят, басурманином зовут. Кто знает, что у него в голове... Погулял – да бросил. Уверена, что возьмет он тебя в жены? – спросила Анна и, не дослушав ответ дочери, тихо закрыла за собой дверь.

– Уверена, – прошептала девушка.

В заточении часы тянулись бесконечно. Скорчившись на узком коробе, Акси́нья не могла побороть озноб. Она то забывалась мутным сном, то открывала глаза, каждый раз заново переживая ужас своего положения.

Темнело. Засыпала деревня. Подал тоскливый голос Черныш, и Акси́нья хотела завывать, поддержать цепного пса. Он куда счастливее. Сейчас дышит воздухом, а не в затхло́й клети сидит.

Загремел замок. Акси́нья села на лавку, натянула худое одеяльце на босые ноги. Отец плотно закрыл дверь, поставил светец с лучиной между собой и дочкой. Он не сел на лавку. Молча, грозно возвышался над непокорной дочерью.

Тишина разделяла их. Слышно было тяжелое дыхание Василия и сдерживаемые всхлипы Акси́ньи.

Отец поднял тяжелый взгляд. В нем не было уже гнева. Усталость и сожаление.

– Акси́нья... Сейчас ты должна сказать мне правду.

Растрепанные косы пушистым облаком обрамляли голову дочери. Бледные губы дрожали.

– Не смей врать мне.

Она выпрямила спину и сжала руки.

– О чем ты, отец?

– Ты... ты понимаешь, что втоптала меня в грязь? Понимаешь, не дурочка. Полон ли мой позор?

Муха залетела в куть и назойливо жужжала возле светца.

– Долго ты молчать будешь, дочь? Да чтоб тебя, – Василий пытался убить муху. Та улетела и спряталась в темном углу.

– Хватит уже молчать!

Аксинья вздрогнула всем телом.

– Что со мной будет, отец?

Василий подошел к дочери, навис над ней, схватил ее за узкие плечи:

– Скажи мне... Скажи... Валялась ты с ним?

– Нет... Нет... Нет... – отец отпустил ее, сел на лавку. На его лбу еле заметно блестели капли пота.

Аксинья со всхлипом сползла на пол:

– Нееееееет.

– Василий, ты что ж делаешь? – Анна слушала этот разговор и бессильно сжимала руки за дверью, не смея войти в клеть.

– Дочь воспитываю.

Василий потоптался на месте, он услышал все, что хотел. Можно уходить.

Аксинья прокричала в спину отца:

– Жалею, жалею я!..Что не было ничего. Слышишь, жалею, – загремел замок.

Темнота окружала Аксинью. Не было в ней просвета.

На следующий день в избе Вороновых стоял шум и гам. Василий кричал на сына и жену. Куда-то собирался. Федор проскользнул к сестре, долго молчал, с жалостью на нее глядя.

– Отец к Ерофееву... Злой очень.

– Он надеется сохранить помолвку?

– Нам ничего не сказал. Орет только.

Поздно вечером Василий вернулся домой, еле держась на ногах. Громко скинул сапоги, икнул и запел:

– Летит орел
Сизокрылый.
Слава!
А к нему голубка
белая.
Слава!
Взлетели в небо!
Слава!
Обнимм...

Песня оборвалась.

В избе раздался мощный храп.

Отец совершил чудо. На беду Аксиные. Свадьбе с Микиткой быть.

Утром узницу выпустили из клетки. Ждали ерофеевских сватов со дня на день. Василий рассказывал жене, улыбаясь в бороду:

– Аким мужик умный, понял, что наговоры на Аксиныку идут. Я дал свое слово, что не было... Веди дочку в баню. Да смотри, чтоб не убежала. И корми хорошо. Дойдет девка, и так худосочная.

Анна кивнула головой и подтолкнула дочь. Всякий блеск исчез из глаз Аксины. Круги под глазами. Тусклая коса. Будто старуха, а не девка на выданье.

В бане Анна не выдержала, прижала к сердцу дочь:

– Ты моя кровинушка. Образуется все. Перемелется – мука будет. Будешь ты у меня самой счастливой.

– Мату-у-ушка. – Ласка разрушила все преграды.

Соленые потоки хлынули, затопили мать и дочь. Будто маленькой, мать расплела Аксины косу. Промыла волосы березовым щелоком, облила травяным настоем.

– Что ж ты как неживая? Оксюша?

– А мне лучше так. Или реветь, или замороженной ходить.

Розовая, пропитавшаяся паром, Аксины не смела поднять глаза на отца. Она скользнула в клетку, но остановилась, услышав отцовское:

– Аксины, сядь. Слушай меня.

Она послушно села на лавку, поджав босые ноги. Анна встала рядом, не смея обнять дочь за плечи.

– Спасибо тебе, дочурка, за те унижения, что пришлось мне, уважаемому человеку, претерпеть! – Василий шумно встал,

задрезжала посуда. – Чуть не на коленях молил я его не лишать меня дружбы и не расторгать наши общие дела. Анна, сил моих нет.

Аксинья представила отца, вымаливающего прощение у спесивого Акима. Шумно вздохнула.

– Недаром бают люди: и у доброго отца родится бешена овца.

– Василий...

– Молчи, Анна!

– Бе-е-е-е! – тихое блеяние нарушило тишину. Отец уставился на Федора, пристроившегося у печи. Он ничего не сказал сыну. Дурачок. Не понимает серьезности дела.

Василий опустил на лавку и вперился глазами в дочь.

– Скоро повенчаетесь с Акимовым Никитой. Не будешь ходить по лесам с кузнецом, – гнев мелькнул в его темных глазах. – Он приходил ко мне. Кузнец твой. Пусть радуется, что ноги унес. Мать, накрывай на стол. Ты, Аксинька, под замком останешься.

Обе склонили головы. Что им еще оставалось?

* * *

Дрожь пробежала по телу Аксиньи. Как она на такое решилась, сама не понимала. После отцовских слов не сомкнула глаза всю ночь. Страшно было оттого, что будущее решено. И выхода нет. И счастья нет. И не будет.

Брат принес еду. Она жадно набросилась на пышные пироги, хлебала суп. Никакие печали не лишали ее здорового аппетита.

Вечером отец проверил замок – боялся за паршивую овечку.

Ночь была темной, спрятались звезды, месяц закрылся тучами. Пролился яростный дождь. Весь вечер он шумел по деревянной крыше. Его струйки прорвались к пленнице и стекали извилистыми тропками прямо к ее ногам.

Аксинью сморил сон. Тихий, скрежещущий звук ее разбудил. Она долго моргала глазами, пыталась разобрать в темноте, что же случилось.

Гостей в клети не было. Аксинья оставалась одна в своем заточении. Она обошла комнатку, толкнула легонько дверцу. Сама не знала, зачем. Дверь тихонько скрипнула, приоткрылась. Кто-то выпустил птичку из клетки. «Федя, ты мой спаситель».

Аксинья шумно выдохнула: она свободна, больше ничего не держит ее в клетушке.

А долг? А отец? Как она может бросить все? Сбежать, как преступница?

Она села на лавку, задумалась, обхватила голову руками. Где-то пела пичуга, выводя сладкие рулады. Она манила Аксинью, обещала избавление от бремени дочернего долга и свадьбы с постылым. Лети навстречу любимому. Решайся!

Она расплела растрепавшуюся косу, расчесала пальцами волосы, заплела вновь, потеряв в темноту ленточку, на рубаху надела сарафан. Готова.

Под ее ногой скрипнула половица. Отец шумно перевернулся на другой бок, захрапел. Аксинья вышла на улицу и перевела дух. Месяц выглянул и подмигнул ей.

Грязь холодила босые ноги, смачно чавкала. Руки и ноги покрылись мурашками, ветер проникал под тонкий сарафан. Возле Ульянкиной избы Аксинья остановилась в раздумье. Пошла дальше. Простила ли ее Ульяна, неведомо.

В окошке Ермолаевой избы мелькнул огонек. «Анфиса», – пронеслась спасительная мысль. Она часто сидела допоздна с шитьем, наслаждаясь тишиной в обычно шумной, многолюдной избе.

– Анфисааа, – Аксинья тихо скребла в окошко. Никто не отзывался.

Наконец через затянутое бычьим пузырем окно она увидела смутные очертания.

– Кто это ночью шархается? – Фиса вышла на скрипучее крылечко. – Аксинья?!

– Я. Помоги, Анфиса.

– Отец скоро проснется, орать начнет. Ты же знаешь его, опять залился... Аксинья, иди домой.

– Не могу я. Пожалуйста. Помоги.

– Хорошо, подруга. Что надо тебе?

– Полураздетая, босая я. Дай что-нибудь, – Оксюша потрясла грязной ногой.

– Ты куда собралась? Что случилось-то?

– В клеть меня родители посадили. За Микитку замуж выдать хотят.

Подруга вытащила худые поршни^[38], давно отслужившие свой срок. Акси́нья просунула в них ноги, через дырки виднелись пальцы.

– Других нет. Бери мой платок, – Анфиса протянула темный плат, связанный из колючей шерсти.

– Спасибо тебе. Спасибо. Я отплачу за добро. – Акси́нья порывисто обняла подругу.

– Я пойду. Удачи тебе.

Анфиса не отговаривала, не звала Акси́нью безрассудной и бесчестной, не ободряла. И от этого было только легче. Как всегда, спокойная и рассудительная, Фиса будто поделилась с подругой своим умиротворением.

Не зря Акси́нья сделал крюк к избе Ермолая. Вновь прошла она мимо Ульянкиного дома, родной избы... Тихо, никто не хватился беглянки. От сердца отлегло.

Освободившись от пелены туч, выползли звезды. Еловая безмолвно спала, отдыхая от дневных трудов. Замолкли брехливые псы. Утихомирилась сладкоголосая пичуга. Слышался тихий плеск Усолки. Колыхались молодые листья березы и рябины, смакуя капли пролившегося дождя.

Поршни сползали с ног, в них быстро набралась вода, скукоживая кожу на пальцах. Платок колот и грел Акси́нью, покусывал ее плечи, напоминал об Анфисе.

Вот она миновала большой, добротный дом Ивана и Маланьи. Позади остались избы Якова Петуха, старосты Гермогена, Агашиной матери Авдотьи, Макара... Почему же изба Григория так далеко?

Дорога казалась Акси́нье бесконечной. Грязь чавкала под ногами. Цепной пес старосты затыкал, услышав шаги. Она шла и медленно бормотала:

– Святой Божий угодник, великий Николай Чудотворец! Взываю к тебе, заступнику угнетенных, защитнику слабых.

– Гриша! Григорий! – ноги Акси́ньи подкашивались. Будто не по родной улице прошла, а десять верст отмахала. Дверь не скрипнула, мягко открылась. В избе царила мгла.

– Гриша! – кольнул страх. Нет его, ушел, уехал, скрылся. Бросил.

– Бу ким^[39]?

Акси́нья вздрогнула, взгляделась в темноту. Голос родной, слова чужие, странные.

– Кто это? – хриплый сонный голос был не рад гостям.

– Я, Гриша. Ты что, не узнаешь?

– Аксинья?

Григорий прижал ее к себе, дрожащую, испуганную, в колючем платке, втиснул ее маленькое тело в свое сильное, сдавил худенькие лопатки, уткнулся носом в ее темя. Аксинья тихонько хихикнула.

– Ты чего?

– Мы еще не венчаны. А я тебя голого уже видала.

Он выругался, натянул порты и вновь прижал к себе хрупкий цветок, медуницу, которая досталась ему в этом суровом мире не по чести и справедливости, а по праву зубастого хватчика. Нескоро он отпустил ее, оторвал от сердца.

– Оксюша, обвенчает нас поп с Александровки?

– Не знаю я... Но денежку он любит.

– Значит, согласится.

Григорий ополоснул лицо, пригладил короткую бороду. Натянул рубаху, резко, в сердцах, она затрещала по швам, но выдержала.

– Гриша, я так венчаться буду? – Аксинья чуть не ревела, оглядывая свои грязные ноги, заляпанный подол, темный платок.

– Не важно мне, во что одета ты. – Он притянул ее к себе, улыбнулся. – А подожди-ка.

Кузнец ушел в клетушку, вернулся с чудным заморским платком. Красные цветы вились по его полю, шелковистая бахрама окаймляла края.

– Откуда красота такая?

Григорий промолчал – собирал монеты в кожаную сумку.

– Мне подарить хотел? Ты мой самый хороший! – Девушка сбросила колючий плат Анфисы и с наслаждением закуталась в обнову. Спихватилась, подобрала Анфисину вещицу, погладила с нежностью вытянувшиеся нитки.

Абдул задорно фыркал, предвкушал ночную скачку. Кузнец легко посадил Аксинью на его лоснящуюся спину, запрыгнул сам.

– Ну, невестушка. В путь!

Оксюша уткнулась носом в спину Григория, широкую, обещающую счастье и защиту. Ветер шевелил ее волосы, выбившиеся из косы, прохладный воздух охлаждал пылающие жаром щеки.

– Не боишься?

– Я с тобой совсем ничего не боюсь. Ни темноты, ни разбойников, ни... отца.

Александровка еще спала. В часовенке не видно было ни единого огонька.

– Жди меня, – Григорий, пригнувшись, зашел в сени избы, прилепившейся правым боком к часовенке. В небольшой пристройке витал сивушный дух. Поп любил принять на грудь, и жена его, тощая тоскливая баба, видно, выгоняла из избы своего исполненного благодати мужа.

– Аж слезу пробивает, – ухмыльнулся Григорий. – Есть кто?

Скоро он различил бесформенную кучу на лавке, высвистывающую носом какой-то замысловатый напев.

– Отец Сергей! Просыпайся. Дело важное есть! – Кузнец тряс священника, тот отмахивался, бормотал недовольно. – Деньги. Видишь? – Звон монет сразу заставил отца Сергия пробудиться от крепкого похмельного сна.

– Ась? Чего? Какие черти тебя принесли?

– Те черти, что сулят тебе хороший барыш.

– Надо тебе что?

– Обвенчать меня с одной красавицей.

– Венчать. – Поп окончательно стряхнул сон, сладко потянулся и причмокнул. – Красавица, говоришь. Попортил девку и зассал? А-ха!

– Давай без лишних разговоров. Цепляй на себя одеяние – и в церковь.

Восток уже зарозовел нежным румянцем. Крест на тесовой кровле, величавый и строгий, взирал на округу, на грешницу, вознамерившуюся насытить тело и душу свою запретным счастьем.

– Гриша, согласился отец Сергей? – Аксинья сидела на вороном коне и в тревоге вытягивала шею.

– Куда ж он денется? Иди сюда. – Григорий подхватил девушку. На минуту задержал в руках, поймал теплое дыхание губами.

– Вот вы где, охальники!

Кузнец поставил Аксинью на земле и оглянулся на крик.

– Отец! – Девушка сползла бы на землю, если б Григорий не придержал ее.

– Что? Думала, не увидим? – Отец резво соскочил с телеги, будто два десятка лет сбросила его бездонная ярость. Крепко спавшего Василия настигла похмельная жажда – слишком часто он прикладывался к винной чарке. Продрал глаза и увидел, что дверь в куть открыта, что сбежала овечка из загона.

– Василий, – Анна слезла с телеги, подбежала к мужу, – ты не кричи.

– Помолчи, баба. – Василий сжимал в руках кнут и приближался к беглецам. – Ничего для тебя, дочь, воля моя не значит. Паскудница. – Внезапно он вскинул руку, и хлыст взвился в воздухе, зацепив своим жестким концом щеку Аксиньи и плечо кузнеца.

– Спрячься за меня. – Григорий закрыл собой остолбеневшую невесту. – Зачем так? Мы венчаться будем. Ничего ты с нами не сделаешь. – Он сжал кулаки.

– Василий, прав ты. Обычай на твоей стороне. Но закон Божий не запрещает мне их венчать, – вступил в разговор священник, с удовольствием наблюдавший за ссорой.

– Что ж это за закон Божий? Басурманину разрешено с дочерью моей венчаться.

– Успокойтесь. Давайте сядем да миром решим. – Анна гладила по плечу мужа. Рука ее тряслась от пережитого волнения.

* * *

– Ну девка! Учудила. Горе ты мое луковое. – Анна незло укоряла дочь и скребла дощатый пол.

Подоткнув юбку, Аксинья пристроилась рядом. Она терла из всех сил, заглаживая свою вину. Да разве можно это сделать!

– Спасибо тебе, мамушка. Если б не твое слово, отец с Григорием...

– Поубивали друг дружку. Того я и боялась. Вспыльчивы оба, грех.

Долго длился тот разговор в избушке отца Сергия. Уже пропели первые петухи. Уже хозяйки затопили печи и хлопотали по хозяйству.

Аксинья возвращалась домой в родительской телеге. Григорий ехал следом на своем Абдуле и нежно улыбался девушке. Анна приобняла дочь и задремала, устав от бессонной ночи. Василий без надобности хлестал Каурку. Выпрямленная напряженная спина напоминала его жене и дочери: не простил.

Вся Еловая провожала их удивленными, зловредными, любопытными взглядами. Но ни золотоволосая Марфа, ни черствая Еннафа, ни сплетница Маланья выпытать сокровенное у скрытных соседей так и не смогли.

* * *

– Здравствуй, подруга, – приветствовала Рыжика Аксинья.

– Здравствуй – да не засти, – вызывающим тоном ответила та.

В субботу Вороновы затопили баню, и Ульяна, держа в руках утирку и чистую рубаху, пришла к соседям на еженедельную помывку. Обе девки молча промывали березовым щелоком волосы, натирались мыльным корнем. Ульяна отводила глаза, кривила выразительный рот. Аксинья пыталась поймать ее взгляд.

– Что ты дуешься на меня? Ульян, понимаю, виновата. Нравился тебе кузнец, знаю я. Но ничегошеньки поделать не могла.

– Нравился? Да я сохла по нему. Мужем его своим будущим считала. Каждую ночь... А тут ты...

– Не нарочно я... Смотрел он на меня неотрывно. Потом на берегу... Каждый вечер мы там встречались. Люб он мне, и я для него свет в оконце.

– Там, на бережке, ты и честь свою девичью отдала, а, Аксинья?

Та замешкалась, обескураженная грубым тоном.

– Чиста я... Не злобствуй. В воскресенье сватать он меня придет! Станем мы мужем и женой, как он мне обещал, перед Богом и людьми.

– Слыхала я, что ночью сбежала ты к нему... да в Александровке венчаться собирались тайком... Думаешь, не знает никто? – зло всхлипнув, Ульяна быстро нацепила рубаху, башмаки да побежала домой.

– С легким паром, дочка! А где Ульяна? Куда потерялась? – спросила мать.

– В свою избу ушла. К нам не захотела заглянуть.

– Что с ней приключилось? Как неродная стала.

– Матушка, это из-за Гриши все. Помнишь, она сохла по нему...

– Я думала, несерьезно... Девичьи безделицы.

– Присушило Ульяну. Теперь она злится... Я б не поверила, что может она черные слова говорить.

Василий на жену и дочку не смотрел. Все подливал и подливал себе вина и скоро завалился на боковую. Аксинья потрогала рубец. Знатно огрел ее отец, со всей злости.

– Феденька, иди обниму. – Она прижала к себе брата. – Спасибо тебе.

– За что?

– Ты же замок-то открыл той ночью?

– Я?

– А кто? Федя, ты чего?

– Не помню. – Он заелозил по лавке, отодвинулся подальше.

Аксинья пожала плечами. Странности Феди были делом обычным. Помог сестре, а теперь отпирается.

Воскресное утро выдалось жарким, и солнце пригревало полетному. Вся семья с ног сбивалась, готовилась к приходу сватов, а Василий ушел в сарай и даже не показывался. Лелеял злость свою.

К обеду все было вычищено, выскоблено. Изба украшена ветками березовыми, смоченными Аксиньиной слезой, сладкой, радостной. Сундуки с приданым приготовлены, стол ломился от яств: похлебка с молодой зеленью, пироги с курицей, каша, квас, пиво, медовуха. Невеста застыла на крыльце – ждала сватов.

– Идут, матушка!

– В светелку, переодеваться! В обычной рубахе ходишь до сих пор, видано ли! А ты, Федя, за отцом. Пропал он куда-то. Знает, что день сегодня особый! Упрямец, – еле слышно пробурчала хозяйка.

Сваты вместе с самим Григорием степенно поздоровались, перекрестились на образа и прошли в избу.

– Садитесь, гости дорогие, – Анна показала на красный угол, – под образами в самый раз будет. – Они были одеты в лучшую одежду, Гермоген в синей рубахе с вышивкой, Дарья Петухова и Зоя Осока в цветных сарафанах и нарядных убрусах.

Григорий в красной шелковой рубахе, темных портах и красных сафьяновых сапогах, с кожаной калитой^[40] на поясе, полной монет, был женихом хоть куда.

– Вот подарки вам, хозяйева. Не поскупился жених. – Объемистые свертки с подарками были уложены на сундук.

Гермоген степенно начал беседу. Сначала о погоде поговорили, о Троице, о страде.

– А Воро... Василий-то где?

– Сейчас, батюшка, придет.

Василий зашел в избу, недовольно вперился глазами в разряженного кузнеца. При виде Гермогена смягчился.

– Здравствуй, хозяин. Дело есть у нас к тебе, дело важное, безотлагательное.

– Какое это дело? Кваса иль медовухи будете?

– Наливай, друг, кваса.

– У вас есть цветочек, а у нас есть садочек. Вот нельзя ли нам этот цветочек пересадить в наш садочек?

– Цветочек наш слаб еще да молод. Ему садочек-то нужен хороший, теплый, садовник заботливый.

– Куда ж заботливее нашего садовника? Он и собой хорош, Василий, и руки золотые. Мастер в деревне незаменимый.

– Не нужен пока нашему цветочку новый сад. Давайте, сваты дорогие, яствам должное воздайте да напиткам, – ухмылялся в черную с проседью бороду хозяин дома. По обычаю, сватам отказывали родители невесты и раз, и два. А ему доставляло особое удовольствие наблюдать за будущим зятем: не мог тот скрыть недовольный блеск глаз, переживал за исход сватовства.

Долго отдавали должное яствам гости, продолжались степенные разговоры дальше. Гермоген сделал новый заход:

– В вашем доме голубка ясноглазая да добрая, у нас голубь сильный сизокрылый.

– А где ж семья у голубя вашего? Не матери, ни отца, ни брата, ни дядьки?

– Василий, знаешь сам, не с наших мест он прилетел. Сирота Григорий, все померли с семьи его. Вот те крест, – побожился добросовестный Гермоген, до того выведавший у Гриши историю его рода. Казалось старику, что узнал он всю подноготную кузнеца.

– Голубь ваш с изъяном. Хромает он, слышали мы.

Григорий привстал, выпрямил спину. Дарья вцепилась в его руку, силой усадила на место.

– Может, и хром немного голубок наш, но здоровых птах побыстрее будет, – гнул свою линию староста.

– Хорошо. Позовем мы голубку, посмотрите, придется ли вам по душе. Аксинья!

Аксинья величаво выплыла, как того требовал обычай, в нарядном сарафане, вышитой душегрее, высоком красном кокошнике. На белом лице выделялись темные брови над испуганными глазами.

– Что, голубушка, по сердцу ли тебе наш голубь? – Григорий, завидев милую, вскочил, сбросив руку Дарьи Петуховой.

– По сердцу, – тихо пробормотала девушка.

Сватовство еще продолжалось, говорились приличествующие случаю слова. Жених с невестой так и словом не перемолвились. Проводив гостей, Вороновы выдохнули и перекрестились: кажется, будущее непутевой дочери решено.

– Здравствуй, подруга! – Лишь выпустили Аксиныю из домашнего заточения, она побежала к Рыжику.

Та, веселая, нарядная, вышивала рушник и выводила песню.

– Проходи, душа моя! – обрадовалась Ульяна. Бросив шитье, она подскочила к подруге и закружила ее в хороводе.

– Ты не злишься на меня, Рыжик?

– Попусту мы с тобой поссорились, Аксиныя.

– Как же я рада! Камень с души упал.

– Давай, как в детстве. – Подруги сблизили нательные крестики и горячо зашептали молитву:

– Отче наш, Иже еси на небесех!

Они обнялись, расцеловались, подтверждая: нет меж ним вражды.

– Оксюша, у меня радость... Ты не представляешь!

– Какая?

– Я замуж скоро выхожу!

– Поздравляю, подруга. Когда успела-то?!

– Быстро сладилось у нас.

– Кто счастливый жених?

Ульяна, было видно, замялась:

– С соседнего села, Заяц! Знаешь такого?

Порывшись в памяти, Аксиныя вспомнила – в соседней Александровке была многолюдная семья Зайцевых, Зайцев. Раздвоенная губа передавалась по мужской линии – хоть один сын в семье в каждом поколении был отмечен уродством.

– А ты?... А как срослось у вас?

– Он на посиделки-хороводы наши стал ездить, только когда услышал про рыжую да голосистую – посмотреть захотел. И с тех пор почти каждый вечер он в нашей деревне... Пропал на недельку, я уж подумала, несерьезно это. Ревела... Он думал-думал и замуж позвал! Вчера приезжал.

– Надо же, я и не знала ничего.

– Где ж тебе знать? В клети сидела... Крут батюшка твой.

– Рада я, подруженька, счастьем твоим. И своему избавлению. – Оксюша и не пыталась сдержать счастье. Лучилось оно, лезло всполохами своими, освещало глаза, губы, шею.

– Когда вы с Гри... кузнецом свадьбу гулять будете?

– Скоро. Через три дня родители со сватами обговорили смотрины.

Родители невесты должны были «посмотреть» то место, где их дочери предстояло жить с мужем.

Ульяна захохотала:

– Смотри, как бы жениху не отказали... Напугаются родители твои заботливые! Из избы у кузнеца нашего даже домовый сбежал!

– А ты откуда знаешь?

– Да домовый мне и сказал.

– Не откажут Грише! Не каркай.

– И то правда, – согласилась подруга. Родители испорченной девки вряд ли могли дать отворот-поворот жениху.

Беседа подружек затянулась надолго. Выбрав укромную лавку на берегу Усолки, они рассказывали друг другу о том, что приключилось за последнее время.

– Вот и Зайчик мой! – подскочила Ульяна, завидев всадника на старом жеребце.

– Ульянушка, насилу вырвался!

Невысокий, крепкий, светловолосый парень под стать пышной Ульяне. Глубоко посаженные зеленые глаза его выдавали ум и честность. Если бы не губа, портившая парня, был бы он жених на зависть всем девкам.

Чтобы не мешать влюбленным, Аксинья пошла к девичьей стайке. Зоя, Анфиса, Марфа, Агафья судачили, готовясь к основному действию Троицы – хороводу.

– Аксинья, давно тебя не видать. Под замком мышей считала? После ночного побега как из дома-то выпустили? – не выдержала Марфа.

Все замолчали. Ульяна вдалеке заливисто хохотала и висла на смущенном Зайце.

– К свадьбе готовишься, Аксинья? – спросила Анфиса.

– Весь дом вверх дном! Матушка на месте не сидит. – Аксинья благодарно взглянула на Фису. Если бы не подруга, той ночью ей пришлось бы худо с босыми ногами и тонкой одежей. Приготовила она

подруге сверток с колючим платком и новыми поршнями. – Марфа, Григорий сватов присылал. Твоими молитвами! – повернулась к злопыхательнице Аксинья.

Марфа посмурнела лицом – совсем не такой исход виделся у этой истории. Должна была порченная Аксинья остаться в девках. Перехитрила, ведьма.

– Свадьба когда? А венчаться где будете? – заполнила щебетом неловкость Зоя.

Надолго эта тема затмила все остальные.

– А где жених твой? – опять подступила Марфа. – Не видать его. Мож, сбежал?

– Да вон идет!

Аксинья и Григорий недолго поучаствовали в общих забавах и скрылись в лесочке – теперь они были женихом и невестой, и никакая Марфа не могла им помешать остаться наедине. Много было сказано-пересказано, разговоры перемежались поцелуями и объятьями. Аксинья чувствовала, что парень аж горит от нетерпения, предвкушая их близость.

– Я с Ульяной помирилась, так рада! И ты со мной, и она!

– А вы ссорились? – Оксюша осеклась, вспомнив, что Григорию причина их ссоры неведома.

– Да, еще как, врагами расстались.

– А почему, скажешь?

Девушка помялась, решая, стоит ли открывать тайну подружки. Но столь велико в ней было ликование, предвкушение безоблачного будущего – какие могут быть секреты от жениха! – что она рассказала:

– Нравился ты ей очень!

– Правда? А я и не знал... Рыжая-бесстыжая...

– А она первая тебя и рассмотрела. Помню, потащила меня к кузнице твоей. Разглядывать!

– Что меня разглядывать? – захохотал Григорий, и его белые хищные зубы сверкнули в закатном свете. – Да ты на меня раньше зыркала, когда помогал я вам с санями.

– Я боялась, глаза отводила.

– А я думал, в гляделки играла. Пугливая ты моя.

* * *

Смотрины Гришиной избы и правда чуть не закончились конфузом. Анна хваталась за сердце: полы грязные, лавки, столы, занавески-полотенца ветхие – все, что старый кузнец за старостью не взял с собой, осталось Григорию.

– А паутина по углам! А сор! А утварь дырявая! Как же дочку сюда отпускать! – Мать хваталась за голову.

Кузнец виновато вздыхал:

– Не до того было, работал день-ночь. А тут забыл, закрутился. Все сделаю!

– Нет уж, зятек будущий. Я сама, хоть поперек обычаю пойду... У вас с Аксиньей моей все через одно сраное место!

Аксинья за всеми последними треволнениями забыла про Глафиру: «Стыдобушка, бабка болеет, я даже не заглядываю». Знахарка бодро копошилась в своем огорожке, удивив девушку здоровым видом.

– Баба Глаша, здравствуй!

– Здравствуй, вспомнила про старуху.

– Ты прости меня, у меня такое творилось!..

– Да слыхала, слыхала... Давай рассказывай, скоро ли свадьба?

– Скоро, я от счастья сама не своя. Не верила, что сбудется.

– Почему моего совета не спросила, бедовая девка...

– Боялась я... Даже говорить про то...

– Вот что, девка, скажу тебе...

– Что? – наострила уши Аксинья.

– Непростой он человек, я много лет на свете прожила, много чего видала... Скажу тебе, что дно у него двойное. Много чего-то в прошлом его, что он хотел бы забыть навсегда. Может, ты сможешь разговорить его. Что он тебе поведал о прошлом?

– В плену Гриша был, вроде как крымские татары утащили его. Еще знаю, что сирота он, никого из семьи не осталось. И все, больше ничего не говорил мне. – Девушка сама поразилась, как мало знает о своем женихе. Она – вот вся – как на ладони со всеми своими родными, друзьями, секретами и знахарством. Скоро не будет и мелочи, которую Гриша про нее не знает, а он... за семью печатями скрыт.

– То-то и оно, девонька, ишь как задумалась! Я умею тайные помыслы прочитать... А кузнец твой закрыт для всех, и ничего в

глазах не разглядишь. Страшный он человек. – Акси́нья вздрогнула. – Да ты не бойся, любовь, она и не с тем справляется.

– Буду я счастлива с ним? Скажи.

– Да куда ж ты денешься. Помни только, что нельзя тебе потерять привязанность его. Ты, девка, судьбу обманула, готовила она тебе Микитку, а ты, вишь как, умудрилась... Все мы заложницы Божьей, мужской, отцовской воли... Что они нам готовят, то и будет... Смогла перехитрить судьбу – так будь осторожна...

– Сон мне, баба Глаша, снился, – продолжила Акси́нья, – когда не было промеж нами еще ничего. Каждую ночь мне виделось, как черт ко мне лезет, потом в Гришу превращается.

– Да что сказать. Безделица су́щая, Оксю́ша.

Кажется, бабе Глаше ответить нечего. Забывает, старая. Как только вышла Акси́нья за порог избышки, сразу выветрилась из ее памяти эта мимолетная мысль.

Глафира долго сидела на крылечке, грелась на солнышке. Она часто вздыхала и гладила черного котяру по лоснящейся спине.

Глава 2

Хозяйка

1. Жена

Пролетела синицей неделя, и настал день сговора – оглашения помолвки Аксиньи и Григория. Погода установилась теплая, мягкая, радующая еловчан ночными дождями.

– Хороший будет урожай ржи да ячменя, – пророчила бабка Матрена и радостно щурила и так узкие, морщинистые глаза на солнце, щедро дарящее свою заботу полям и огородам.

В воскресенье наспех сколоченные столы и лавки во дворе Вороновых были забиты народом. На помолвку принято было звать родных, друзей, соседей. Получилось, что вся Еловая собралась. Неделю бабы сбивались с ног, готовя угощение для такой оравы.

– Разоришь ты нас, девка, – ворчала мать.

– Фуух, – вздыхал уставший Федька.

Отец молча буравил глазами непокорную дочь. А Аксинья в ответ только радостно улыбалась, одаривала сиянием своих глаз собеседника. Как на крыльях летала она, не замечая гудящих ног, заскорузлых рук, неподъемной тяжести лоханей и котелков. Днём – хлопоты, вечером – прогулки с Гришей, разговоры дотемна, сладкое предвкушение.

По обычаю невесте полагалось причитать, плакать, прятаться от отца, чтобы жениху не отдавал ее. Днем все еловские девки собрались у Вороновых. Ульяна насмешничала:

– Плакать, невестушка, должна. Что ты улыбаешься? Довольнехонька!

– Благослови меня, Господи,
Благослови меня, Богородица,
Покидаю дом я родительский,
Буду жить я за дальней околицей.
Благослови меня, батюшка
На бабскую долю, горькую,
Пожалей меня, матушка,
Дочку свою нескромную, бойкую.
Не спалось на лавке родительской
С мягкой, удобной периною,
Захотелось на волю выбраться,
Да защелка ловушки задвинулась.
Трепыхается, бьется горлица
И из жадных рук вырывается,
Но сокол с ней не расстанется,
Всю жизнь в когтях его маяться.

Аксинья завела причет, чьи слова переходили от поколения к поколению. Подруги подхватили слова «плача», и скоро их дружный хор рыдал на всю округу.

– Прячься, Аксинья.

Девушка в нарядном синем сарафане полезла в клеть. Отец скоро отыскал ее, повел к жениху, уже восседающему за столом. С поклоном Аксинья отдала рушник Грише. Теперь он будет ее господином, его власть придет на смену отцовской. Кузнец на ее тонкий пальчик надел кольцо с чудным голубым камнем.

– Люди добрые, Григорий Ветер помолвлен с дочкой моей, Аксиньей Вороновой. Ешьте, пейте да молитесь за хозяев! – Василий говорил положенные слова, скалился деланой улыбкой. И слова эти болезненно отзывались в его отцовском сердце. Ничего не воротишь.

* * *

– Чудное колечко, – завистливо протянула Ульяна. – Где ж такое взял-то? Камень будто светится изнутри.

– Да, Ульяна. Колечко и правда красы необыкновенной. – Аксинья вытянула руку, потрясла заветным кольцом. – Спрашивала у Гриши, откуда взял, ничего не сказал. Только ухмыляется в усы!

– Подружка, дай померить...

– Не могу! Баба Глаша рассказывала – дурная примета.

– Опять твоя ведунья!

– Я ж не говорила тебе... Она мне про Гришу давеча все рассказала. И не гадала вроде, а в глазах прочитала.

– И я так хочу! Попроси, мож, согласишься.

Ульяна ныла, пока Аксинья не пообещала поговорить с Глафирой. Неожиданно знахарка согласилась.

– Веди подругу. Одно условие у меня – одна она придет. Тебе нельзя. Поняла?

– Хорошо, баба Глаша. Спасибо тебе!

Обрадованная Ульяна в тот же вечер отправилась в избушку. Не терпелось ей узнать, какая жизнь ждет ее с Зайцем. Недолго была она в избушке. Вылетела, хлопнув хлипкой дверью так, будто черти за ней гнались.

Аксинья, притаившаяся за кустом бишмулы, побежала за подругой.

– Что такое случилось?

– Все, ноги моей не будет у колдуньи! Ведьма старая!

– Что сказала-то? Несчастье какое предсказала?

– Сама у нее и спрашивай!

На щеке у Ульяны красовалась свежая глубокая царапина.

– А это украшение откуда?

– Кот набросился. Черт во плоти!

Аксинья пыталась выведать у Глафиры, что ж такого жуткого услышала подруга. А знахарка пожимала плечами:

– Всю правду о ней да о жизни ее. Я советы ей дала, ценные, жизненные. А она, вишь как, обиделась. Молодая, глупая.

* * *

Всю неделю Анна с Аксиньей и Ульяной перетряхивали сундуки с приданым, надо было все на солнце просушить, привести в порядок. Самый большой, резной, сундук был набит перинами, пуховыми подушками и одеялами, другой – полотенцами, рушниками, скатертями. Горшки, миски, блюда, котелки, ухваты, ложки... От всего этого обилия девки только вскрикивали восторженно.

– А вот этот горшок особый, дочка, ты родилась только, а мы уже его в сундук с приданым определили.

А сундуки с одеждой! Чего там только не было! Рубахи, сарафаны, душегреи, передники, повойники^[41], платки, корзно^[42], шапки... Родители невесты должны были предусмотреть все, да еще подарки жениху вручить.

– Гриша твой молодец, калиту с серебром подарил нам да говорит: подарки себе сами купите. Много ж накопил-то!

– Не по обычаю, – округлила рот Ульяна. – Сам жених должен подарки купить!

– Ни матери, ни тетки у Гриши. Когда одному все успеть!

К вечеру мать, укладывая в сундуки вещи, вдруг залилась слезами.

– Матушка, что случилось?

– Страшно мне отдавать тебя, дочка. Ни с Василисой, ни с Анной так сердце не терзалось. Ох, господи! Молюсь я за тебя, чтобы хорошо все было.

Аксинья молча прижалась к матери. Чем ближе дело шло к свадьбе, тем больше ее охватывали дурные предчувствия, тем чаще вспоминались предостережения Глафиры. И причитания уже были не вымученными, а шли от самого сердца:

– Уж надоела я батюшке своему, надоела матушке,
С дома родимого гонят меня, несчастную,
Ах вы мои подруженьки, ах ты мой милый братушка,
Отдали меня жениху вы, девицу красную.
Как улечу я ласточкой, как улечу я горлицей,
Лишь бы косу мою не окрутили
И возвратили в девичью горницу.

* * *

Не успели оглянуться, как наступил тот день, о котором мечтала, которого боялась Аксинья – день венчания. С утра невеста с подругами провожала девичью жизнь свою, в бане ее намыли-напарили с причитаниями и слезами. Потом настал черед наряжать невесту, заплетать косу. Красный, шитый цветами и птицами сарафан, красная душегрея, усыпанная бисером да камнями, кокошник с подвесками, тяжелое ожерелье...

– Красива девка, – одобрили подруги. – Княжна! Бледная только ты, Аксиньюшка.

Ульяна невесту нарумянила, скрыв бледные щеки, брови начернила:

– Теперь все!

Вороновы, жених, сваты, Ульяна, друзья и подружки на нескольких празднично убранных телегах отправились в Соль Камскую венчаться. Кланяться отцу Сергию не захотели, Василий гаркнул только: «Паскудник венчать дочь мою не будет», у него к пропойце был свой счет. Отец Михаил в Еловую ехать наотрез отказался:

– Не баре, сами приедете!

Все венчание Аксинья была как в тумане: слышала только голос священника, смотрела в глаза Грише и больше никого не видела.

– Венчается раб Божий Григорий, сын Григория и раба Божия Аксинья, дочь Василия.

«Все, – екнуло сердце Аксиньи, – ему я принадлежу».

– Объявляю вас, дети мои, мужем и женой!

Тряска по ухабам, возвращение в Еловую, праздничный стол, шутки налившихся ядерной настойкой гостей, нахмуренные брови отца, напившийся Семен, хохочущая Ульяна, спокойная Анфиса, Григорий, неотрывно смотрящий на свою жену, смущенная похабными шутками Агаша, Зоя в обнимку с Игнатом... Потом Аксинья вспоминала свою свадьбу какими-то обрывками.

Через мешанину пьяных выкриков, смеха и песен пробился скрипучий голос бабки Матрены:

– Греховодница паскудную свадьбу справляет. – Немощная старуха без труда перекрикивала крики и шутки. – И ты, Анфиска, такая же курвь! Бог все видит!

– Совсем из ума выжила, – зашептались еловчане, а Аксинья проводила благодарным взглядом раскрасневшуюся от попреков Анфису. Она увела бабку за локоть подальше от дома Вороновых.

Невеста почти ничего не ела и не пила, пока Гриша насильно не стал кормить ее ломтями сочной гусятины, не заставил выпить медовухи:

– Тебе силы будут нужны, голубка моя. – Молодая жена от его слов краснела на потеху гостям.

– Ты, Григорий, девку береги, не обижай, – подошел изрядно окосевший Гермоген. – Перышки-то не выщипай все...

– Зернышки свои не теряй, Гришка... А то поможем. – Пьяный рот Ермолки Овечьего Хвоста перекосялся, а сальные глаза блестели. – Дай поцелую, дочка, – Аксинья почувствовала мокрое прикосновение губ и чуть не закричала от отвращения. Григорий отгеснил пьяного отца Анфисы, протянул ему полную чарку вина.

Двор Вороновых, где гуляли свадьбу, был уставлен цветами, увит ветками березы и рябины. Столы, накрытые белыми вышитыми скатертями, ломились от яств. Посуду для празднества собирали по всей деревне.

– Пора молодых спать укладывать, – подала голос Марфа, куражившаяся на свадьбе больше всех, с остервенелым надрывом.

– Пора! Пора! – закричали хмельные гости.

Постель для новобрачных устроили у Григория в избе, где стараниями баб был наведен мало-мальский порядок.

Кузнец на руках перенес Аксинью через порог – теперь вернувшийся в прибранную избу домовой должен был принять молодую жену. Широкая лавка застелена медвежьей шкурой, чтобы хозяин леса благословлял брак молодых. С шутками-прибаутками гости наконец оставили Аксинью и Григория одних и отправились догуливать.

– Устала, Аксиньюшка?

– Устала... Кажется, упаду на постель да усну.

– Это ты зря... Мужем и женой станем – и спи сколько хочешь – Он приблизился к Аксинье.

– Мы с тобой муж и жена, венчали нас в церкви, перед Богом и людьми. Что ж еще?

– Еще нет... Не то, Аксинья, главное. – Молодая жена в испуге смотрела на Григория, в колеблющемся свете нескольких зажженных лучин его усмешка пугала. – Да ты что? Напугалась, дурочка!

С помощью мужа Аксинья сняла кокошник, тяжелое монисто, душегрею, сарафан и осталась в рубахе тончайшего ситца с красной вышивкой по подолу.

– Наконец-то, – взял ее на руки Григорий и положил на постель.

Теперь Оксюша была его законной женой, его добычей. Он перестал себя сдерживать, уже не боялся спугнуть юную деву, как когда-то на берегу Усолки.

Властным поцелуем муж раздвинул ей губы, быстрым движением снял мешающую ему рубаху. Резко, почти грубо его руки шарили по тонкому телу, сжимали соски, спускались на мягкий живот, впивались в бедра. Акси́нья задыхалась, но не смела ни слова сказать своему мужу.

– Не могу больше! – Григорий властно развел ноги Акси́нии, мощным движением вошел в ее глубину.

От внезапной боли она закричала, в мгновение ощутив и тяжесть навалившегося мужа, и величину той части тела его, что оказалась внутри нее. Недолго бился над ней кузнец, но и эти минуты показались ей нетерпимо долгими.

– Это первый раз так... потом получше будет, – сыто откатился от Акси́нии Григорий. Скоро грудь его стала подниматься ровно, лишь иногда раздавался тихий храп.

Новобрачная свернулась клубочком под одеялом и почти до утра не могла уснуть. Ее лишала сна не только тянущая боль внутри, но и тяжкие мысли. Ночь эта оказалась иной, чем ей это виделось в девичьих наивных грезах.

Молодоженов разбудили громкие крики и яркий солнечный свет, врывавшийся в избу. Во главе вереницы гостей, пришедших проверить, состоялся ли брак, была Марфа. Кому, как не ей, спешить убедиться в «испорченности» невесты. Конечно, на простыне нашли капли крови, к огорчению злонравной Марфы. Григорий быстро вытолкнул гостей, увидев смущение молодой жены.

– Бледная ты, замученная. Что такое?

– Уснуть вчера не могла, измаялась.

– Иди-ка сюда, женушка, новую простынку постели да продолжим то, что начали ночью.

– Нет, Гриша, к гостям надо. Сегодня второй день свадьбы. Нехорошо обычай нарушать! – Муж вздохнул, почесал грудь, поросшую курчавым волосом, и стал натягивать портки.

При свете дня Акси́нья осмотрела свое новое жилище. Анна с соседками постарались привести в порядок Гришину избу, отскоблили грязь по углам, смахнули тенета, но от жилья по-прежнему веяло неустроенностью: ни скатертей, ни занавесок, ни пучков травы, ни поставца с посудой. Вместо рушников рваная тряпка, на полу – грязная солома. Холостяцкая берлога, не ведавшая женской руки.

– Да, Гришенька, работы тут непочатый край, – вздохнула Акси́нья. Порывшись в сундуках, перенесенных в избу накануне, она вытащи́ла синий сарафан с жар-птицами по подолу и льняной у́брус – отныне должна́ была она накрывать́ голову, как все замужние женщины.

Второй день прошел для молодоженов веселее – теперь уже были силы смеяться над шутками и воздавать должное угощению.

Напугав детей и девок, во двор Вороновых заскочил медведь и грозно зарычал:

– Кто тут невеста? Показывайте! Приголубь меня, Акси́нюшка. – Ряженный вытащи́л девушку из-за стола – а муж и сопротивляться не мог. Царь лесной – что хочет, то и делает.

Медведь крутил Акси́ню, из лап не выпускал, приплясывал вокруг, насмешничал.

– Семен, хватит уже, – попросила она. – Довольно.

– Давай целуй меня. – Мертвые глаза зверя приблизились к лицу Акси́нии. Она еле сдерживала отвращение, чувствовала запах дурно выделанной шкуры. Григорий уже привстал, понял, что обычай превращается в нечто иное.

Чмокнув в черный нос зверя, Акси́нья убежала под бок к мужу. Пьяные гости кричали: «Медведь в углу!», молодая жена отвечала: «Григория люблю» и целовала мужа, с удовольствием чувствуя жар губ и мягкость смолисто-черных усов.

2. Хлопоты

Улеглась свадебная шумиха, и повседневные хлопоты до отказа заполнили жизнь Аксины. Отмыла избу, украсила окна полотняными вышитыми занавесками, накрыла покрывалами все лавки в избе, повесила узорчатую скатерть – и перевела дух. В родительской избе она не чуралась никакой работы: и у печки стояла, и за скотом ходила, и стирала, и углы скребла. Но быть хозяйкой, все делать самой и вовремя – оказалось тяжкой ношей!

В первый же день она за отмывкой полов она и не заметила, что уже полдень. Обеду мужу не приготовила. Григорий ворчать не стал, попил молока с вчерашним хлебом и вернулся в кузницу.

– Безрукая, – жаловалась Ульянке Аксины, – печка разгораться не хочет, пироги подгорают... Ни свежих яиц, ни огорода!

– Да не бери близко к сердцу! Освоишься, это все с непривычки! А что яиц нет – не твоя беда, мог муж твой и прикупить, подумать о жене молодой! Съездите в город да купите иль у кого в деревне!

– Спасибо за добрый совет, – обняла подругу Аксины.

– Да я вот с чем к тебе – мы с Зайчиком решили свадебку сделать. Вас с кузнецом ждем аккурат после Петрова поста^[43]. Венчаться будем в Александровке. Погуляем у родителей Георгия денек – и хватит!

– У Георгия?!

– Да, представь, подруженька, при крещении Зайчика моего Георгием нарекли. Знают все по прозвищу. Я хохотала битый час. Вот погадали мы с тобой! У тебя Григорий, у меня Георгий – всю правду колечко сказало!

– Вот это да! Вот так серебряное колечко! Колдовское!

– Выпроси его у матери. Может, тряхнем стариной на эти Святки?

– Нам уже это будет без надобности...

– Да ну! Захотим да погадаем, что нам теперь только котелки скрести! А расскажи, что у вас с мужем ночью? А?

– Опять ты за свое!

Аксины решилась:

– Да ничего хорошего... Как в первую ночь мука, так и сейчас... Не в радость! А он все льнет и льнет ко мне. Скрываю я изо всех сил свое

отвращение, а поделаться ничего не могу. Как целуемся-милуемся, так я довольнешенька, а... К делу переходим – так хоть волком вой!

– Отвращение? В медовый-то месяц...

– Ты так говоришь, будто и сама греха вкусила. Знаешь, что в постели творится?

– Знаю, под кустами мы побаловались. И я тебе скажу, люблю я это дело. Вспоминаю ночки – аж негой все наполняется, – выдохнула Ульяна. – Хорошо, пузо вырасти не успеет до свадьбы.

– Уже ждешь дитяню?

– По видимости... Вот такие мы с Зайцем быстрые!

Аксинья обняла подругу, ребенок – в радость. Без детей изба пуста.

Оксюша ничуть не преувеличивала: каждая ночь с любимым желанным мужем была совсем не сладка для нее. Был бы Григорий поласковее, больше нежил свою молодую неопытную жену, глядишь, и сладилось бы у них. Днем милый, ласковый Григорий, который заботился о жене, исполнял ее прихоти, прощал хозяйственные огрехи, в постели был жесток, необуздан и даже груб. Он стискивал в своих объятиях молодую жену, как зверь, терзал ее тело. Наутро Аксинья находила синяки на нежной коже, ныли сосцы от укусов, саднил низ живота.

– Гришенька, больно мне. Ласки хочу...

– Женка, не балуй, люблю я тебя, как до свадьбы. Какую ласку тебе надо? Каждую ночь от тебя оторваться не могу, – возмущался кузнец.

Так Аксинья поняла, что жалобы бесполезны, они лишь отвратят от нее мужа. Надо терпеть.

Молодая жена пошла за советом к наставнице – Глафире. Старушка не появилась на ее свадьбе, отговорившись разыгравшейся хворью. Не любила она шумные празднества, пьяную толпу, досужее любопытство.

Аксинья, смущаясь, рассказала о своей беде Глафире.

– Я думала, у всех так, мужья не в радость. А Ульяна о другом говорит.

– Ты Ульяну свою больше слушай. Хоть... И правда я от мужа своего по молодости отлипнуть не могла... А он хорош был, набрасывался на меня, – старушку потянуло на воспоминания, которые Аксинья слушала с неподдельным интересом. – За ладошку только меня возьмет, а я вся полыхаю. А как кто из казаков на меня

засмотрится, Верещалка как разъярится! Домой придем, орет на меня как оглашенный, чуть за плеть не берется. Я-то хихикаю, зная, чем все закончится – на постель меня завалит да миловать будет. Эх, времечко золотое!

Старушка замолкла. Опустив морщинистое лицо, она разглядывала свои покореженные временем руки.

– Эх-эх. Потом он с тем же пылом молодых соседок охаживал... кобелиная натура у мужика была. Вытаскивала его с чужих кроватей. Пока в Еловую не приехали, сладу с ним не было. Потом усмирел, в деревне-то – не в городе, все на виду. – Глафира замолчала. – Слушай, девонька. Знаю, как тебе помочь. Ягоды рябины, льняное семя, крапиву, боровую матку, листья черники и китайскую траву^[44] смешай да кипятком залей. Ночь настоится, и пей с утра да вечером. Китайскую траву в городе найдешь. Киргиз лавку держит, у него спросишь.

– Спасибо тебе! Баба Глаша, попробую. Боюсь я, что немила ему стану.

– Да успокойся ты, это первое дело. Изводить себя станешь, толку не будет. Подожди-ка, девонька. – Глафира открыла небольшой сундук и вытащила книгу, завернутую в выцветшую тряпицу. – Твоя она теперь, Оксюша.

– Нет! Зачем!

– Бери, ты же всегда любила ту книжицу. Много там снадобий, и я не все их прочитала, разобрала. Ты девка смышленная, востроглазая. Денег «Вертоград» стоит, отец-то мой недешево его покупал. В наших глухих краях много за него не дадут, но как жизнь твоя сложится... Кто знает... Мне уж помирать скоро.

Аксинья поняла, что Глафира давно решила, и с благодарным поклоном приняла книжицу.

– Ты только помирать-то не спеши. Не всему меня научила, – обняла старушку Аксинья. – А где твой Плут? – внезапно заметила она. – Гуляет по деревне?

– Потерялся Плутишка мой... Уже староват с кошками бегать. А может, смерть его кошачья подстерегла. Он, как и я, немолод.

Сколько себя помнила Аксинья, у бабы Глаши жил черный здоровый котяра, гроза всех соседских котов. Сколько лет ему было, Глафира и сама не помнила. Обычно коты да собаки в деревне столько

не жили, потому считалось в Еловой, что черный кот знахаркин – бес или еще какая нечисть. Баловала Глафира Плута, кормила яйцами и мясом, когда в силе знахарской была. А потом порой кот мелкую пичугу ловил и хозяйке приносил на похлебку – заботился о старухе.

В деревне кота, конечно, недолюбливали – черный Плут знахарки вызывал такой же страх, как и его владелица. Поминали еловчане ёшкина кота и Баюна. Трогать котяру не осмеливались – отправит пораньше в преисподнюю.

Аксинья искренне расстроилась из-за пропажи.

– Я поищу котяру. Куда ж деться мог?

– Поищи, дочка. Для моих старых костей он лучшее лекарство.

Отправившись через пару дней за цветущим иван-чаем и ромашкой, Аксинья увидела знакомый комок черного меха.

– Плут?

Любимый кот Глафиры уж пару недель назад был задушен – на это недвусмысленно указывала веревка, оставшаяся на его шейке.

– Что ж за душегуб? Кому ты дорогу перешел, котейка? – жалостно зашептала Аксинья. Присыпала Плута землей, прикрыла сверху травой. Старушке правду лучше не говорить, расстроится, близко к сердцу примет.

* * *

Весело, привольно отгуляли на свадьбе Ульяны с Зайцем. Родители парня были счастливы, что их добрый сын, обиженный немилосердной природой, нашел невесту по душе. Да еще какую! Пышку-хохотушку! Улыбчивая, румяная невеста цвела под влюбленными взглядами жениха.

Григорий был не в настроении, не хотел он веселиться и шутить. Еще не наступил вечер, как потащил он жену домой.

– Подружка, ты что ж так рано? – опечалилась Ульяна.

– Муж домой хочет. Пора нам!

– Так гулять и гулять еще. Детки по лавкам не орут! – недоумевала подруга и попыталась убедить Григория. – Григорий, ты жене поплясать дай... Рано домой, самый смак...

– Ты с женихом иди любезничай, а жену мою в покое оставь, – отрезал кузнец, гневно сверкнув глазами.

– Ой-ой-ой, злой Аксиньин муж, – скривилась невеста и последовала совету, прижавшись к Зайцу. А тот поднял ее на руки, пошатнулся – выпил не одну чарку медовухи, чуть не уронил жену. Ульяна ничуть не обиделась, расхохоталась, смачно поцеловала Гришу.

Аксинья успела еще увидеть, как вдрызг пьяный Лукьян, к недовольству своей молодой городской жены, вытащил зятя плясать, как Рыжик залиvisto смеялась, от души забавляясь кутерьмой. Свадьба ее была без насмешек соседей, без недовольных взглядов отца, без зависти подруг. Повезло Ульянке. Но Аксинья, хоть и сравнивала невольно, не держала обиды. Как случилось, так случилось.

Григорий усадил жену в телегу, а она все оборачивалась, тянулась к веселью.

Кузнец Ульяну недолюбливал и просил пореже звать в гости.

– Пустая она, безголовая. Ничего хорошего от такой женки не жди!

Григорий не запрещал жене встречаться с подругой, но каждый раз кривился, слыша, как Аксинья в очередной раз болтает с Ульяной, по мужу ставшей Федотовой.

Григорий оказался человеком нелюдимым. Серьезный, деловитый, работающий, он большую часть времени проводил с Игнатом в кузнице, а вечера коротал с женой. Больше никто ему не был нужен, а молодая жена тосковала. Привыкнув к многолюдной семье, шумным вечерам, ей пустой казалась их изба, скучными тихие вечера. Порой вырывалась она к родителям, засиживалась допоздна, наслаждаясь уютом, легкими разговорами и материнской заботой.

Анна почуяла, что дочка ее не так счастлива, как хочет показать. Есть у нее с мужем какие-то разногласия. Но ничего не спрашивала, дочка рано или поздно сама все расскажет. Василий зятя не любил, иначе как «басурманин» не называл. Приязни родственной не получалось.

* * *

В субботний день Аксинья отправилась с мужем в Соль Камскую. Вороной, запряженный в новую телегу, брыкался и недовольно вел ушами. Аксинья горделиво восседала рядом с мужем. Серьезная замужняя женщина, хозяйка, а не пигалица.

– Ты что, Абдул? Избаловался у меня вконец, – ворчал Григорий. – Бухарцам сдам, пожарят на вертеле.

– Гриш, не сердись. Конечно, такой красавец, ему хомут на шее в тягость... Под седлом только красоваться!

– Ну ничего! Подзаработаю еще, да купим второго жеребца для упряжи, чтоб повеселее им было!

– А откуда имя такое? Абдул... Никогда не слышала.

– Это у мусульман, у татар частое имя. Конь кровей не наших, южных. Потому так назвал.

– Абдул... Ветром обдул, – зазвенел колокольчиком смех Аксиньи. – А он имя свое знает, сразу ухом ведет, как собака!

– Он со мной много чего пережил. Верный конь!

На рынке семья накупила цыплят, взрослых курочек, утят, чугунок, чашки, соль, перец... Аксинья весело торговалась с щуплым беззубым мужиком, продававшим кур, выбирала самых справных утят, крутила в руках каждый чугунок. Григорий улыбался, в торг не вмешивался, отдавал только копейки радостным лавочникам.

– Что жена моя любимая хочет? Чем тебя порадовать?

– Ткани на новую душегрею бы справить.

– Мало у тебя их, – ухмыльнулся в усы муж. – Хорошо, справим.

– А еще в лавку травника-киргиза мне надо.

– Ты ж сама травница? Зачем тебе кыргыз сдался?

– Мне нужна трава неместная, китайская.

– Зачем? Кого лечить будешь? Не меня ли? – Гриша был как никогда настроен на шутливую волну. – Чтобы любил побольше.

– Мне нужна она для женских надобностей, – пресекла дальнейшие расспросы Аксинья.

Киргиз, хитрый маленький старичок, видя, что молодой страсть как нужна китайская травка, заломил невиданную цену.

– 10 копеек за горстку травы, ты не сдурел? – возмутился Григорий. – На эти деньги чуть не десяток цыплят можно купить.

– Цыплята и покупать, – с достоинством ответил киргиз. – Трава этот непростой, всяко лечит.

– Гриша, нужна она мне, – взмолилась Аксинья.

– Алтын давать, ради твой красивый жена!

– Спасибо, дедушка, – улыбалась Оксюша, сжимая заветный мешочек в руках.

Выйдя из лавки, столкнулись они нос к носу с Микиткой.

– Как родители поживают? – бывший жених склонил голову в шутовском приветствии.

– Не жалуются. Как здоровье твоих родителей? Как сам?

– Хорошо, дела в гору идут. Отец подрядился зерно продавать за Камень-горы, скоро поедет в Верхотурье.

После строительства Бабиновской дороги на реке Туре сразу стали возводить укрепления, вырос небольшой городишко на реке Тура – «ворота в Сибирь».

– Что ж, процветания вам, – задумчиво протянул Григорий.

– А ты, Никита, как поживаешь? – спросила Акси́нья, ее накрыл запоздалый стыд. Дурно поступила она с бывшим женихом.

– А что я? Все слезы лью по невесте коварной. А ты, смотрю, цветешь? Григорий, ублажаешь жену молодую?

– Да, как тебе и не снилось, – сухо ответил кузнец и потащил Акси́нью подальше от злоязыкого толстяка.

– Пакостный он, Микитка, отвела судьба от него, – запыхавшись от быстрой ходьбы, облегченно вздохнула Акси́нья.

– А тебе не люб он был? – вдруг развернулся к ней муж.

– Нет, по воле отца он был выбран в женихи!

– А то мож, люб был, потом меня встретила... Потом еще кто мил станет...

– Что ты говоришь! Только ты мне нужен, до самой смертушки, Гриша, – встревоженно смотрела на милого Акси́нья. Порой перепады настроения мужа ее очень тревожили. Угрюмый, нелюдимый, он в мгновение ока мог превратиться в балагура и шутника. И от веселья враз мог перейти к задумчивости и тревоге.

Всю обратную дорогу он хранил молчание. Жена не осмеливалась его нарушить, с удовольствием перебирала ткани и нюхала заморскую траву. Она пахла пылью, землей и чем-то неуловимым, пряно-терпким.

Григорий же все прикидывал, когда сподручнее будет переехать за Урал. Пока он был в Перми, не мог он спать спокойно. За Камень-горами по указу царя Федора всем прощение было обеспечено.

* * *

Акси́нья вздрагивала. С самого утра она боялась подойти к мужу, он колот дрова с таким грохотом, будто мстил невинному дереву за

что-то неведомое. Акси́нья звала к столу, улыбалась, окликала. Муж хранил молчание.

Женщина вышла на крыльцо. Солнце целовало лучами смуглые плечи и спину Григория, ветер ерошил темные волосы, Акси́нья сдерживала вздох: красив Григорий. Мощные руки кузнеца бугрятся мускулами, крепкие и длинные ноги пружинят, топор взлетает – и раз! – опускается на чурку, только щепки во все стороны. Летний день дышал редким зноем, и между грудей Акси́ньи потек пот. Но она не уходила. Акси́нья не могла оторвать взгляд от мужа, его ловких движений, его широкой спины, от лезвия топора, отражающего лучи дневного светила. Кончики пальцев защипало от потребности коснуться потной спины, убрать со лба мокрые волосы, ощутить языком соль на мощной шее.

Низ живота тянул сладкой болью, и Акси́нья невольно коснулась его рукой, ощутив и через тонкую ткань рубахи жар. Заболела? Надо отвлечься, заняться делом, растопить печь, постряпать хлеб. Безделье множит дурные мысли, и она заставила себя отвлечься от своих желаний.

К вечеру Григорий закончил хозяйственные хлопоты, и молодая семья отправилась к Вороновым на банную помывку. Это стало уже обычаем, и каждый раз Акси́нья недоумевала: почему муж ее не хочет с отцом и братом ее в баньку ходить. Один идет в парильню, последним, когда жар уже весь вышел, и сладости банной нет и в помине.

Василий подковыривал зятя:

– И что это, как девка, жеманишься! Пошли-ка, попарю.

На прошлой седмице он своего добился и с хитрой усмешкой смотрел теперь на Гришу. Кузнец взгляда не отводил, ухмылялся в усы, и Акси́нья с недоумением и тревогой наблюдала за этим поединком черных глаз муж и отца. Уж не первый раз думалось ей, что они похожи: и тяжелым взглядом темных глаз, и непокорными кудрями (у Григория еще смолисто-черными, а у Василия уже припорошенными снегом), и статью, и жизненной смекалкой...

Все ее расспросы натолкнулись на непроницаемость мужа, вновь впавшего в тяжелые раздумья. Позже, размякнув после бани и чарки медовухи, Григорий огорошил жену:

– Ты не жалеешь, что так у нас сложилось?

– Нет, я счастлива быть твоей женой. Ради тебя я ослушалась отца, ославилась на всю деревню как гулящая девка. Что еще надо?

– А ночью ты будто и не рада.

«Заметил, чуткий какой... А говорят, мужику и дела нет», – пронеслось в голове.

– И ночью, и днем рада, – Акси́нья сама запустила руки мужу под рубаху, стала гладить его мускулистую грудь, наслаждаясь прерывистым дыханием.

Когда Григорий попытался по обыкновению завалить ее на кровать, жена вырвалась и продолжила свое неспешное странствие по его телу. Сняв рубаху, она накручивала на палец упругие темные завитки на груди мужа и смеялась, видя его оторопь. Прижимаясь лицом к его шее, чувствуя мускусный запах кожи, Акси́нья чувствовала, что нечто неведомое поднимается из самой глубины ее естества, почувствовала, как ее тело, грудь, бедра отзываются на ласки Гриши. Когда он задрал тонкую рубашку и оседлал жену, она приняла его без прежнего отвращения.

– Кваску бы, – прошептал Григорий спустя некоторое время.

– Ты не спишь? – удивилась Акси́нья. Она набросила рубаху, зажгла лучину и налила в ковшик душистого кваса – ее тайной гордости. Пенный напиток, что хлебный, что свекольный, получался у нее на славу.

Пока Григорий жадно пил, голый, без портков и рубахи, она смотрела на него с любовью. Вот и поняла, что значит быть хорошей женой настоящего мужчины.

– Что так смотришь?

– Ничего, – смущалась она. Но к поджарому его телу невольно тянулись руки и губы Акси́ньи. Той ночью не раз еще наполняла она ковш квасом и стонала от избытка чувств под своим мужем.

– Тайные уды мужа своего не трогала? А не скакала ли ты, оседлав мужа своего?^[45]

Отец Михаил задавал срамные вопросы, а Акси́нью они ввергали в смятение. А батюшка Михаил любострастие называл грехом.

Всего за год набралось бы от силы дней пятьдесят, когда можно было без оглядки венчанным супругам сплетаться в объятиях. Жене полагалось тихо и неподвижно лежать под мужем своим, не выказывая страсти. А если Акси́ньины бедра наливались жаром от мужниного

касания? А губы сами собой тянулись к курчавым волосам на его груди, а руки гладили темную, влажно поблескивающую кожу... Грешница она?

Выходя из церкви после исповеди, испытывала она теперь угрызения совести. Если б призналась во всем, что происходило с мужем, весь оставшийся год пришлось бы им поститься и класть в церкви земные поклоны.

Не один человек ночные утехи творит. Коты с кошками орут темной летней порой, собаки без стыда при свете дневном склещиваются. Каждая тварь земная и птаха ищет пару, и любитя, и страстью горит. Нет, отцу Михаилу правды она не скажет.

* * *

Воскресенье для большинства еловчан было днем отдыха и походов в церковь. Аксинья нежилась в постели дольше обычного. Потянувшись, она услышала звон, доносившийся из кузни. Григорий не изменил своей привычке и этот воскресный день решил посвятить работе.

К полдню, так и не дождавшись мужа, Аксинья собрала в тряпицу обед – вареные яйца, соль, свежий ржаной хлеб – и направилась в кузницу.

Григорий, высоко заноса молот, ударял по куску металла. Искры так и летели из-под молотка, мускулы крепких рук напрягались при каждом ударе, а рубаха насквозь промокла. Игнат раздувал горн и стирал пот, капавший со лба. Любуясь на праведный труд двух крепких мужчин, Аксинья не сразу позвала их обедать.

– Ты прямо Гевест... Только куда краше, – не выдержала она.

– Что за олух?

– Бог греческий.

Гриша прижал Аксинью к своему разгоряченному телу:

– Вишь, Игнатка. Жена моя как в богах греческих соображает. Аж страшно такой учености!

– Да ну тебя! Гриша! – счастливые глаза и смеющиеся губы Аксиньи были так близко-близко, что кузнец чуть не забыл, что в кузне они не одни.

Разложив узелок на шатающемся столе, сбитом из щелястых досок, мужики принялись за еду, грязными руками разламывая хлеб, уминая

яйца за обе щеки. Акси́нья улыба́лась, от трапезы не отвлека́ла, только при́двину́лась побли́же к мужу и пальце́м проводи́ла по вла́жной спине́, укра́дкой, чу́ть заме́тно.

– Знае́шь, что, Игна́т, все на се́годня! Ша́баш, пора́ и отдохну́ть.

– Фу́х, Григо́рий, удру́жил. Меня́ на ре́чке жду́т. – Сча́сливый па́рень в ми́г собра́лся и убе́жал.

– Мо́жет, то́ж на ре́чку ма́хнем? На́йдем укромный́ уго́лок... А, Окси́нька?

– Не́т, я зна́ю местече́к по́лучше.

Акси́нья заботли́во собра́ла в корзи́ну все, че́м можно́ бы́ло насы́титься: ко́жаную бу́тыль с ква́сом, хле́б, зеле́ные перья́ лука́, кусо́к вче́рашнего́ пиро́га с зеле́нью.

Ле́гкая, бы́страя, приви́чная к ле́су же́на шага́ла впе́реди, за не́й, чу́ть при́падая на бо́льную но́гу, ступа́л Григо́рий.

– Изде́вае́шься на́д ста́рым муже́м, же́нушка. Е́ле иду́, е́ще корзи́на тя́желенная́.

– Э́то разве́ изде́вательство́! Е́ще пого́ди! У о́зера со́всем замору́ю те́бя!

– Да́же так? У́же бо́юсь. Бр-р-р. Убе́гу се́йчас вме́сте с е́дой, не пойма́ешь.

Е́ле заме́тная тро́па поро́й теря́лась под ва́лежни́ком, заросля́ми шиповни́ка. Заня́тые шу́тливый́м разгово́ром, Акси́нья и Григо́рий не заме́чали уско́льзящих мгнове́ний. На разны́е го́лоса пели́ пти́цы, благоуха́ли тра́вы, сол́нце игри́во ско́льзило по́ листьве́ и лица́м пу́тников. Любопы́тный буру́ндук засты́л на ство́ле дере́ва, рассма́тривая́ люде́й. Гри́ша его́ шугну́л, и ю́ркий зве́рь раство́рился в сплетени́и тра́в.

– Во́т мы́ и при́шли.

Нео́жиданно́ взгля́ду пу́тников откры́лось си́нее о́зерцо, обра́мленно́е ве́ковыми́ сосна́ми. Безы́мянное, оно́ бы́ло распо́ложено в сто́роне от охотни́чьих тро́п. О́зеро не́сколько ле́т наза́д на́шли Оксю́ша с Фе́дей. С той по́ры Акси́нья бо́льше в э́том чу́дном ме́сте не́ бывала́.

– Кра́сиво, пра́вда? – ти́хо проговори́ла она́.

– Да, ра́й земно́й! Ты́ как хо́чешь, а я́ в во́ду!

Ски́нув руба́ху и порты́, обна́женный ку́знец ны́рнул в о́зеро. Воро́вато огляну́вшись, Акси́нья то́же сброси́ла сорочку́ и пры́гнула в

воду.

– Совсем без одежды, – подплыл к ней муж. – Бесстыдница! Отец Михаил наложил бы на тебя епитимью!

– Он не узнает, – плеснула она брызгами.

– А если расскажу? – Григорий обхватил жену и прижал к себе мокрое гладкое тело.

– Не посмеешь, – Акси́нья закрыла его губы своими.

– Гурия моя, – шептал он ей, ловя капли, стекающие по гладкой коже.

Уже потом, отдышавшись, жена не сдержала любопытства:

– Гурья – это кто? Гурий... Имя что ль такое?

– Как бы сказать тебе... Девы, что в раю магометанском усладу несут праведникам – их гуриями кличут.

– В раю? Девы?

Акси́нья задумалась.

– Богомерзкое магометанство, прав отец Михаил.

– Мож, и мерзкое, но такой рай мужику сладок.

– Тьфу, охальник. – Акси́нья махнула на мужа, ее грудь зазывно тряхнулась, и Григорий вновь не отказался от того, что обещало тело гурии.

Солнце уже клонилось к закату, когда они спохватились – давно пора было возвращаться обратно.

– И я, ахмак^[46], счет времени потерял! – корил себя муж.

Акси́нья привыкла уже, что добавлял он в речь свою татарские словечки, она, любопытная, спрашивала, что значат они, повторяла, дивясь диковинному звучанию... Но не в этот раз.

Быстро натянув одежду, Акси́нья с Григорием пустились в обратный путь.

– И трав хотела набрать! – вздыхала жена.

– Уж не до трав твоих. Пошли скорее.

Лес, приветливый при свете солнца, вечером казался жутким, полным неведомых теней. Схватив ладонь жены, Григорий быстро шел по лесной тропе и ощущал, как сердце сжимается от дурных предчувствий.

Лес враждебно обступал их, Акси́нина рука стала подрагивать. Когда справа затрещали ветки, кузнец уже был готов. Внезапно остановился, прислушался – треск больше не повторялся.

– Аксинья, умеешь на деревья залазить?

– В детстве...

– Вспоминай! Лезь на ту большую березу.

– А ты? Что случилось-то? – И так большие глаза жены увеличились, делая ее похожей на олененка.

– Лезь давай!

Подобрав юбку, Аксинья просто взлетела на дерево, поразила своей резвости.

Затаившись у ствола, кузнец ждал нападения – теперь он уже был уверен, что кто-то наблюдает за ними из темноты. Минуты текли бесконечно.

Что-то крупное, мощное налетело на Григория, сопя и чертыхаясь. Здоровый молодой мужик с пудовыми кулаками со всей дури махал ими. Пару раз вполне ощутимо задел Гришу. Молча, яростно они мутузили друг друга, упав на траву. Скоро напавший стал выдыхаться.

И вот тут-то Григорий обрушил всю свою силу на разбойника. Да, не зря освоил он в городских кабаках и темных переулках умение бить неожиданно и сильно, не зная промаха, вкладывая всю свою ярость в один удар. Если бы не это умение, Григория давно и на белом свете бы не было.

Удар в живот. Резкий, смачный. Чавкающий звук. Стон. Под руку попалась коряга, крепкая, смолистая. Удар по затылку, чтобы нескоро пришел в себя.

Резкая боль пронзила левую руку. Нож, направленный умелой рукой татя, вонзился выше локтя. Ещё чуть-чуть – и попал бы прямо в сердце Григория. Вытащив из раны нож, кузнец почувствовал, что быстро теряет кровь и силы.

– Выходи, что ж ты в кустах прячешься.

– Недолго тебе, мужик, говорить осталось. Стащим мы твою курочку да перышки ей пообщипаем, – ответил невидимый доселе противник и вышел к кузнецу.

– Смотрите зубы свои не обломайте. Смелые за кустами прятаться.

Тать был помельче своего товарища. На днях в кузницу заходили неместные мужики, родом с деревни Лютовой к северу от Соли Камской. Поведали, что с воцарением Бориса отпустили из уральских тюрем многих злодеев – татей, убийцев, разбойников – на свободу.

Мол, пусть славят царя. Теперь головорезов на окрестных дорогах развелось немало.

Аксинья прикусила губу. Представила, какую участь ей готовят лихие людишки. «Ведь предупреждали меня все. А я не верила. Гришенька, одолей ты его, гада мерзкого!»

Она сидела на толстом суку, который в любой момент мог треснуть. Руки и ноги кололо толстыми иглами. Одной ногой опиралась о тонкую ветку, вторая вжималась в ствол. Никогда в жизни не было ей так страшно.

– Шел бы ты куда подальше, мужик. У нас, кроме крестов нательных, и брать-то нечего, – продолжал муж, и Аксинья не могла не восхититься его самообладанием. В голосе не слышалось ни боли, ни страха. – Монет у нас с собой нет, а жена живой вам не дастся.

– Ишь ты какой! Еще как дастся, да еще стонать от радости будет.

Мужчины кружили один против другого. В руках у разбойника был длинный тесак. Григорий схватил нож, вытащенный из раны.

– Хочешь расскажу, что мы с ней сделаем.

– Попробуй, – ухмыльнулся Григорий и быстрым ловким движением метнул нож прямо в шею татю. Аксинья не заметила движения его руки, увидела только, как беззвучно упал разбойник.

Стояла тишина. Оба разбойника лежали тихо.

– Слазь, Аксинья, – позвал Григорий. – Нет больше никого. Видно, вдвоем орудовали.

Она тяжело спустилась, упала в подставленные руки мужа, липкие от крови. Он застонал – рана давала о себе знать.

Кузнец вытащил нож из шеи разбойника и несколько раз вонзил его в злое сердце. Трава вокруг уже была залита черно поблескивавшей кровью. Аксинья в испуге отшатнулась.

– Зачем, Гриша? И так он мертвый.

– Для верности. Кто их, разбойников, знает – вдруг оборотнями обернутся. А ты, голубчик?

Григорий приложил ладонь к шее лежащего под березой татя.

– Жив, зараза. – Мужик захрипел. Кузнец одним движением перерезал горло. Аксинья со страхом следила за его действиями. Мало что знает она о своем милом.

– А может, не надо было их... А? Оставили бы тут. Наши, деревенские, облаву устроили...

– Копекке копек олюмы^[47]. Они бы не пожалели меня, глотку перегрызли. А уж что бы с тобой сделали, изголодавшись по бабе... Нам повезло. К утру от них мало что останется, зверье попирует. А ножи надо спрятать.

– Дай кровь-то остановить. – Аксинья оторвала от нижней рубахи лоскуты и стала перевязывать руку. Темная кровь текла густой струей, и сердце Аксиньи заходило от тревоги – кому, как не знахарке, понимать, что означает столь глубокая рана.

– Не алая кровь, не алая. Слава Святому Григорию, – шептала она. – Все хорошо будет, обойдется...

– Спрячь ножи, – тихо сказал Григорий. Силы начинали оставлять его.

Сковырнув слой мха, она положила во влажную землю два ножа. Руки даже не тряслись, когда она касалась рукояток ножей, запачканных кровью – и разбойничьей, и мужниной.

– Пошли поскорее, вдруг еще кто в их ватаге есть, – поторопил муж.

Аксинья каждый раз вздрагивала, слыша любой шорох, уханье ночной птицы вдалеке, треск валежника. Она чувствовала, что Григорию последняя верста далась тяжело – сказывалась потеря крови. Шептала вслух благодарственную молитву.

– Наконец дома! – Аксинья первым делом промыла рану, туго забинтовала. Григорий побледнел, дыхание его стало неровным, прерывистым, рана была глубока. До утра она колдовала над целебными отварами, прислушиваясь к дыханию спящего мужа и молясь Богородице.

Утро началось с хозяйственных хлопот. Глаза закрывались, руки медленно двигались, каждое движение напоминало об усталости.

– Хворый муж проснулся, а жены нет! – бодро приветствовал ее Гриша.

– Да недалече я... Слава богу! Жара нет, – потрогала она лоб.

– Со мной все хорошо, – невольно поморщился кузнец, пошевелив больной рукой.

– Зубы не заговаривай! Рана будто овраг... Вот спасение твое, – показала Аксинья мужу мох.

Григорий подозрительно на него посмотрел, понюхал:

– Мох как мох. Сухой. Пахнет сыростью и болотом. Что в нем хорошего?

– Ложись и помалкивай!

Промыв мох и отмочив его в чистой воде, Акси́нья приложила к глубокой ране и зашептала слова заговора.

– Будешь скоро здоров как бык!

– Да я уже здоров, иди-ка сюда, знахарочка, покувыркаемся.

– Больше ничего ты не придумал! Лежи спокойно, – сказала Акси́нья. Ей нравилось, что она может прикрикнуть, что муж в ее власти, как младенец. – Гриша, а ты где ж научился так ножиком орудовать?

– В Крыму, был там у нас один умелец. Метал ножи даже с закрытыми глазами и всегда в цель попадал. Попросил я его поучить меня, маленько и наострился.

– Все, добрый молодец, засыпай, – поцеловала она мужа.

Долго сидела у его изголовья, прислушиваясь к мерному дыханию. Целую неделю Акси́нья возилась с Гришей, насильно удерживала его в избе – он так и рвался в кузницу.

– Пока рана не затянется, нельзя тебе руку напрягать. Обойдется деревня седмицу и без кузнеца!

Мох ли помог или неистовая забота знахарки, но рана быстро затянулась. И скоро о ней напоминали только красноватые извилистые полоски на руке, зацелованные женой.

Теперь Акси́нья отчетливо понимала, что мужу она дорога. Он жизнь за нее отдаст, если будет нужно. «Какая я счастливая!» – вздыхала она после очередного суетливого дня на плече Гриши. И гнала прочь воспоминания о той жестокости, с которой муж лишил жизни разбойников. О том наслаждении, которое было написано на его красивом лице.

* * *

Почти каждую ночь Акси́нья ощущала горячие шершавые руки на своем теле, отзывалась, загоралась. Но больше терзало ее другое желание – сон. Однажды она разревелась, заматывая окровавленные руки:

– Гриша, ты меня прости. Нерадивая я хозяйка. Скотина не кормлена, скотник не вычищен. Не успеваю я...

Григорий проводил в кузне все дни и вечера напролет, оставив жене все хлопоты по дому. Невольно заставил он молодую жену работать до головокружения и ломоты в костях.

– Да как же... – Кузнец растерянно закусил ус и пожевал его во рту. Жену всегда забавляла эта его привычка, но сейчас ей было не до смеха. – Так... Давай помощника тебе найдем. Фимку!

Рыжий пакостный мальчишка, жилистый и ловкий, большую часть времени слонялся без дела. Его отец, Макар, троих сыновей приучал к лени и праздности.

Следующим утром вымытая лопухая рожица Фимки торчала в окне. Он опасливо ожидал появления «хозяйки». Что наговорил ему Григорий, Аксинье так и осталось неизвестно, но работал чертенок не на стыд, а на совесть. Весь день парнишка стучал молотком, пилил дрова, чистил, мел и скреб... Еще до полудня Аксинья не выдержала, позвала его к столу и с жалостью наблюдала, как жадно он хлебает уху, слизывает капли, бережно обсасывает рыбки кости.

Аксинья села напротив, позволила минутку отдыха усталой спине. Она радовалась волчьему аппетиту паренька. Фимка выпросил добавку и яростно работал деревянной ложкой, только стук стоял.

– Это что ж у тебя? – вздрогнула «хозяйка». В рыжих нечесаных ломах что-то яростно копошилось. – Да никак вши!

Фимка вскочил из-за стола, запнулся, потерял равновесие и чуть не упал.

– Ты куда убежать собрался?

– Так что... Прогонишь теперя?

– Ишь размечтался. Стричь будем, живность уничтожать.

Скоро ножницы скрипели в руках Аксиньи, а рыжие кудри падали на пятючок земли за скотником. Парень сидел смирно, сопел пугливо и молчал. Вся его смелость куда-то исчезла.

– Вот и все. Чистенький.

На памяти Аксиньи вшей в семье не было. Лишь раз Ульянка принесла на своих косах пакостную мелочь, и долгими осенними вечерами подружки вычёсывали гребешками яйца и мелких вшей. У них даже игра появилась: кто больше поймает и раздавит, тот и победил.

– Непривычно как! – ощупывал Ефим легкую головешку. Лысый, лопухий, он стал куда забавнее: яичко с рыжими бровями и

ресницами.

– До свадьбы отрастут, – улыбнулась Аксинья.

Скоро Фима стал ее наперсником во всех хозяйственных делах, собеседником и другом. Быстрый, выносливый, жадный до работы, он был не похож на своего беспутного отца и безобразничал больше от скуки, чем от зловредности. Григорий радостно хмыкал, наблюдая, как чисто стало во дворе и хлеву, как блестит черная шкура Абдула, как радостна и весела Аксинья.

* * *

Дождливым августовским вечером Анфиса пришла к подруге вся в слезах. Шумное горе всегда спокойной, рассудительной Фисы поразило Аксинию.

– Что случилось-то? Скажи толком?

Месяц назад Анфиса с девками ходила по лесу, собирала чернику. Лукошко все не наполнялось, ягода еще не налилась спелостью, и Анфиса уходила все дальше от подруг. Увлечшись сбором ягоды, уродившейся крупной в отдаленном черничнике, она спохватилась лишь к обеду: никто на ауканье не отвечает. Схватила Анфиса лукошко, только собралась бежать в деревню, а чья-то горячая ладонь сарафан ей задрала.

– Будешь орать, шею сверну, – пообещал мужской голос, и девка поверила.

Недолго раздирал ее мучитель, быстро насытил свое естество. Анфиса успела только понять, что мужик, страшный, заросший, ей не знаком. Глотая слезы, Анфиса вернулась домой и никому до сей поры о горе своем не сказала.

– Забеременела ты от насильника? – допытывалась Аксинья.

– Нет, Аксинья, Бог миловал.

– А что ж тогда?

– Сватать меня завтра приедут. В городе зимой еще приглянулась я солевару. И он мне люб. И свадьба скоро... А что ж делать, честь я свою потеряла! – рыдала девка.

– Эти ж разбойнички чуть надо мной не сначильничали.

– Да?! – сквозь слезы изумилась подруга. – А как же спаслась ты?

– Муж обоих...

– Убил что ль?

– Да, – больше ничего Аксинья вымолвить не смогла. Вспомнила тот страшный вечер, и зашло сердце, затрепыхалось.

– Поделом им. Я рада их смертушке. Поганцы!

– Что сразу мне не рассказала?

– Так стыд душу застил. Что ж делать теперь?

А чем поможешь? Девства не воротишь.

– Правду жениху не рассказать. Позор. Да... – Аксинья не видела выхода.

– Бросит он меня сразу. Любит, знаю. Но не свяжет себя с нечистой невестой.

Поплакали молодухи, долго судили-рядили, а путного ничего не придумали. Какая дорожка у порченной девки? Либо в обитель монашескую грехи отмаливать, либо вековухой у родителей или братьев, если смилостивятся над непутевой.

* * *

Жизнь текла своим чередом. Становились холоднее ночи, предвещая скорое наступление осени. Звезды казались на темном небосклоне огромными, перемигивающимися светлячками. Аксинья с Григорием порой сидели на крыльце и любовались небом. Прощались с жарким, принесшим им счастье летом.

– Смотри, Гриша, Гусиная дорога!^[48] Действительно, будто птичья стая улетает на юг.

– А крымцы именуют Соломенной дорогой. Три вора у соседа солому украли, стали ее увозить. А она сыпаться давай на землю. Взмолились они: Аллах, скрой грех наш. Внял он их молитвам и поднял солому на небо. Булат рассказывал мне, сопляку.

– Булат... А кто он?

Аксинья почувствовала: не хочет муж отвечать. Пересилил себя:

– Булат – учитель. Всем, что умею, я обязан ему.

– Он был твоим хозяином?

– Нет, кузнецом. Когда-то он был таким же пленником, как и я.

– Тоже московит? А...

– Все, спать пора, Аксинья, – пресек дальнейшие вопросы муж.

Только что веселый, ласковый, он сразу замыкался, лишь речь заходила о прошлом. Аксинья вспоминала, как они с Федей нашли на

полянке ежика. Он свернулся клубком и так и не показал свою мордочку любопытным детям. Также дыбил иголки Григорий.

Аксинья прижалась к мирно спящему мужу и почувствовала, как на ноги запрыгнуло маленькое существо и радостно замурлыкало. Недавно она забрала у Маланьи двух смолисто-черных котят, баба собиралась их утопить в корыте: «Лишние уже. Куда девать ораву?» Одного котенка она оставила себе, другого – отдала Глафире. Котята подрастали шкодливыми и неугомонными. Уголек так и норовил спать с хозяйкой, кусал пятки недовольного мужа.

* * *

После сбора урожая играли свадьбу Анфисы и ее городского, богатого жениха Лаврентия. Родители невесты, Ермолай с Галиной, нарадоваться на жениха не могли: бесприданную, не больно видную Анфису удалось им пристроить так удачно.

Родители Лаврентия имели две варницы, и единственный сын должен был унаследовать все. Маленькая, пряничная Анфиса забавно смотрелась рядом с худым носатым женихом. Лаврентий высмотрел ее в храме во время рождественской службы, пару раз встретил на базаре, поймал, обхватил длинными руками на весенних игрищах и поставил родителям условие: или она будет женой, или сын холостым останется.

Аксинья радовалась за подругу, но ясно читала на лице ее беспокойство. Решили подруги, что положит Фиса маленький ножичек под постель и, порезавшись в укромном месте, испачкает простыню.

Первый день свадьбу играли в доме жениха, в Соли Камской. Деревенские гости с восторгом оглядывали просторный дом в два этажа, большие амбары с солью. Ермолай налегал на крепкое вино, привезенное с южных, пропитанных солнцем земель, а Галина все не верила своему счастью. Даже бабка Матрена присмирела, не поминала про грешниц и божье проклятие.

Веселясь, кружась в задорном танце с мужем под звуки балалаек и свирелей, Аксинья порой перехватывала тревожный взгляд подруги. Бледная, осунувшаяся, Анфиса каждый миг помнила о своем бесчестии. А гости потешались над невестой: мол, смущается, бедняжка.

Ранним утром, еще до того как запели петухи, трясущаяся Анфиса среди устроенных на ночь гостей нашла Аксинью.

– Не получилось у меня, – рыдала она. – Понял все Лаврентий. Позор мне.

Аксинья вытащила ее из дома в сени, по-городскому просторные, стала успокаивать, гладить по простоволосой голове.

– Аксинья, – выскочил в сени взъерошенный Лаврентий, – выйди.

Она, оставшись у двери, слышала, как сбивчивым шепотом Анфиса рассказала мужу правду, как получила оплеху от разгневанного Лаврентия.

Утром гостям показали доказательство девства молодой супруги, свадьба переместилась в Еловую, к родителям невесты.

Через пару месяцев радостная Анфиса приехала из города в родную деревню. Первым делом побежала к подруге. Муж простил ее прегрешение, и хотя порой прикладывался к ней тяжелой пятерней и обзывал, но любил без памяти.

Аксинья и Григорий, приехав в Соль Камскую, непременно заходили в гости к Анфисе и Лаврентию. Тот косился недовольно на женину подругу, знавшую слишком много. Но хозяином был радушным и гостей привечал чин по чину.

* * *

Аксинья привыкла к своей роли замужней бабы, к хлопотам по хозяйству, пробуждению с первыми петухами, заботой о муже. Перестали быть для нее наказанием и ночи: то ли дело в чудодейственном снадобье с китайской травой, то ли в ней пробуждалась женщина. Теперь и сила его объятий, и укусы, и животная страсть уж не пугали жену, только радовали как доказательство его любви. Муж ее баловал: дарил то бархат, то зеркало, то скрыню – чудную шкатулку с замочками. Она его любила со всем жаром юного сердца.

Тоска по родительскому дому стала уходить в прошлое. Аксинья часто навещала мать, шушукалась с ней в светлице, спрашивая мудрого совета. Уходя, не смотрела уже она с тоской на родителей, брата, печку, где столько в детстве провела ночей, с охотой шла домой к мужу и своему еще немудреному хозяйству.

Ульяна охала и жаловалась подруге:

– Драчливый дитенок у меня в животе сидит. Мальчишка, я так думаю!

Аксинья подставляла ладонь, ощущала толчки и завидовала подруге.

Ульяна с Зайцем жили душа в душу, оба оказались смешливы и неугомонны, подходили друг другу как два сапога пара. Даже раздувшаяся, как шарик, Ульяна для мужа была «цветочком» и «любой».

Анна смотрела, смотрела на Аксинью, в канун Рождества не выдержала и спросила дочь:

– Дочь, ты все с котенком своим возишься... А пора бы уже и о детках думать.

– Так думаем... – смущенно хихикнула, – стараемся!

– И трав ты не пьешь дурных?

– Матушка, ты что? Нет, конечно! Гляжу на Ульяну и мечтаю...

– Наша порода-то плодовитая... Бывает, с одного раза брюхо растет. И я, и мать моя... Может, тонка ты еще... Рано, вот Бог пока и не дает.

В январе, на Крещение Ульяна почувала, что рожает. Глафиру звать отказалась:

– Чтоб ноги ее в моей избе не было!

Потому Анна, Маланья и Аксинья помогали Ульяне разрешиться от бремени. К изумлению опытных баб, дите явно торопилось на свет Божий. К вечеру молодуха родила сына.

– Крепкий, горластый, – шлепнула Анна по заднице младенца.

Аксинья перерезала пуповину. Ульяна стонала:

– Мамочки... Боль какая!

– Бабоньки, у нее в животе кто остался! – вскрикнула Маланья. – Что за диво!

– Двойня у нее! Надо Глафиру звать. Вон Ульянка уже в беспамятстве. Беги, Аксинья!

Глафира не сразу согласилась помочь:

– Что сразу не позвали? Там видно было сразу, что двойня. Ульянка, разобиженная, кланяться не хотела. А зря!

– Баба Глаша, давай скорее. Худо ей!

Глафира сделала все, что могла. Вторым ребенком не хотел тело матери покидать, измучив ее до предела. Ульяна то приходила в себя, успев прошептать: «Прогони знахарку», то вновь теряла сознание. Она уже не кричала, а стонала надрывным голосом.

– Ножками дитя идет, и слабое. Первый все соки материнские высосал, второму не остались. Надо вытягивать ребенка, а то мать помрет.

С ужасом наблюдали бабы за знахаркой, которая по локоть в крови возилась над роженицей. Второй ребенок и правда оказался маленькой, заморенной девчушкой. Она даже не подавала голоса, пока Глафира не перевернула ее верх ногами и не хлопнула хорошенько. Девчушка замыкала, жалостно и тихо.

– Не жилища, – безжалостно постановила она, вытерла руки и поковыляла к своей избе.

Анна долго оставалась с Ульяной, промокала лицо роженицы, поила ее отваром, приготовленным Аксиной. Заяц ходил ни жив ни мертв, переживая за жену и детей.

– Тетя Нюра, как они? Обойдется? – заглядывал он в глаза бабе.

– Хорошо, соколик, обойдется, пожалеет Бог, – обнадеживала Анна и молилась на образа.

Аксинья так устала, будто сама рожала. На рассвете она вернулась домой, упала на лавку и проспала до позднего вечера. Муж тихо трапезничал, и Аксинья была ему благодарна, что не будит он ее, жалеет.

Сонная, сползла она с лавки в одной рубашке и оказалась у мужа на коленях. Усы щекотали ее шею, а руки Гриши уже оказались на груди.

– Кого там подруга твоя родила?

– Двойня у нее, мальчик с девочкой, – тихо ответила Аксинья.

Через пару дней Ульяна пришла себя. Сын задорно кричал и требовал молока, а дочка день ото дня слабела. Александровский священник при крещении нарек мальчика Антоном, девочку – Аглаей:

– Имя моих деда и бабки, – выбрал Георгий Заяц.

Горевать по таявшей Аглаше матери было некогда. Тошка не давал Ульяне ни минуты покоя. Проснувшись в любое время, он истошно орал, пока не оказывался на ее руках. Аксинья и Анна помогали молодой матери со стряпней и стиркой, баюкали Тошку, как родного.

– Какой черноглазый да темненький! И родился с волосами! – восхищалась Анна. – Красавец! – Она тосковала по внукам. Ни один из ее шестерых детей не дал ей счастья понянчить «малую кровинушку», и сын Ульяны заменил ей внуков.

Антошка тихо посапывал в своей зыбке, а мать пела дочке последнюю колыбельную. Прожила раба Божия Аглая две недели и тихо угасла на руках матери, ловящей ее последнее дыхание.

Аксинья помогла Ульяне обмыть маленькое тельце. Слезы капали на синие ручки и ножки, на полотно, спеленавшее Аглаю в последний раз.

– Баю, доченька моя,
Спи спокойно, кроха...

Они уже закончили омовение, но Аксинья медлила. Она хотела сказать подруге какие-то важные слова, утешить ее в неизбывном горе. Но голос ей не повиновался. Ульяна баюкала дочку, и все были лишними в горестном их единении.

– Гриша, так страшно. – Аксинья скинула обувь.

– Горе... Бедная баба. Но на их счастье с Зайцем – сын крепкий растет.

Муж даже в лице поменялся, опечалился из-за смерти Агаши. «Не любит Ульяну, а как сочувствует ей, большое сердце у моего мужа», – с теплотой подумала Аксинья. Этой ночью она крепко прижималась к Григорию, но перед глазами все всплывало синеватое лицо ангела.

3. Плен

Апрельское утро выдалось тихим и безоблачным. Кое-где еще не сошел снег, от земли тянуло холодом. Пригревавшее солнце в очередной раз дарило людям надежду: угрюмая, холодная зима прошла.

Служба в храме затянулась. Отец Михаил, любуясь своим звучным голосом, слаженным пением хора, отдавал все силы утрени. Акси́нья с Григорием с удовольствием подчинились людскому потоку, вынесшему их за резные ворота храма после службы.

Гуляя с мужем по торговым рядам, Акси́нья испытывала особое чувство довольства весной, праздником, собой, Григорием и размеренно текущей жизнью. Бурлила в ней та чарующая беззаботность, что охватывает воробьев солнечным мартовским утром, что гонит сок по стволам отогревающихся деревьев.

Ничто не омрачало ее взор – ни сор у каждой лавчонки, еще не убранный по весне, ни лай собак, ни юродивые, тянущие свои грязные руки к молодой, нарядно одетой паре. Она кидала по полушке в каждую протянутую руку, грязную, изъязвленную, и слышала обычное «Благослови вас, Господь».

Хозяин ювелирной лавки, круглый румяный купец, увидев издалека Акси́нью с Григорием, стал настойчиво зазывать их:

– Зайдите, люди добрые! Нигде вы такого товара не найдете. С самого Великого Устюга ко мне едут! Злато-серебро, лалы, яхонты, смарагды! Все есть!

Поддавшись искушению, они зашли и обомлели. Лавка напоминала сундуки царя из сказки! Акси́нье приглянулось ожерелье, прихотливо извивающиеся листья и цветы с вкраплениями бирюзовых ягодок. Не торгуясь, кузнец заплатил за него немалую цену – гривну – и заботливо застегнул на Акси́ниной шее.

Неподалеку от лавки скопилась толпа. Подойдя ближе, Гриша с Акси́ней увидели, что мужики и бабы окружили парнишку лет десяти с намертво зажатым в руке калачом. Булочник истошно орал:

– Вор, держи вора!

Окруженный толпой воришка от наказания убежать и не пытался. Одет он был скудно, в рванье, на чумазом лице испугом блестели

глаза.

– Ишь, повадился! Не первый раз таскает! – вопил булочник, брызжа слюной.

– Наказать надо вора! Чтоб знал впредь! Заработай да ешь, – раздались крики в толпе.

– Светлое Воскресенье сегодня! Прости Христа ради, – молила молодая женка.

– Всех прощать – разворуют! Ему с пользой будет!

Булочник уже стягивал дырявые порты с парнишки. Чьи-то руки ему помогли, сунули прут, и тот стал с видимым удовольствием охаживать парнишку. Тот на ногах не устоял, упал в весеннюю жижу. Разохотившаяся толпа пихала, пинала сопливого вора.

– Виданное ли дело! Изуверы! – причитала сердобольная, а избивающие вошли в тот раж, когда не помнит уже человек, за что, кого увечит, чувствует только черный азарт и гнев, во много раз усиленный теми же чувствами сопящего рядом соседа. Григорий, с усилием растолкав мужиков, за шкурку поднял парня и утащил. Схватив другой рукой Аксинью, он быстро стал пробираться подальше от толпы, которая обескураженно смотрела ему вслед, будто дети, у которых отобрали игрушку-свистульку.

– Нашли мальчика для битья, – шептал Григорий, и жена не могла узнать в этом шипении его звучно-сладкого голоса.

– Дяденька,пусти, – хныкал мальчишка, не понимавший, куда его тащит грозного вида мужик с пудовыми кулаками.

– Остолоп, он же спас тебя, – говорила Аксинья.

– Спасибо, – пацан крутил патлатой головой, рассматривал волчьим взором спасителей. – Пусти, – буркнул он.

– Я не держу тебя, – Григорий разжал пальцы, и воришка скрылся в узком переулке.

Оксюша видела, что муж думает о чем-то тяжелом и важном для него, хмурится, сжимает кулаки. Не спрашивала, боялась растревожить.

– Даже копейки на калачи не дали бедолаге, – вздохнула Аксинья.

Абдул резво трусил домой, порой кося темным влажным глазом, встряхивал пышной гривой. Чуткий, как верный пес, он улавливал настрой хозяина по одному движению поводьев.

– Давай, жена, с ветерком прокатимся! Что мы тащимся еле-еле! Абдулушка, как в старые времена... Мчи!

Горячего коня не надо было долго просить, он мчался что есть мочи, будто гналась за ним стая чертей! Телега, подпрыгивая на ухабах, жалобно скрипела. Холмы, поросшие хлипким березняком, мелькали перед глазами Аксины. Резкий поворот в верстах двух от Еловой, телега наклонилась, казалось, падение неминуемо... Но опытная рука выровняла телегу, и вороной продолжил свой бег.

Аксинья чувствовала, что на смену сковывающему страху приходит бурный восторг, что кровь быстрее бежит по венам, что хочется кричать во все горло, подставляя лицо упругому ветру. Она так и сделала, и над дорогой раздался ее резкий крик, испугавший стаю воробьев.

– Поняла? Бурлит все, а? – сверкая темными цыганистыми глазами, повернулся Григорий к жене, и что-то неистовое мелькало в его взгляде, в резких движениях рук, в самом повороте плеч.

– Да, Гриша! Шибче давай! – Он в ответ захохотал во все горло, а Абдул все мчал и мчал их по извилистой дороге.

Только перед самой Еловой кузнец утихомирил коня. На лоснящейся шкуре пот проступал хлопьями, бока утомленно вздымались.

– Загнал тебя, золотце, – гладил Гриша гриву вороного, осторожно снимая упряжь. Аксины порой завидовала жеребцу, ее муж ласковыми словами не баловал.

Будто истратив весь свой запал, все веселье, муж вновь стал молчалив и задумчив. «Ох, как разобраться в твоей головушке?» – вздыхала Аксины.

Вечером Григорий за сытным мясным ужином потребовал наливки. Стопку, другую... Он пил так, будто решил уничтожить все припасенное в погребе.

– Да что с тобой? – не выдержав, вскрикнула Аксины. Муж мог выпить, во хмелю был добр и благостен. Но с такой жадностью он никогда не хлебал пойло, не был пьяницей.

– Заглушить хочу... А не выходит, окаянная...

– Что заглушить-то? Скажи, может, легче станет...

– Не станет... Тебе лучше не знать... Ты молодая еще. Хорошо о людях думаешь... Обо мне... Разочарую я тебя.

– Нет, Гриша, что бы я о тебе ни узнала, это любовь мою не уменьшит, не погасит... Не верю я, что ты мог плохое что совершить сам, по выбору своему. А если судьба заставила, это не твой грех, – убеждала жена.

– А ты мудра... Уж не знаю с чего...

– Рассказывай!

– Отрок тот меня напомнил. Напомнил, как меня избивал серб по приказу Абляза-аги...

Григорий

Туманной дымкой застилало Гришин дом, родителей, братьев-сестер.

Помнил он свои ощущения. Вот в руках сочная розовобокая груша. Сок стекает по подбородку. Старшая сестра Вера ругает и тут же хохочет, смешно закатывая глаза.

Помнил шершавые руки отца, когда тот спускал его с телеги.

Помнил, как нравилось ему смотреть в голубое небо, на яркое солнце. Он спорил и всегда выигрывал, мог дольше всех не отводить глаза от южного светила.

Четко, как сменяющиеся картинки на лубке у скоморохов, он запомнил день, когда татары пришли в их деревню. Беш-беш – так называли они грабительские набеги на московитов.

Не звенели колокола на церкви, не кричал никто истошно «Татары идут!». Не успели.

Бешеным вихрем пронеслись всадники в островерхих шапках по деревеньке, снося головы мужикам. Кто-то из обитателей деревни успел схватить топоры, вилы, лопаты... Да без толку. Изверги рубили направо и налево, поджигали бедные домишки. И гортанные громкие крики вспарывали деревенскую улицу.

Татар не интересовал тот жалкий скарб, что можно было найти в избах. Им нужны были люди. Товар. Будущие рабы.

Жалкой кучкой сгрудились деревенские на пяточке, окруженные пылающими развалинами того, чтобы недавно было их домами, их жизнью.

Жизнь закончилась. Началась неволя.

Крепких мужиков, молодых баб и детей лет с семи крымчаки связали веревкой и погнали. Остальных – зарубили на месте.

Иссушенная земля впитывала жизненные соки тех, кто недавно ходил, работал, смеялся. Дети недоуменно косились на кучу рук, ног, голов, окровавленных тел, не в силах принять свершившееся зло.

Гришке тогда не исполнилось и семи лет, он мог оказаться в кровавой куче, высившейся в конце улицы. Там оказались младшая сестра, друзья, соседские мальчишки.

Ему повезло. Предводитель татар, Арслан, мерил по своей здоровенной сабле: выше сабли – живешь, ниже – голову с плеч. Гриша для своих лет был высок и крепок, потому голову сохранил.

Гришка думал, что татар много. А оказалось: всего-то семеро. Пленников много больше.

Зной. Жажда. Ноги заплетаются. Руки опухают от веревок. А татары только орут что-то обидное на своем поганом языке да хлещут плетью. Мол, шагайте быстрее.

Привал днем. Скучная каша. Если повезет – с двумя волоконцами мяса, что отобрали у местных.

Пленники все озирались, надеялись, что будет погоня. Спасут их сородичи, отправит богатый барин за ними людей. Не дождалось. Страшно в степь за татарами идти. Ничего, одной деревенькой больше, одной меньше – не беда. Для барина ущерб невелик.

Путь в Крым был долгим. Из трех с лишним десятков русских довели татары только двадцать. Кто сам помер в пути, троих мужиков зарубили. Смельчаки ночью напали на стражников. Одного мужика татары убили на месте, двоих прибили к столбу. Среди двух мучеников был отец Гриши, подбивший остальных на риск. Надеялись спасти баб и детей. Да Бог оставил милостью своей несчастных рабов.

Мать Гриши – шла, упала, татары потормошили – мертвая. Сестра четырнадцати лет, десятилетний брат брели рядом с Гришей.

Потом стало легче. Жар помягче, трава зеленая, плодов, диких, кислых, с горчинкой, вдоволь. Возле дороги растут – бери да ешь. Язык татарский учился сам собой. Ноги привыкли к дороге. Один из татар, тот самый Арслан, даже подкармливал маленького Гришку. Похож на сына, такой же чернявый, угрюмый и упрямый.

Кафа ошеломила пленников величиной и разноязыким гулом. Татары продали пленников, выручили свой барыш. Русских покормили, помыли, одели, чтобы подороже продать. Мужиков – отдельно, баб – отдельно, детей – отдельно.

Невольничий рынок пестрел: и чернокожие белозубые рабы (Гришка чуть шею не свернул, на чудо гляючи), и смуглые с бронзовым отливом, и русоволосые мужики, бабы, девки, дети ждали покупателя. Кто понурил голову, кто с вызовом смотрел на важных купцов и евнухов, приценивавшихся к живому товару, кто шептал проклятия.

Сестра Вера была хороша, со своими волнами темных волос, точеным носиком, хитрым прищуром кошачьих глаз. Продавец содрал с нее одежду и стал крутить во все стороны, показывая прелести. Гришка отворачивался от того помоста, где показывали его сестру, а глаза все равно возвращались к Вере. Видел, что покупатели жмутся, не дают тех серебряных, что стоила девка. Продавец стал крутить ее сосок, чтобы налился он розовым соком, щипать живот... Гришка закрыл глаза, и слезы полились, как ни крепился малец. Вера пела колыбельные, Вера подтирала сопливый нос... А теперь, раздетая, выставлена на потребу всем... Открыл глаза – и нет ее уже. Не видел он, как увели сестру.

Брата забрал узкий худой носач в зеленом узорчатом кафтане. Ему, как лошади, проверили зубы, пощупали мышцы. Зазвенели монеты, которые худой передал продавцу. Тот с подобострастием кланялся покупателю, видно, влиятельному человеку.

Сам Гриша приглянулся важному купцу с тремя подбородками, хитрыми глазами и манерой беспрестанно шевелить пальцами. Мальчик так и смотрел на эти пухлые пальцы с беспорядочно нанизанными кольцами всю дорогу до каменного дома.

– Абляз-ага, – почтительно поклонился пожилой сухонький привратник.

Купец определил мальчишку в подручные к кузнецу Булату. «Добрый дядька», – сразу решил Гришка и немного воспрянул духом.

– Откуда будешь, карапуз? – русские слова звучали у кузнеца мягко, забавно.

– С Белогородщины.

– Земляк, значит, – залучились радостью узкие, в морщинистых веках глаза кузнеца. – Я с деревеньки под Путивлем. Татары пригнали?

– Да, напали. Кого перебили, кого в плен взяли.

– Бедолага. Ничего, привыкнешь. Я таким же мальком был.

Булат жалел пленника, не загонял его тяжелой работой. Больше учил, как металл отличать, как горн раздувать, как молот верно в руки брать, рассказывал байки про кузнецов.

– А ты... Тоже раб? – осмелился спросить Гриша.

– Нет. Уже нет. – Булат помрачнел. Мальчика мучило любопытство, но он молчал. Затаился со своими вопросами до поры.

Широкий, кряжистый, невысокий ростом, Булат будто врос в пол своей кузни. Коротко стриженные волосы под колпаком, узкие глаза, смуглое лицо – его было не отличить от местных.

Гришку нарядили в татарскую одежду: большие ему шаровары, кольмек – так звалась у крымчаков рубаха, выцветший илит – короткую безрукавку. Определили спать в каморке у кузни. «Шаровары, кольмек, илит, феса», – повторял паренек новые слова, и они перекатывались на его языке, как горошины. Это был чужой, неродной язык, язык поработителей, но Гриша быстро его учил и полюбил странные, так не похожие на русский язык фразы. «Селям алейкум!», «Бугунь ава сыджакъ^[49]», «Аджайип! Пек аджайип!^[50]» – так и сыпал горошинами Гришка.

В каморке пахло раскаленной крицей, зато сохранялось тепло – большего Гришке и не надо. Он натаскал драных одеял и подушек, выделенных ему грозного вида домоправительницей – Азат-ханум. Она смотрела на мальчишку, как на грязь под своими ногами, но тряпок дала в избытке.

Через год Гриша походил на татарчонка: с темными, кудрявыми волосами, облупленным на солнце носом и в новой рубахе с красным кушаком. Бойко болтал по-татарски, по-настоящему прижился в доме Абляза-аги. Возиться в кузнице ему нравилось. Мальчик чувствовал, что это его дело. Какое-то колдовство чудилось ему в том, как холодное невозмутимое железо раскалялось докрасна и принимало любую форму, какую мастер пожелает.

Булат нашел в его глазах верного ученика и между делом рассказал свою историю. Он был чуть старше Гришки, когда татары продали его Абляз-аге. Спокойный, рассудительный паренек пришелся по нраву купцу. А через несколько лет, когда Борис принял ислам, его сделали свободным человеком. Бывший Борис, нынешний Булат, стал кузнецом при огромном доме Абляза. Булат обзавелся симпатичной хохотушкой-

женой, купил маленький глиняный домишко на окраине Кафы и жил припеваючи.

– А как же ты веру Христову променял на магометанство? – не выдержал паренек.

– Вера она одна. Хоть Бог, хоть Аллах, для хорошего человека везде приготовлен рай, для плохого – ад. Если б родичи, односельчане меня нынешнего встретили, стыдили бы, врагом, перебежчиком назвали. А так... Полюбил я Кафу, Крым, благостно тут, дышится сладко. Так что, Гриша, стыда во мне нет. Ни на полушку.

А мальчик силился понять и не мог: отказавшийся от веры отцов – предатель, плохой человек, а Булат на дурного человека был совсем не похож. Где правда?

За долгие часы работы в кузнице Гриша рассказал Булату все свое незатейливое прошлое, как взяли их в плен, как брат с сестрой были проданы на невольничьем рынке.

– Сестра-то красивая?

– Да, – вздохнул мальчик.

– Поди в гареме она, во дворце ублажает бея.

– Бедная Вера...

– Могло быть и хуже... сына родит – будут ее холить и лелеять, а нет – замуж выдадут, – успокаивал Булат.

– А брата купил какой-то худой богач...

– Носатый, важный?

– Да.

Булат промолчал и насупился.

– Что? Скажи, все равно узнаю.

– Это правая рука очень богатого бея, который покупает в основном мальчиков.

– Для чего ему мальчики?

– Развлекается он с ними...

– Как? Играет что ли?

– Играет, а как же? – не стал мальцу говорить правду добрый Булат.

Позже Гриша узнал, как развлекаются некоторые беи с мальчиками. Грех пришел от османов, некоторые находили особую радость в использовании отроков в том деле, для которого самой природой предназначены девки. Гриша пытался не думать, каково живет брату и сестре, отстранял от себя прошлое и родичей.

В доме было много слуг, почти все девки, болгарки, московитянки, грузинки... Они скребли полы, мыли посуду, стирали, готовили и... ублажали хозяина. Все они были юны, не старше двадцати лет, только Азат-ханум и кухарка Латифа-апте красотой и молодостью не отличались. Остальные же рабыни покупались лично хозяином на невольничьем рынке. Кто месяц, кто год, а кто и пять лет девушки служили у купца, а потом пропадали.

Гришка держался от девок в стороне, почему-то их опасался. Пылал он преданной сиротской любовью к Латифе. Круглая, веселая кухарка была немолода, но на ее толстощеком лице сложно было сыскать хоть одну морщину. Мальчуган преданно заглядывал в глаза «бабушки-апте», бросался за любую работу – воду принести, сбегать за пряностями – в доме на привязи его не держали – и добился своего. Кухарка привязалась к нему, как к родному, подкармливала его то пахлавой, то чебуреками. Тайком от хозяина. Гриша, радостно улыбаясь, благодарил:

– Сагъ олуңъыз! Мен чиберек севем!^[51]

– Вот лепечет по-татарски! Будто наш! – восторгалась кухарка и прижимала его к своей объемистой груди. – Вылитый крымчак, чернявый да хитрый. Не Латифу любишь, а стряпню мою, стервец! – Гришка мотал головой и прижимался крепко к кухарке. Обоим доставлял ни с чем не сравнимое удовольствие каждый день повторявшийся разговор.

На сытной еде в купеческом доме Гриша рос быстро. Баранины, чебуреков, харчо его необъятная утроба поглощала немислимое количество. Каждый год шаровары ему приходилось удлинять, иначе длинные крепкие ноги торчали немым укором ворчливой Азат-ханум.

– Окаянный рус, – ворчала она. – Растет, как тесто на жаре. Портов не напасешься.

Уже к тринадцати годам Гриша стал матереть. Худые руки покрылись буграми мускулов, плечи приобрели гордый разворот, под носом стал пробиваться видимый пух.

– Ишь, ранний, – улыбался Булат. – Ты девок наших берегись, а то Абляз живого места не оставит!

– Какие девки? – кривился Гриша. А ночью в своей каморке порой представлял смазливых рабынь и рукой своей делал то, что мечтал получить от девок.

Зимним вечером к Аблязу-аге пожаловала важная гостья в густой парандже. Турчанка, Айше-ханум, вдова влиятельного сановника, держала в кулачке многих людей Кафы. Она имела тайные дела и с хозяином. Грише не было дела до Айше-ханум, он, разгоряченный, таскал в сарай кувшины с маслом и вином, когда взгляд вдовы скользнул по его плечам.

– А это что за раб?

– Московит, Айше-ханум, – кланялся угодливо Абляз и, увидев интерес, предложил: – Подарю тебе его, госпожа... он сильный, кузнецу помогает.

Вдова задумчиво посмотрела на парнишку, поколебалась и согласилась:

– Продавать не надо, а на недельку возьму. Ты же знаешь, Абляз, у меня одни женщины в служанках да евнухи. Домоправительница моя просила мальчишку, что-то починить... мужскую работу переделать в саду. Потом верну, – под покрывалом мелькнула улыбка. – Вечером отправь.

Гришке выдали овечий кафтан и в сопровождении Азат-ханум, как всегда непроницаемой и суровой, он дошел до огромного забора, скрывавшего особняк вдовы.

Всю работу мальчик переделал за два дня и заскучал: «Зачем взяли, если толком делать ничего не надо. Тоска. Скорей бы домой», – думал он, не замечая, что дом хозяина именуется уже своим.

Вечером третьего дня доверенная служанка Айше-ханум повела Гришу в баню, хозяйскую, огромную, вымощенную мрамором, слишком роскошную для обычного раба. Послушно ополоснув тело и промыв непослушные вихры розовой водой, Гриша пошел следом за служанкой. Запихнув его в тускло освещенную комнату, она быстро вышла. Озираясь по сторонам, мальчик различил за резной ширмой силуэт.

– Иди сюда, – позвал его женский властный голос.

Оробев, Гриша обогнул ширму и обнаружил возлежущую на диване хозяйку. Без покрывала, закрывавшего ее лицо, было понятно, что она не стара и хороша какой-то хищной, опасной красотой. Узкое лицо, узкие глаза, пышная грудь, покатые бедра, скорее открытые, чем скрытые тонким одеянием.

– Что стоишь, сядь на пол, – скомандовала Айше. – Курагу, орехи будешь? – кинула горстку, как собачонке. Орехи рассыпались по полу. Гриша собирать не стал.

Выпостав из-под длинного одеяния ноги, Айше заставила парня битых полчаса гладить ее гладкие пятки, тереть, разминать. Шершавые, жесткие руки Гриши недоуменно выполняли непривычную работу.

– Давно у Абляза? – неожиданно остро глянули на Гришу узкие глаза.

– Да, с малолетства.

– Иди, служанка тебя проводит.

Парень вернулся в комнатку, не понимая, зачем ему было поручать то, что могла сделать любая служанка. «Бабские причуды», – решил он. И отчасти был прав.

Овдовев больше десяти лет назад, в самом соку, таки не родив ребенка от дряхлого влиятельного мужа, Айше-ханум томилась. Второй раз замуж она не вышла. Самые влиятельные мужчины Кафы не раз делали попытки объединить силу и могущество с ней. «Второй, третьей женой... не хочу», – капризно думала она. А потом решила, что вообще не отдаст себя в чьи-то руки. Старый муж попил немало ее молодой кровушки, заставлял поднимать его увядшие чресла. Когда жена не справлялась с этой сложной задачей, он хлестал ее кнутом, а утром заискивающе улыбался и заваливал драгоценностями.

Через год Айше стала скучать. Всего в достатке, а чего-то не хватает. Потом поняла – требовало ласки ее еще упругое, изнеженное маслами тело. Иногда она стала рисковать – покупала мальчишку. Нравились ей совсем молодые, с безволосой грудью и пушком над губами... Тешилась с ним и продавала другой хозяйке. Старая служанка шептала: лучше сбросить в воду в завязанном мешке, но Айше было жалко мальчишек. И она верила: ни они, ни их хозяева не отважатся обвинить ее в чем-то греховном. Если бы поймали ее за прелюбодеянием, то просто бы по закону закидали камнями.

На следующий вечер у хозяйки новый каприз. Русский прислужник лизал, гладил ее пятки, ее гладкие смуглые ноги. Одеяние поднималось все выше, и Гриша стал понимать, к чему его ведет приказ хозяйки. Все его естество напряглось от надежды. Когда он дошел до крепких коленей, она внезапно поднялась с ложа, посмотрела ему прямо в глаза

и хищно вонзилась своим языком в его рот. Потом ее рот спустился ниже, лаская его соски, обведенные полукружьями темных волос.

Первый раз хозяйка осталась недовольна рабом. Уже через минуту он безвольно обмяк, недолго бившись в страсти. Второй-третий раз она кричала, расцарапав его спину до кровавых полос, вонзаясь зубами в шею так, что ему даже стало боязно.

С каждой ночью Айше-ханум кричала все громче и громче и будто в наказание все глубже вцеплялась ногтями в плоть мальчишки, стегала его плетью, будто получала удовольствие от его болезненной дрожи. Потом сама же мазала прохладной мазью его раны.

Она продержала его дольше, чем собиралась. Привлек Айше этот раб с телом мальчика и несгибаемым характером взрослого мужа: как она его не унижала, он не просил пощады.

– Собирайся. Завтра возвращаешься к своему хозяину. Рад?

– Нет, – уже не скрываясь, ухмыльнулся Григорий, – там не будет вас и вашей...

– Наглец... Свободен! Подожди-ка!

Повинуясь мимолетному порыву, испытывая благодарность к юному самцу, Айше решила одарить его. Протянула небольшой перстенок с искрящимся камнем.

– Смотри на него и вспоминай меня. Потом на палец девке наденешь, женой ее назовешь. А меня, игры наши вовек не забудешь.

Утром Григорий в сопровождении служанки Айше-ханум вернулся в дом Абляз-аги, с жаром принялся помогать Булату, чувствуя, что в самом деле соскучился по своему спокойному, упорядоченному житью.

Раздувая горн в жаркий день, Гриша скинул рубаху. Увидев отметины, свежие и покрывшиеся заскорузлой розовато-багровой коркой, кузнец присвистнул:

– Плохо ж ты там работал, если тебя так стегали, – и с удивлением перехватил взрослый взгляд мальчика.

– Хорошо я работал, Булат-ага. Так меня хозяйка награждала за хорошую работу.

– Да, видно, баба не в себе... Если мальчишек заманивает... да вытворяет с ними такое.

После Айше-ханум Гриша бежал от девок еще пуще, чем раньше. Теперь казалось ему, что женщина – это что-то грязное, томительное,

обвивающее, как змея, и не оставляющее воздуха.

Все изменилось одним летним вечером, когда, запыленные и усталые, еле перебирая ногами, в дом Абляза пришли две новые рабыни. Гриша и разглядывать их не собирался. Но случайный взгляд, брошенный на одну из девок, ввел его в оторопь. На миг Гриша подумал, что купил хозяин сестру Веру. Потом понял – нет, другая девка, моложе. Похожа болгарка была на диво. А когда имя услышал – Верка, застыл.

Была она ровесницей Гриши, определили ее в помощницы Латифе. Чем больше Гришка приглядывался к Верке, тем меньше видел в ней сестру, тем большим интересом загорались его глаза. Отныне в уютной кухне купеческого дома поселился Гришин соблазн. Лукавый изгиб губ, темные волны волос, маленькие ручки и ножки, пышный стан, мелодичный голос – все напоминало Грише Веру. Только миндалевидные, вытянутые к вискам глубокие темные глаза были не похожи на золотистые глаза сестры. И другим был взгляд – не с нежностью смотрела болгарка Вера на русского мальчишку, а с презрением.

На вопросы его не отвечала, фыркала, глаза отворачивала. Парня сопротивление только разжигало. Смастерив дудочку, он протянул Верке:

– На, играй!

– Нэ. – А на карие глаза навернулись крупные слезы.

Григорий собрал пушистые розы с сотнями острых шипов. До крови искололся в буйных кустах на краю большого сада и предвкушал радость в Веркиных глазах.

Он протянул их девке, а она выбросила цветы. Ойкала, облизнула проколотый палец и убежала. Парень наливался упорством и не оставлял ее в покое. Он не думал об Азат-ханум, вороной кружившей над слугами.

Добиться. Поймать. Сделать своей.

Верку учили служанки – и справедливо: «Ублажай хозяина, старайся на глаза попасть. Будешь обласкана». Послушных, покорных, отличившихся выдавали замуж за подручных Абляз-аги, его должников или бедняков. Строптивых продавали в другие дома, совершивших тяжкий проступок – забивал плетью одноглазый серб. Многие девушки наивно надеялись, что могут остаться в доме

толстопузого купца, стать наложницей, а то и женой, но хитрый мужик пресекал эти попытки на корню. Жена ему нужна не была. Он тешился властью с молодыми девками, не зная в том никаких ограничений, кроме святого месяца Рамазан.

Хотела замуж Вера, хотела свободу получить от хозяина, боялась русского парня с его ищущим горячим взглядом. Но молодая кровь не знает оков разума, бурлит и нарушает все запреты. Месяц спустя в своей каморке Гриша украл то, что принадлежало только хозяину – цветок невинности юной болгарки. Не был он ни нежен, ни ласков. После Айше-ханум его юное тело было испорчено ее жестокостью. Но Вера все равно была рада его молодым объятиям, после жаркой схватки обнимала его лохматую голову, пристраивала к себе на колени и гладила, гладила, а он млел от этой ласки.

Почти каждый вечер болгарка прибегала в Гришино обиталище, тайком выскальзывая из дома. Расположенная вдалеке от комнат других слуг, каморка казалась надежным убежищем. Гриша раздевал Веру и не разрешал ей одеваться до той поры, пока она не покидала его. Парню доставляло удовольствие все время видеть ее юное смуглое тело, ощущать, что она всегда готова принять его дикую страсть. Любовники уже стали задумываться о побеге, изобретали способы, как они выберутся из дома Абляз-аги, как доберутся до Белгорода.

Кто-то из девок – Гриша так и не узнал, кто, иначе бы задушил – донес Азат-ханум. В один особо сладкий момент домоправительница, не получив ответа на громкий призыв «Ачу^[52], Грышка!», повелела двум дюжим слугам снести дверь и увидела пару во всей красе – голую болгарку и мальчика без шаровар.

Преступников связали. Ноги сковал цепями Булат, еле сдерживавший слезы. Любовников заперли в подвале, истекавшем соленой влагой, темном, с попискивавшими мышами. На следующее утро Гришу выволокли в хозяйские покои. Он уже был готов к смерти.

Бледная, растерявшая цветущую прелесть Вера в одной рубашонке лежала на полу, будто неживая. Гриша рванулся к ней, но связанные руки и ноги в оковах не дали сделать и шага, он упал прямо под ноги хозяину.

– Смотри, раб, – насмешливо тряс Абляз-ага тремя подбородками.

Здоровый одноглазый серб снял шаровары и быстро насадил на себя почти бездыханную Веру. Гриша не мог прийти в себя от ужаса.

Маленькую, нежную Веру изнасиловал серб. Придя в себя, она кричала от ужаса, Одноглазый раздирал ее тело, войдя не туда, куда положено милосердной природой.

Вера потеряла сознание, а Одноглазый продолжил пытку. Хозяину наскучило однообразное зрелище, он недовольно окликнул палача. Серб натянул шальвары, взял в руки кнут. Гриша еле сдерживал слезы, кричал и бился от ярости. А хозяин с видимым удовольствием смотрел на это жестокое представление.

– Унесите ее, она готова, – распорядился Абляз-ага. Одноглазый приступил к Грише – кнут, пинки и удары, опять кнут... Парень свернулся клубком, закрыл голову и скоро погрузился в спасительное забвение. Следующим вечером он пришел в себя, почти рассыпаясь на куски от дикой боли. Понял, что лежит в кузне на топчане.

– Я тебя сюда приволок, – склонилось над ним широкое лицо Булата. – Они бросили тебя во дворе, в крови. Я подобрал, перевязал. Жить будешь.

Гриша попытался встать, но нога наливалась мучительным жаром, подламывалась.

– Сломали тебе ногу, долго заживать будет.

– А Вера... С ней что?

– Нет ее, ушла в мир иной. Да сжалится Аллах над ее душой!

Григорий отвернулся к стене и с неделю не разговаривал, погрузившись в свой внутренний ад. На нем все заживало как на собаке, и скоро с помощью смастеренного Булатом костыля он стал скакать по кузне.

– Скоро хозяин увидит тебя, опять будет бить, – предупредил кузнец.

– Мне уже неважно.

– Мне важно! Зря, что ли, спасал тебя? У тебя, парень, один выход.

– Какой?

– Стать мусульманином.

– Не буду я предавать веру свою... умру лучше.

– Дурак ты, Гриша. Говорил я тебе, неважно, как Бога ты зовешь, главное, что у тебя в душе. Ты молодой такой, станешь свободным, вернешься домой, забудешь все.

– Освобожусь?

– Да, ты в неволе больше шести лет, а по нашим законам такого раба должны освободить. Если ты неверный, никому нет дела до того, соблюдает ли хозяин закон. А правоверного никто не посмеет обижать.

– Согласен. Я приму ислам. Неруси проклятые...

Через два дня пришел мулла, хлипкий старичок, большой друг Булата. Он долго беседовал с Григорием, расспрашивал его о жите-бытье. И тот, сам не ожидая, рассказал ему все как на духу – про семью свою, про Айше-ханум, про Веру.

– Иблис, дьявол по-нашему, тебя искушал, вводил в грех. Молись Аллаху, он один тебя спасет, – поучал старик, производя впечатление на парня своей мудростью и терпением.

Три раза Григорий сказал: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его» и стал мусульманином. Теперь он пять раз в день совершал намаз, как и все домочадцы, а первый поход в мечеть стал для него событием – бело-синие расписные стены, огромный купол, стройный минарет...

– Чудеса! – озирался Гриша, думавший почему-то, что у басурман храмы куда хуже православных. Мечеть та стала самым красивым из того, что видел он за свою недолгую жизнь.

Через пару дней лекарь совершил над ним жуткое действие, окончательно превратившее Гришу в правоверного. Не предупреждая, резким движением худой, высокий старик отсек кусок крайней плоти. Парень терпел, стискивал зубы, дав себе зарок не кричать от боли в память о замученной Вере.

Абляза-ага обращению раба своего в магометанство был не рад. Вскоре Григорий услышал долгожданное:

– Выметайся отсюда. Радуйся, что Булат тебе помог, а то сдох бы, как проклятая собака.

У Григория оставалось одно важное дело. Вечером он попрощался с доброй кухаркой и Булатом, в последний раз лег спать в кузнице. С рассветом змеей выскользнул из своей каморки, не скрипнув и половицей.

Серб спал один в небольшой комнатушке, расположенной на отшибе дома. Гриша вонзил нож прямо в здоровый глаз спящего серба. Так ловко, что тот и вскрикнуть не успел. Вытащил нож и полюбовался на кровавое месиво, что было теперь на месте лица серба. Выскользнул из комнатушки.

Он отомстил за Веру. Убить хозяина – мечта, так и оставшаяся неосуществимой. Два верных слуги всегда охраняли Абляза-агу. Попытаться его уничтожить было бы самоубийством.

Пробираясь по узкому коридору, Гришка слышал тихие шаги. Вжавшись в темную, терпко пахнущую стену, он с тревогой всматривался в неспящего и сжимал оружие в твердых руках. Латифа-апте по-стариковски не могла поймать за хвост ускользавший сон и услышала отдаленную возню. Парень выдохнул. Друг. Прижав к губам окровавленный палец, он продолжил свое мышинное перемещение. А старуха вдруг открыла рот и... Шайтан помог Грише, он отправил нож в ее горло раньше, чем громкий крик перебудил весь дом.

Удовлетворив мстительную жажду, он старался забыть предсмертный взгляд Латифы. Закинув за спину холщовый мешок с нехитрым имуществом и заткнув за пазуху кошель с несколькими монетами – надежду на счастливую дорогу! – Гриша похромал из Кафы. Переждал пару дней в ночлежке небольшого городка, расположенного неподалеку, – вдруг будет погоня за убийцей – и продолжил путь. Скоро встретившись с русскими вольноотпущенниками, Григорий долго и верно шел в Московию. В Крыму длинные руки Абляза-аги рано или поздно дотянулись бы до его горла.

Крепостной крестьянин, должен был он явиться к хозяину своему в родную деревню. Менять крымское рабство на русское Гриша не пожелал, ему надо было раствориться на просторах отчей страны.

В Валуйках, первом русском городе на границе с Крымским ханством, он остался надолго. Первым делом в маленькой лавчонке купил бронзовый крестик – свой-то снял, когда отказался от отцовской веры. С тем же чувством, что недавно клал поклоны в сторону Мекки, он молился теперь в небольшой деревянной церквушке на окраине города и только ухмылялся на совет худосочного попа исповедаться.

– Батюшка, ни к чему вам слушать о моих прегрешениях. Я такого у нехристей насмотрелся...

Батюшка попался добрый, терпимый и на все его ухмылки отвечал только тихим вздохом. Гриша привык к крымским блюдам, одеждам, укладу южного города и долго принаравливался к русскому житью-бытью, боролся с крымским мягким говором, быстро улавливаемым местными.

Кузнечное ремесло Григорию пригодилося. Скопив денег, он купил коня. Потратил все серебро, но не жалел. Игривый жеребец южной крови запал Грише в душу. Вороной да кабаки – вот что грело его сердце. За чаркой вина с добрым собеседником он забывал о своем прошлом. Отступало чувство вины перед Верой, Латифой, перед братом и сестрой, оставшимися где-то в Крыму. До утра.

Скоро он открыл для себя еще одну привлекательную сторону кабака – здесь можно было найти непотребную девку на любой вкус. Рыжие, черные, с золотыми косами, мелкие, дородные, молодые, зрелые... Григорий всегда выискивал темноволосых, юных, с пленительными формами и соглашался на любую цену. Молодой, веселый парень нравился девкам, и порой они соглашались провести с ним лишний часик бесплатно. Гульня, на пару лет старше Григория, прозванная Губошлепкой, не раз кувыркалась с ним в комнатах, расположенных на втором этаже кабака. Григорий рассказывал ей больше, чем следовало бы. Лежа после крепких объятий, когда тело его еще горело от всего того, что вытворяла девка своими руками и языком, он выболтал многое: и про детство, и про плен, и про Веру.

Губошлепка со слезами молила забрать ее, увезти куда подальше.

– Буду я тебе женой хорошей. Не захочешь – просто девкой твоей. Не могу я уже тут, опротивело все.

– Ночные утехы как раз по тебе. В этом деле ты хороша, – шлепнул парень девку по мягкому задку. – А жена с тебя... Курам на смех.

Губошлепка, не попрощавшись, ушла. Григорий собрал котомку, пересчитав монеты, вскочил на коня и уехал из города. Звериное нутро его учуяло беду.

Слышал он от одного знающего мужичка, пьянчуги, в прошлом дьяка, что кузнецы на Урале, в Сибири ценятся. На тысячи верст и одного толкового мастера не сыскать. Спустя несколько лет Гриша оказался в Соли Камской. Услышал, что в Еловой деревне есть кузница, а нет мастера, и решил остаться здесь до весны. Переждать морозы – и искать счастье за Камнем.

Нежданная любовь к Аксинье окончила его странствия. Здесь, вдалеке от Белгородчины, он не боялся, что кто-то сможет опознать в крепком кузнеце маленького крепостного из деревни, крымского невольника, басурманина, предавшего веру отцов. Одна отметина

могла выдать его с головой – часть кожи, отсеченная со срамного места.

* * *

Не всё Григорий рассказал жене. И половины было достаточно, чтобы исторгнуть ее стон.

– Бедненький ты мой, что ж Бог тебе послал, какие испытания, – плакала она, гладила по темным кудрям, как когда-то болгарка Вера.

Не один месяц потом думала она об услышанном и вспоминала мудрые слова Глафиры. Действительно, не прост Григорий со своим темным прошлым. Страшная бездна таится в его темных глазах, он познал насилие, страсть, плен, он был жертвой и палачом. «Что мне ждать от мужа моего любимого?» – трепетала Акси́нья.

4. Тряпичная кукла

Теплой томительной ночью, когда пробудившаяся природа шепчет о лете, когда ночные птицы томно щебечут, когда жизнь расцветает, тихо угасла Глафира. Нашла ее Акси́нья через два дня – к своему стыду. На жаре тело знахарки распухло, жирные навозные мухи вокруг вились настойчивым роем. Акси́нья еле сдержалась, чтобы не закричать. Зажала рот рукой и побежала за матерью. Закрывая нос тряпками, еле сдерживая тошноту, обмыли Глафиру бабы, а следующим утром похоронили под проливным дождем. Александровский священник ворчал:

– Ведьму отпевать заставляете.

Но посмотрев на суровую гримасу Акси́ньиного мужа, спорить не решился. Лишь несколько человек провожали Гречанку в последний путь. Вороновы, Акси́нья с мужем, Гермоген, Агаша. Акси́нья через пелену горя успела удивиться: староста не погнушался прийти. Агафья, высокая, неловкая, держалась в сторонке и утирала слезы.

– Спасибо тебе, Гришенька, – обнимала мужа усталая и заплаканная Акси́нья, расплетая промокшие на кладбище косы. – Что бы я без тебя делала?

– Полно тебе. Вытри слезы.

– Жалко мне Глафиру. Столько лет на свете прожила, добро людям делала, а ушла... Одна... И меня рядом не было...

– Все мы умираем в одиночестве.

Кота Глафиры Акси́нья забрала к себе – укутав обвисшее черное тельце в тряпку, она выпустила его в избе, налила молочка и с любопытством смотрела, как присматриваются, принохиваются друг к другу Уголек и Плут.

– Знать не знают, что братцы, – улыбалась она, видя, как хозяин избы загнал гостя на поставец. – Кыш! Идите-ка на улицу.

Кот знахарки так и не ужился с Угольком. Черные клочья шерсти летели во все стороны, и Акси́нья замечала каждый раз новые царапины на носу, продырявленные уши, хромающих и шипящих друг на друга котов. Скоро Плут куда-то пропал, не вернувшись однажды ночью – Акси́нья надеялась, что его мятущаяся кошачья душа нашла приют в какой-нибудь теплом доме подальше от сварливого братца.

* * *

Осенним утром 1600 года Акси́нья проснулась в тихой избе, Гриша уже работал в кузнице, рядом во сне сжимал и разжимал острые когти Уголек. Он заурчал под ласковыми поглаживаниями хозяйки.

– Что не так, котейка? Муж меня любит, в доме порядок и достаток. Одна напасть – два года мужня, а утроба моя пуста.

Кому, как не верной ученице Глафиры было знать, как помочь в такой беде.

Прошедшей зимой пришла бабенка молодая с дальнего села, за городом. Чуть не в петлю лезла – уж пять лет замужня, а детей нет и нет. Уж и муж, науськанный своей матерью, грозил развестись, и деревенские прохода не дают, издеваются, бесплодной кличут.

– Спаси от напасти. Велико зло, когда дети не родятся. Молодая ты, но люди к тебе отправили. Гречанка, мол, померла, а науку свою тебе передала.

«Смешай ложе детинное^[53] с омелой да ромашкой да маткой боровой. А самое важное, – вспоминала Акси́нья, – ночью от мужа не отворачиваться такой бабе да забыть о беде своей».

– Вот тебе смесь да не спрашивай, что в ней. Принимать надобно месяц, после захода солнца, сразу после красных дней. Не поможет – через месяц опять придешь.

Бабенка испуганно закивала, трясущейся рукой взяла мешочек, а Акси́нье и забавно, и трепетно было ощущать, что ее, малолетнюю, слушают, к ней идут со своей бедой.

– Вот, маслица тебе да сыра, Акси́нюшка.

– Будь здорова. Да порадуй скоро доброй вестью.

На Васи́лия Капельника^[54] радостная баба пришла с россыпью монет:

– За труды, матушка, – довольно поглаживала небольшой живот.

– Не надо ничего. Плату в прошлый раз ты всю отдала, – отмахнулась молодая знахарка. – Роди крепкого ребенка, и другой награды мне не надо.

Акси́нье ни ложе детинное, ни ромашка, ни подорожник, ни десятки других снадобий вожденную тягость не приносили. Муж молчал. Акси́нья понимала: Гриша хочет, чтоб было у них все как у людей. Она заглаживала вину свою, ночами была ласкова и уступчива,

днем носилась от печки к столу, кормя кузнеца все новыми и новыми разносолами.

* * *

В феврале 1602 года затеял Григорий стоящее дело – свою баню решил ставить.

– Несподручно к родителям твоим, к соседям бегать на помывку.

Старую баню бывший хозяин кузни Пров разобрал, а новую строить так и не сподобился. Вся деревня подсобляла Ветру деревья рубить и на лошадях перетаскивать к будущему срубу. Еловые стволы на прочных подложках вылежались, налились крепостью, и летом закипела работа. Сруб сложили, бревна закинули а дальше уже Василий и Федор помогали. Тесть работал с неохотой, не грела мысль, что для дочери своей баню строит, спина старая болела... И сам вид чернявого, уверенного зятя раздражал Василия до крайности – ничего он с собой поделать не мог. Федька, напротив, работал с удовольствием, мурлыкал себе что-то под нос, порой переговаривался с Григорием и подмигивал сестре, не отходящей от мужиков.

– Кваску принеси-ка попить, – и она бежала со всех ног, подбирая длинный подол сарафана. Протягивала холодный кувшин, покрывшийся капельками пота на ярком солнце.

Ей приятно было смотреть на ловкого сильного мужа, уверенно стоящего на скате бани, радовало, что брат так свободно с ним держится. Федор Григория принял сразу, проникся к нему уважением, смотрел восторженно, внимал каждому слову.

Федька Ворон порой приходил в кузницу по пустячному предлогу, наблюдал за Григорием и его подручным, порой сам вставал к горну. Акси́нья видела, что брат мешает кузнецу, отвлекает его от важной, срочной работы, но Гриша никогда не отмахивался от него, уважительно относился к Федору, рассказывал ему свои байки, порой внимательно слушал его несвязные рассказы. За это Акси́нья любила его будто еще больше, чувствуя, что телесная страсть становится иным, глубоким чувством уважения к такому непростому Григорию Ветру.

Баня удалась на славу. Сделали ее на бревно повыше, чем было принято – больно высок ростом хозяин. Свежесрубленные лавки, полк сосновый, стены бревенчатые, утепленные высушенным мхом,

на окнах резные наличники. Федор старался для любимой сестры, и хотя наличники вышли неумелыми, неровными, но были милы Аксинье; печка большая, чтобы жару хватало и в студеную зиму.

– Сделал басурманин себе мыльню, и слава богу, – ворчал Василий, а Аксинья испуганно вскидывала взгляд на отца. Зря Григорий пошел с ним в баню. Зря. Но такое не утаишь.

– Отец!

– Да что ты, дочка, никому не скажу! Тебя мне жалко... Ээээх! Выбрала...

На исходе лета, первый раз полощась в свежей, пахнущей смолой бане, Аксинья почувала – голова кружится. Села на лавку, отдышалась. Земля крутится, ноги подгибаются. Набравшись сил, крикнула мужа – дотащил ее до избы, уложил на лавку и тревожно сел рядом.

– Что такое? Заболела?

– Нет, здорова я!

– Что случилось-то, говори толком!

– То и случилось, – улыбалась шальными глазами Аксинья. – Понесла, видно, я!

– Ах ты, краса моя! – подхватил ее на руки муж.

* * *

Это была первая весна, не наполнявшая ее кошачьей радостью. Первая весна, когда не хотелось бродить по лесу, вдыхать запах сырости и пробуждающейся жизни. Смотрела она на статного красивого мужа, и сердце не отзывалось бурным стуком, не хотелось прижаться губами к его высокому лбу, провести рукой по крепкой груди... Ничего не хотелось.

Каждый день ничем не отличался от другого: Аксинья вставала, крестилась на образа, про себя повторяя «Отче наш», сооружала мужу завтрак, убирала избы, приветствовала Фимку, кормила поросят и телочку, птиц, готовила, скребла, стирала... Раньше все это было наполнено радостью и смыслом, теперь – пусто и безрадостно. Одно хорошо – суета помогала ей уйти от мыслей, долбящих ее с силой и грохотом молота Григория. Каждый день: «Он бы улыбался. Он бы пошел».

Каждый день вспоминала она радость мужа, узнавшего про ребенка, свою силу и ловкость, которой налилось вдруг все тело,

ликование родителей: «Наконец-то!»

Развязка наступила быстро. Пошла Акси́нья кормить поросят, легко несла тяжелый ушат с едой, гладила розовые ушки довольно похрюкивавших чушек. Вышла из сараюшки и почувяла, что низ живота наполнился тревожной болью.

Заскочивший в избу Ефимка нашел Акси́нью в луже крови. Бледный, напуганный, он побежал за Григорием в кузню.

– Почему ж не береглась? Знаешь, надо осторожной быть, – вздыхала мать. А сама понимала: не угадаешь, не предусмотрешь всего. Тяжкая работа каждый божий день, и ни конца ей ни края.

– Не дает Бог нам детей, Гриша. Чем мы прогневали его, не знаю, – с отстраненным лицом шептала Акси́нья и целые вечера теперь проводила перед иконами.

Феклуша, мать рыжего Фимки, муки молодой соседки не понимала.

– Оксюшка, чего горевать? Бог дал, Бог взял. Ты и в руках ребеночка не держала. А мне каково пришлось – пятерых дочек схоронила.

– Зато три сына у тебя осталось. Грех жаловаться.

– Ироды сыночки мои, ни дня покоя. И у тебя будут, не разводи сырость.

Ловкая, сноровистая, Фёкла всю жизнь прожила в нищете: муж ее Макар не стенкой был прочной, а сгнившей изгородью. К Акси́нье и Григорию питала Феклуша особую благодарность за среднего своего сына и, казалось, взялась опекать молодую жену кузнеца.

Акси́нье жизнь приготовила новое испытание. На Рождество все собрались за столом у Вороновых: и Акси́нья с Гришей, и Ульяна с Зайцем. Пополневшая, покрывшаяся пятнами темной ржавчины, Рыжик с гордостью несла живот. Будто нарочно, она сияла улыбкой, тетешкалась с Тошкой и объявила, что, если дочка родится, назовет Анной, сына – Василием.

– Вы же мне как родители, – нежно говорила она.

Родители Акси́ньи растроганно улыбались, Анна утирала наворачнувшуюся слезу, жалостливо скашивала глаза на смурную дочь. Не смогла Акси́нья долго просидеть за родительским столом, засобиравшись домой. В своей избе ей было спокойнее – не надо было

ловить на себе сочувствующие взгляды, смотреть на пышущую здоровьем подругу.

– Будто дразнит она меня... Мстит за что-то. Но чиста я перед ней. Все у нее сложилось, – не сдержала мыслей Акси́нья.

– Брось ты, довольная она, ладом жизнь идет, – проронил Григорий. – Сияет вся, ребенка ждет. Надумываешь себе.

– А у нас, значит, не ладно, – вскипела Акси́нья. Муж ее успокаивал, но в тот вечер она поняла – в их семье завелась червоточина, которая будет разъедать и разъедать, а когда-нибудь аукнется чем-то серьезным и страшным.

* * *

Ульяна родила девчущку в марте 1603 года. Акси́нья отговорила недомоганием и подруге помогать не пошла. Принимали роды Анна с соседками. Нюрка, румяная и толстощекая, довольно попискивала в колыбели. Акси́нья пришла проведать подругу, поглядеть на младенца, но не поддавалась на уговоры Ульянки, отказалась назваться крестной матерью девочки. Ею с радостью согласилась стать Анна.

Акси́нья избегала старую подругу. Чувствовала, что неправильно это, нехорошо... Но пересилить себя не могла.

1603 год стал страшным испытанием не только для Акси́ньи, но и для всей Московии. Весна выдалась холодная, как никогда, сеяли под снег. Дождь лил не переставая, губил посевы в Смоленщине, в Белгороде, Воронеже, Чернигове – по всей России выдался страшный неурожай. Хлеба сгнивали на корню, и убирать было нечего. Скотина ходила голодная, с обвисшими боками, к зиме крестьяне подъели запасы, и начался голод. Такого горя Русь не знала давно, привыкнув к сытной жизни – хлеба, каши и пареной репы у крестьян и горожан всегда было вдоволь. К концу года тысячи умерших от голода отправлялись на кладбища.

В Соли Камской передавали слухи, что всех кошек-собак уже по городам съели, матери стали есть младенцев, что всяк человек, упавший без дыханья в Москве, Туле, Коломне, рискует быть съеденным. Толпы крестьян шли в Москву, иные города, чтобы умереть там. Человеческое мясо, мелко нарубленное, запеченное в пирогах, продавалось на рынках. Люди, подобно скоту, жрали траву,

сено, некоторые ели навоз, испражнения. Да так и помирали, недолго валялись на улицах, растащенные голодными.

Пошли по всей земле шепотки, что наказание это за несправедность царя Бориса – царя чужого, Ирода, погубившего младенца Дмитрия^[55], и бояр Романовых. Говорили, что пока Борис будет на троне московском, не оставят напасти землю русскую, как казни египетские, они будут опустошать ее, пока не останется сто самых праведных людей. И выживут они, и построят новое царство, справедливое. Всякое говорили люди в великом страхе, ибо ничего не может быть ужаснее голодной смерти.

И Пермь с Уралом затянула потуже пояса. По велению Годунова подводы с зерном шли в столицу. Они увязали на раскисших дорогах, их грабили лихие люди, коих развелось великое множество. Бояре и дворяне не могли прокормить дворовых, отпускали их восвояси, а те разбойничали, бесчинствовали, резали людей.

Царь-голод помиловал земли перед Камень-горами. Не была богата урожаями пшеницы земля их, но рожь-ячмень исправно родились на глинистых почвах, леса и реки были полны зверя и рыбы. И еловчане каждый день возносили благодарственные молитвы Богу, уберегшему их от великой беды.

* * *

Любимый Тошка прибежал, болтал, пряча под лавку грязные ноги, и никогда не уходил без гостинца.

– А вот цыпки, смотри, какие! – показывал он запаршивленные пятки Аксинье. Та мазала их простоквашей, наматывала тряпицу, но сорванец не мог усидеть долго на одном месте, стаскивал тряпки и убегал, оставляя на половицах белые следы. Про сестренку он, занятый своими мальчишескими делами, не рассказывал, а Аксинья и рада была – как нож в сердце ей было любое слово об Ульяниной дочке. Чуткая Анна, заметив это, совсем перестала говорить о быстро растущей крестнице – берегла дочь.

Мартовским утром 1604 года Ульяна нежданно выросла на пороге избы, притащила с собой девчущку, замотанную в тулуп. Стащив теплую одежду, она оставила рыжеволосую дочку в одной рубашке.

– Приглядишь? Некого попросить, родители твои в город подались, а на моих мужиков разве есть надежда...

Аксинья боролась с собой, хотелось ей крикнуть: «Уноси! Уноси ее! Разве не понятно? Тяжко мне!»

Сдержалась. Взяла младшую рыжуху на руках, вдыхая запах меда и молока.

Нюра не отставала от Уголька, вцепилась, как клещ, в его хвост. Кот терпел, поводил недовольно черными ушами, но девчущку не царапал.

– Ты ж зачем мучаешь его? Больно коту, – поучала Нюру Аксинья, а та щурила на нее свои голубые глазенки и лопотала что-то на непонятном языке. День пролетел быстро, Аксинья, расставаясь с Нюркой, поняла, что успела привязаться к девчущке.

С того момента Аксинья будто проснулась ото сна, потихоньку становилась похожей на себя прежнюю. Вечером вернувшийся из кузницы муж рассказывал, что Аграфена, одна из александровских баб, ныла слезно:

– Почини ты котелок.

– Выкинуть пора его: дыра на дыре! – отвечал Гришка.

А баба ему:

– Дочке младшей в приданое.

Звонко расхохоталась Аксинья:

– Тетка эта всегда жадная была, но тут себя переплюнула.

– Аксинья! – схватил ее в охапку Гришка и безо всяких вступлений потащил на лавку. Там, даже не успев толком задрать сарафан, повернув жену к бревенчатой стене, он с мощью быка овладел ею. Грубо стискивая грудь, больно проводя по ягодицам, он чувял, как она звериным нутром откликается ему. В хриплом крике ее чувствовалась не просто страсть, а жажда забвения и ярость на судьбу.

* * *

Ничего Аксинья не замечала: и голова не кружилась, и чувствовала она себя хорошо. Но в бане провела рукой по чуть набухшему животу, темнеющим соскам, вдруг вспомнила что-то, посчитала, прислушалась к себе и поняла: пропустила она, стыдобушка, такое пропустила!

Здесь уж берегла себя истово, как деревенской бабе не пристало. Уже согнувшаяся, постаревшая мать ходила за ней, как за малой, Ефим ведра таскал, всю тяжелую работу взял на себя. И чувствовала уже

Аксинья, что хорошо все будет, сердце радовалось, предвкушая долгожданное чудо.

Меньше двух месяцев оставалось до рождения ребенка, и Аксинья была рада приходу матери и подруги. Ульяна с Анной во двор пошли, белье вешали на осеннем мягком морозце, а девчушка в избе с Аксиньей осталась. Непоседливая дочка Ульяны, страшная непоседа и озорница, пошла в мать. «Батя говорил, я такая же пакостная была, прям мальчишка», – хвалилась Ульяна. Нюра не боялась ничего и никого, смело лезла к любимым собакам, и печка, дышащая жаром, не пугала девчушку.

Гоняясь за котом, Ульянкина дочка опрокинула горшок с горячей похлебкой прямо себе на голову. Аксинья рванулась к ней, стала с криками вытирать, обмывать холодной водой. Видно, резко она наклонилась, неловко повернулась. К вечеру огненный кол вонзился в ее спину, перекинулся на живот...

Два дня она исходила криком в мыльне, пока солекамская знахарка не вытащила из нее тельце, которое могло стать их с Гришей сыном. После похорон Аксинья, еще молодая совсем девка, почернела, ввалились глаза, появилась складка у рта. Что с ней делать, как помочь – никто из родных не знал. Решили, что только время вылечит, смирит с потерей, вернет озорницу.

Двухлетняя Нюрка отделилась малым. Под рыжими волосами кожа покраснела, лезли волосы. Кроха орала истошно всю ночь напролет. Но скоро ее боль ушла. Аксиньина мука лишь начиналась.

* * *

С травами было легче, чем с людьми. Они не задавали ей глупых вопросов, не давали советов, не жалели. Они просто тянулись к солнцу, зелеными упругими ростками пробивая землю, цвели пышно и пахуче назло холодам и ветрам. И даже мертвые, сорванные и засушенные заботливой рукой, они жили, наполняя избу ароматом летнего луга. Истолченные, залитые кипятком, перемешанные с жиром, они давали исцеление и жизнь людям, тем людям, которые жестоко втоптывали их в грязь, совсем не заботясь о тонких зеленых листочках. Аксинья любовалась и ярко-рыжими буйными лилиями, и розовым высоким кипреем, засыпающим в конце липеня все белым пухом, и желтой чешуйчатой мать-и-мачехой. Всякая целебная трава

сушилась в ее избе, и каждая ждала своего часа, того момента, когда постучится в дверь напуганная мать, жена, сестра и забьется в крике:

– Помоги! Вылечи! Спаси!

Муж раньше уважительно относился к знаниям Аксиньи в целебном деле, шутя звал ее «моя ведунья». Теперь ревновать стал к травам и корешкам. И неспроста. Всю весну и лето с утра уходила она в лес и возвращалась под вечер – в печке томилась еда для мужа, приготовленная спозаранку. Сама Аксинья ела мало, только по необходимости, и под глазами ее залегли тени.

Осень-воровка вновь лишила ее ребенка, утащила самую надежду на родное дитя.

Григорий пытался разбудить в ней былой пыл, нежил, ласкал, возил в город, покупал ткани и кольца. Она становилась прежней, мерила украшения, смеялась, но хватало ее ненадолго. Скоро она уходила мыслями куда-то далеко, и мужу не было туда доступа.

Григорий начал злиться. Его ночная страсть натыкалась на ее холодность и отстраненность. Однажды он в сердцах упрекнул:

– С тобой будто с куклой тряпичной, ни живинки! Я так не могу, – и ушел в ночь.

Вернувшись утром, он молча разделся и ни слова не говоря лег в сени. Жена даже не спросила, где был, что делал. Не ревновала, не кричала, не ревела. Не раз и не два Григорий приходил под утро, а жена по-прежнему молчала.

Анна не выдержала:

– Нельзя так, Аксиньюшка, надо мужа уважать и обихаживать. А то подберет кто. Баб-то много. Ходишь как замороженная.

– Не могу я, матушка... Что со мной? Холод в сердце...

– Смотри, дочка... Не хотела тебе говорить, берегла. Да зря, видать. Ходят слухи, что Гриша твой за лаской к Марфе бегаёт. Давно она вокруг него вилась, подолом трясла. Добилась своего. Ты, малахольная, без мужика останешься! Не выходит с детьми – поласковой с мужем будь. Нельзя так.

Слова матери, будто ушат с ледяной водой, подействовали на Аксинью. «Без Гриши засохну с тоски, куда я без него. Он один мое будущее, моя радость и мой свет».

Весь день колдовала Аксинья над пирогами – вышли они пышные на славу. Тесто будто почуяло, что вернулась душа к хозяйке,

поднялось, пышное, живое, поползло из миски.

Настой из мяты и душицы заварила, чтобы в бане дух стоял приятный. Новый сарафан из ткани заморской, дорогой надела, бусы жемчужные в три ряда. Села ждать мужа. Долго ждала, уже смеркалось, когда Григорий, весь черный, чумазый, согнувшись в три погибели, зашел в избу.

– Праздник какой? – за обе щеки уминая рыбу, пареные овощи и пироги, с набитым ртом вопрошал он у загадочно улыбающейся жены.

– Да, Гришенька, праздник у нас.

– Для Троицы поздно, для Спаса рано... Сама нарядилась, яствами весь стол устала...

– Ешь, муж мой яхонтовый, ешь. Я и баньку затопила... Все честь по чести...

Еле отдышавшись после еды, муж отправился в баню.

Она пошла следом, сбросила всю одежду в предбаннике и помедлила минуту.

– Ты? Удивила, жена. – Григорий охаживал плечи березовыми ветками.

– Дай попарю я тебя, сокол мой. – Акси́нья выхватила веник у мужа.

Она вложила всю свою злость, все свое возмущение неверным мужем и хлестала его веником так, что привычный к бане мужик завопил:

– Ты что? Акси́нья!

Налегая веником, уж потерявшим часть листвы, на те места, которые вершили непотребный грех с Марфой, Акси́нья не выдержала:

– Русалок ты ждал? Или Марфу-полубовницу?

– Марфу? Ты про что говоришь?

– Кто ночами с ней кувыркается! Да как ты мог, черт окаянный!

– С Марфой? С коровой лупоглазой? На черта она мне сдалась! У меня жена есть! – Муж так искренне протестовал, что Акси́нья стала остывать.

– Сейчас кипятком оболью! Правду говори, где был?

– Ох, злая у меня жена!

– Говори! – с ковшиком Акси́нья стояла над Григорием.

– Был раз у Марфы в избе! Не обливай! Девки да парни дурью маялись. Сам не знаю, чего пошел. Скажу правду – не поверишь. На

берег я ходил. В то место, где закрутилось все у нас. Шалашик там соорудил, ночи-то теплые, спи не хочу. Там и дышится легче.

– Один? На берегу?

– Да. Думал я, почему у нас неладно складывается? Почему я как чужой для тебя?

– Чужой... Да нет же, ты мой, родной.

– А смотришь так, будто сквозь меня. Не замечаешь. Я ж человек живой...

– Прости меня. Напала тоска на меня я, никак из нее вылезти не могу...

– Вот сейчас и начнем, – схватил жену за потерявшее округлость бедро.

Разгоряченные, с мокрыми волосами и шальным блеском в глазах, они почуяли, что страсть к ним возвращается, что через все беды должны они пронести то, что связывает их крепким-крепким узлом.

Прижав к себе жену, Григорий стал подминать привычное тело под себя, покачнулся – и оба, потеряв равновесие, повалились к стене. Баня, как искони было принято на Руси, топилась по-черному, стены и потолок покрывал слой сажи, который после каждой топки смахивали... Стоило печку затопить – и все по-прежнему. Акси́нья с Григорием вымазались в саже и долго хохотали, глядя друг на друга.

– Ишь, смеется тут, – провел грязной рукой Григорий по лицу жены, оставив черные полосы.

– Ты как чертенок! – озорно засмеялась Акси́нья, оставив отметины на груди мужа.

– А ты моя подручная! Скоро будешь такой же черной, как я, – опять прижал к себе жену Григорий.

– Побежали до речки! В бане мы долго отмывать это будем, сколько воды изведем. Спят ведь все, – нежданно предложила Акси́нья.

В наспех накинутых рубахах, взявшись за руки, хихикая, как малые дети, они побежали к Усолке. Прохладная вода пахла водорослями, мягко приняла их в свои объятия, ласково качала, как мать в колыбели, смывала все горести и печали. Долго барахтались они в воде, Акси́нья громко визжала, когда Григорий внезапно пропал и, как водяной, тащил ее вглубь, крепко прижимал к себе. Плохо спавшая бабка Матрена ворочалась и пугливо ворчала:

– Кто там в темноте в речке кричит да плещется? Не иначе нечисть игрища устроила.

Той ночью Аксинья долго не могла заснуть, все тело сладко ныло после крепких объятий мужа, он будто решил доказать, что другая ему не надобна. При дрожащем свете непотушенной лучины она смотрела на темные ресницы Григория, чуть подрагивавшие во сне, и трепетала при мысли, что могла она его потерять.

– Ты один у меня есть. Если Бог решил, что не даст мне твое продолжение, так тому и быть, я смиренно выполню его волю.

* * *

По старой, еще девической привычке Аксинья часто звала с собой Федора, отправляясь в лес за травами. В этот жаркий летний день она быстро шла по знакомой тропе, обмениваясь ленивым словом с братом. Не задумываясь, добралась до сокровенного местечка на берегу. Не удержалась от искуса, обшарила все заросли – никакого шалаша не обнаружила, даже ветки не были примяты. По дороге сестра с братом болтали о родителях, Аксиньином муже, житье-бытье, и она решилась задать вопрос, мучивший ее не один год:

– Федя, а ты про Марию вспоминаешь?

– Да... Как не вспоминать. – Видно было, что больно ему говорить. Когда сын окреп, снялись с места Матвей с Марией и детьми, уплатили выходное старосте и уехали неизвестно куда. Оно и правильно, в другом краю никто даже полслова не мог бы сказать худого про их семью. Начали все заново. С той поры ни слуху, ни духу от них не было. Как там сын его, жив ли, Федя не знал.

– А ты не думал... Есть девки, с соседних деревень, что с радостью за тебя пойдут. Ты парень видный.

– Нет, не нужны они мне. Я им тем более не нужен... Юродивый...

– Так хоть выяснил бы, сватов бы заслал. Тебе самое время... – Аксинья знала, что родители с сыном даже боятся речь заводить о свадьбе.

– Не нужны мне девки... Пакость... Дурачком все считают меня...

– Для Марии не был дураком. Вам просто не повезло, что мужня она была... Не Матвей бы...

– Нет, не потому. – Федя не выдержал, открыл сестре обиду, наболевшую гнойным чирьем. – Сказала она, что зря со мной... По

глупости... Жалела она...

Ему легко было говорить о наболевшем сестре теперь, когда она замуж вышла, взрослой стала, сама испытала удары судьбы. В ее грустном взгляде он искал исцеления.

– Ты что, Феденька, нарочно она это сказала...

– Зачем? – удивленно вытаращил глаза брат.

– Право слово, дурачок! – не думая, выпалила Аксинья и осеклась. – Чтоб ты отстал, не лез в их семью. Что еще ей было делать? Без прощения мужа была бы она бабой пропащей. Ужель не понимаешь! А тебя любила она, точно знаю!

– Откуда?

– Иначе бы такая основательная женка на грех не пошла!

Брат молчал до самой деревни, только чихал порой от буйной пылицы, сыпавшейся с перекинутых через плечо тюков с травами. Сестра понимала: его: медленная, тугодумная голова обмозговывает все то, что она сегодня ему сказала.

«Господи, дай брату моему счастье изведать». – Аксинья тревожилась о Федоре. А может, молитвой пыталась унять тревогу, что поселилась в самой в глубине сердца: «Соврал муж и не поморщился».

5. Надежда

Аксинья скучала по Григорию – видела его лишь поздней ночью, усталого, чумного. Он закидывал в себя еду, валился кулем на лавку, размазывал по тюфяку копоть. Григорий прославился на всю округу – со всех окрестных деревень ехал народ, прознавший про «златорукого» кузнеца. И пожинал плоды.

– Поехали, дочка, до города. По старой памяти, – позвал Василий погожим летним днем Оксюшу. Она с радостью согласилась.

Василий Ворон любил такие поездки. Он мог остаться с дочкой, представить, будто Аксинья все та же востроглазая хохотушка, девчушка, с охотой болтавшая с отцом, с уважением внимающая каждому его слову.

«И правда, с лица мало поменялась. Будто девка, – думал отец, бросая взгляды на замужнюю дочь. – Только еще краше стала. А повадка другая. Взрослая теперь, хозяйка».

Оправившись после всех своих огорчений, махнув рукой на свою бездетность, научившись заново радоваться миру, Аксинья вновь стала свежей и юной, исчезли тени под глазами, фигура налилась упругостью, голос стал глубже и нежнее. Любовь мужа, которую она чувствовала каждый день, наполняла ее уверенностью и озорством. Повойник^[56] замужней бабы, вышитый жемчугом, шел ее румяному лицу с то и дело пробегавшей тенью улыбки, когда смотрела она на отца, поседевшего, но уверенно державшего поводья.

На базаре, прицениваясь к большому кованому сундуку, Аксинья случайно услышала разговор двух баб – одна ровесница ей, вторая постарше.

– Слышала, Нинка-то родила, второго уже. Не зря я говорила ей про святую. Да благословит ее Бог.

– Чудо чудное! Как баба мучилась! Муженек-то ее, болтали, уже новую женушку присматривал, безбожник...

– Закон разрешает... Не приведи Бог!

– Истинно благостная отшельница. И слепые к ней, и калеки, и детишек матери несут! Всех благословляет, всем надежду дает. – Аксинья почти не слышала разговор удалявшихся от нее баб. Решилась она, помчалась вслед, расталкивая зевак.

Поклонившись старшей, Акси́нья обратилась со всем уважением:

– Здравствуй, матушка, ты прости, что отвлекаю тебя. Скажи ты мне, пожалуйста, о ком речь свою ведете? Что за отшельница?

– Здравствуй, девица. Феодосией ее зовут, в скиту пустынном живет, людей исцеляет молитвами своими.

– И где найти ее?

– Ох, милая! – с подозрением ощупала маленькими глазками. – Для чего тебе?

– Дитя не могу родить, как Нина, о которой вы речи вели.

– И муж отказаться хочет от тебя? – с видимым любопытством уставились на нее обе женщины.

– Не в том дело. Я без дитя измучилась.

– Тогда запоминай, молодича. Живет Феодосия в сорока верстах от Соли Камской. Деревня Пустоболотово, а там идти в лес по тропке узкой, ключ чудотворный и обитель ее. Местные все знают.

– Слушай, – вступила в разговор молодая, – ты церковку малую, недавно выстроенную, на окраине города знаешь?

– Нет, ни разу не была.

– Вот туда сходи. У отца Александра спросишь, он тебе все расскажет.

* * *

Сарафан темного, неотбеленного льна, темный же платок, узелок в руке, босые ноги, уже покрытые пылью... С утра Акси́нья и еще шестеро баб отправились в путь. Родители и особенно муж Акси́нью отговаривали, стращали лихими людьми, грязью, неведомыми местами.

– Хоть до Пустоболотова на телеге довезем, – в один голос предлагали они.

– Пешком надо, – Акси́нья не поддавалась уговорам, твердо решив использовать последнюю возможность.

Ясное голубое небо без единого облачка обещало жару. Лето перевалило за середину, но дни стояли пригожие, пахнущие спелой малиной и смородиной. Дорога вилась от Соли Камской затейливой змейкой, то взбираясь в горку, то падая вниз и облепляя ноги влажной глиной в распадке. Идти приходилось медленно – не все страждущие были столь молодыми и быстрыми, как Акси́нья.

Старшая из женщин, Клавдия, угрюмая старуха с крупными кулаками, страдала неведомой хворью, скручивавшей все внутренности. Быстро идти она не могла, порой садилась и постанывала в тенечке, но никому не жаловалась и первой ни с кем не заговаривала.

У конопатой круглой Ольги дочка с рождения ничего не слышала, не говорила, а мычала и гукала. Белесая Ксения то тащила на руках, то спускала на землю парнишку лет трех – ноги его были непомерно коротки, слабы и уродливы. Мавра, баба исполинского роста, горбатая и неожиданно приятная лицом, шла с той же бедой, что и у Аксиньи – уже пять лет не могла понести.

«Даже не скидывала ни разу, некого было, – сокрушалась она громовым голосом, который подошёл бы богатырю. А Аксинья вздыхала про себя: «Невелико счастье, на себе испытано. Может, и похуже, чем вообще не рожать, – так близко счастье, и нет его, одна пустота в руках вместо орущего свертка».

Ирина, баба лет сорока, с широким невыразительным лицом, коренастой фигурой, шла к Феодосии в надежде исцелить свою бесполезную руку. «Уж лет пять как после приступа ничего делать ей не могу, висит как плеть. А у меня муж, дети, хозяйство. Научилась я левой рукой все делать, а муж все ж ворчит», – жаловалась она.

Аксинья сразу выделила взглядом девку чуть помладше, мелкую, с затравленным взглядом, серо-русскими девичьими косами и уродливым пятном на все лицо. Говорила она тихо, почти не слышно, громких голосов боялась и вздрагивала от любой малости. «Как мышка, ей-богу», – думала Аксинья и потихоньку подстраивала свой шаг под «мышку» с благостным именем София. Дорога кажется короче, когда есть с кем поговорить, о чем рассказать. Как это часто бывает, бабы быстро перезнакомились и завели беседу, порой прерывающуюся ненадолго, но вскоре вновь журчавшую, словно водный поток.

– Правда говорят про Феодосию, что всем она помогает? – завела разговор Ксения.

– Слыхали да, – бодро ответствовала Мавра. – Говорят, чудеса творит.

– Откуда ж у нее такой дар? – робко спросила Мышка.

– Божья милость.

– Бают, много в девичестве перенесла целительница, – неохотно сказала Клавдия.

– Что перенесла? – вмешалась Аксинья.

– Да вроде издевался над ней кто, в подполе держал, голодом морил.

– Что за изверг? – грозно сказала Мавра, невольно сжимая кулаки. Глядя на нее, всякий понимал, что ее-то мучить никто не будет, не осмелится.

– То ли муж, то ли отец...

– Как так? – пугается Мышка.

– Бесы одолели мучителей, вот и измывались. Говорят, в монастырь она хотела уйти, а отец другие намерения имел, вот и озверел, – задумчиво ответила Ольга, баба с немой дочкой. – Да еще говорят...

– Что?!

– Мол, привел он ее к жениху... На греховное дело – чтоб не делась уже никуда. Тот насильничал, а она не чувствовала ничего. И девой осталась.

– Как вырвалась-то?

– Молилась денно и ночью. И говорят, и сыта была, и напоена. Так год сидела. Развалились стены темницы, вышла она на свет божий. Дивились люди, а отец с женихом уж не могли ее удержать, люди бы не позволили – далеко весть о чуде разнеслась. Постриглась она в монахини, а скоро и в скит ушла.

– Потому и мужиков видеть не хочет, – поняла Аксинья. – После всех измывательств.

– Думала, байки все, – поежилась мышка-София.

– Нет, чистая правда, – перекрестилась Ольга.

– Слыхала, даже мальцов не терпит она, – добавила Ирина.

– Как же так? – расстроилась блеклая Ксения, крепче сжала сынишку. – Ужель зря иду?

– Мал он еще у тебя, скверны не знает. Может, смилостивится, – утешали женщины.

К вечеру они успели поведать друг другу о своем житье-бытье, о горестях и радостях и знали, может, больше, чем родные и близкие. Вырванные из своей привычной жизни, впервые отправившиеся без мужиков в долгий путь, они чувствовали и вполне понятный страх, и

радость, и нетерпение, и надежду, и неизъяснимую потребность рассказать все подругам по несчастью, чуть не исповедаться.

Узнали бабы, что ворчливый муж Ирины – тот самый Артемий Бабинов, которого кликали теперь то ли в шутку, то ли всерьез «вождем сибирской дороги»; узнали, и что Софию в деревне застрашали совсем, жизни нет; что Аксинья замужем за хромым кузнецом; что Клавдию лучше ни о чем не спрашивать, чтобы волком не смотрела; что Ольга кружевница от Бога, тем всю семью и калеку-мужа кормит.

Сильная Мавра тащила колченого парнишку на руках – тщедушная Ксения совсем выдохлась на жару. Аксинья поддерживала Клавдию и по ходу срывала травы – заварить на привале, облегчить той муки. Мышка осмелела и порой сама заводила разговор с Аксиньей. Обе, Софьюшка и Оксюша, чуяли, что, несмотря на разницу в характерах и судьбах, могут сойтись как подруги, замкнутость одной хорошо дополняла общительность и любознательность другой.

В обед, когда солнце стало палить нещадно, бабы сделали привал в тенистом лесу. Рядом весело бежал холодный ручей. Разгребли листья, набрали веток и, соорудив костерок, стали греть воду в котелке запасливой Мавры. Попив травяного чая с брусничного, земляничного листа, бабы упали на траву. Аксинья набрала воды в ручье для отвара Клавдии.

– А ты знахарка, что ль? – с любопытством спросила Ксения.

– Да знаю немного, так травки кой-какие.

– Скромничаешь, что ли? Ты ж тезка моя?

– Да.

– Кузнеца жена?

– Она самая.

– А я слыхала про тебя, у меня сноха с Александровки. Говорят, многое ты умеешь...

– Болтают люди, – засмущалась Аксинья.

– А что ж себя не вылечила? – без обиняков спросила громогласная Мавра.

– Не смогла. Баб лечу от бесплодия. А мне ничего не помогает.

– Молодая же еще, – жалостливо воскликнула Ольга, укачивая засыпающую дочку. – Может, родишь еще.

– Два раза пыталась. Два раза тяжела была.

– И что?

– Скидывала детей.

– Ишь как! Бедная, – сказала Ксения. – Образуется...

– Один Бог знает, – завершила Аксинья тягостный для нее разговор. – Потому и иду в пустошь. Потому надеюсь. Как и все мы.

Да, все шли, влекомые надеждой. Уйдет беда, покинет хворь от молитв святой Феодосии. Вера в чудо отличает человека от зверя, который не может мечтать, томиться опасениями, надеяться. Бабы готовы были сейчас принять сердцем все, что слышали о Феодосии. В ожидании чуда.

На ночь устроились в небольшой деревеньке чуть в стороне от дороги, с рассветом продолжили путь. К обеду темные, лохматые тучи стали закрывать солнце, подул порывистый ветер, бабы кутали детей и костерили переменчивую погоду. К вечеру стал накрапывать дождь, холодный, будто осенний. Мягкокожие, непривычные к босой простоте ноги саднили. Укусы мелких камешков, деревянных щепок, комьев глины превратили Аксиньины подошвы в сплошную кровоточащую ткань. Ирина вслух досадовала:

– Забаловала я, бабоньки. Еле жива уж тащусь.

Остальные молчали, но красноречиво вздыхали, глотали жалобы. На то и благословенный путь в скит, чтобы претерпевать лишения и маету тела во имя просветления духа.

Остроглазая Аксинья разглядела вдалеке дымок – одинокая избушка стояла в стороне от дороги.

– Хранит нас Николай Чудотворец, бабоньки, – перекрестилась молчаливая Клавдия.

Худой, сторбленный лысый старичок, представившийся Федотычем, добросердечно встретил баб. Посетовал:

– Избушка мала, две лавки, стол да печка. Но вы, бабенки, не бойтесь, под дождем никого не оставим.

Баб с детьми оставили в избе, а остальные устроились кто в клетки, кто в маленькой сараюшке, где мычала старая корова и в закутке было навалено душистое свежее сено. Аксинья с Софьей, напившись от души молока с ноздреватым хлебом («Сам, девоньки, стряпаю, как бабка моя померла»), легли на сеновале. Дождь убаюкивающе стучал по крыше, стекал быстрыми струйками. Молодухам было тепло и уютно.

– Софья, а ты почему к Феодосии отправилась?
– Ты на лицо мое посмотри.
– Пятно родимое... Бывает, у кого на руке, на животе, у кого под волосами... Тебе не повезло. Думаешь, скитница исцелит?
– Да уж не знаю. Вдруг... Мне жизни совсем нет.
– Родители?
– И они, и братья. Не любят меня в деревне. Считают, что при рождении черт пометил.
– Дурь какая! Черт другими делами занят.
– Это ты, Аксинья, ведаешь. А деревенские... Мне и родители житья не дают. – Софья всхлипнула.
– Чем ж ты им не угодила? Тихая, смирная.
– Уродка, меченая. Народу в избе много, двое братьев с семьями, родители да я. Замуж давно мне пора.
– Не берут что ль?
– Хорошее приданое бы... взяли. А так... Семья у нас небогатая. То зерно пропадет, то коровы помрут... Вот родители и считают, что я виновата, а сплавить куда, не знают. Обители женской нет рядом, да и не возьмут. В работницы к зажиточным отправить – тоже не нужна. Даже старику бобылю нашему меня сватали – плюется. Говорит, зачем мне образина ваша?

Аксинья присмотрелась сквозь сгущавшуюся тьму к Софье. Не такая уж страхолюдина. И глаза, и нос – все на месте, и фигурка ладная. Шальная мысль зародилась в голове, но отложила Аксинья ее подальше до поры до времени.

– Не печалься. Все у тебя сложится, Софья, – уверенно сказала Оксюша. Мышка посмотрела на нее и поверила. Почувствовала она в своей подруге какую-то внутреннюю силу, то ли знахарством, то природой данную.

– Расскажи мне, Аксинья, про мужа своего. По любви ты пошла за него?

Долго рассказывала Аксинья про свое житье-бытье, про нелюбого Микитку, про милого кузнеца. Подперев подбородок рукой, Софья не перебивала ее, слушала внимательно и переживала все повороты судьбы Аксиньи, как свои.

– Счастливая ты! Родители тебя любят, и муж пылинки сдувает.

– Да, Софьюшка, может, до нашего странствия не понимала я счастья своего. Ты мне помогла. Одного мне Бог не дает – ребенка, – про боль свою Аксинья подробно сказывать не стала. Не хотела переживать заново два прошедших года.

– А ты возьми дитенка какого. Мало ли, родители помрут у кого... Или еще что случится, сколько сирот остается после мора, пожара...

– Думала я про это. Мужу не говорила еще... Не захочет он чужого растить, ему своих надо. После крымчаков сидит в нем заноза – без семьи остался. Хочет теперь дом, полный детей. Не говорит мне, а я сама знаю.

– Феодосия подскажет.

– Последняя надежда.

Они быстро заснули, устав после долгой дороги.

Дождь лил и лил, не собираясь останавливаться. Дорогу развезло. Небесные хляби изливали длинные холодные струи, и продыха не было. Серое низкое небо нависло над лесом, лишая странниц надежды на продолжение пути.

– Если б не дети, может, и пошли бы. А где ж птенцов под такой ливень? – вздыхала Клавдия.

– Да сдурели что ли? Оставайтесь! – Федотыч, добросердечный хозяин, был рад неожиданным гостям. – Крупы, муки у меня хватает. Чуть прояснит, схожу косулю подстерегу. – Бабы с сомнением посмотрели на его хлипкую фигуру, но возражать гостеприимному старику не осмелились.

– Копейки старик не берет. Бабоньки, надо ж отблагодарить гостеприимного хозяина, – кинула клич Клавдия, и путницы, не привычные к безделью, принялись за работу. Отскоблили все углы в избе, отмыли всю скудную посуду с отколотыми краями, принялись за стены, лавки и пол закопченной, покосившейся бани – только пыль стояла столбом. Старик выполнил свое обещание – притащил оленя. Запыхавшись, жадно глотая воздух ртом, он победно посмотрел на бабенок. Подвесил за задние ноги, сделал надрезы острым ножом, лихо содрал шкуру и разделал в два счета.

– Умелец ты, Федотыч, – похвалила Клавдия. – С тобой не оголодаешь.

Старик весело подмигнул:

– Спасибо на добром слове! Медовый спас через два денька. Хоть наедитесь мяса на дорожку, – радостно тер он темные ладони.

Все бабы помылись в бане, исподволь рассматривая друг друга без сарафанов. Любопытно, как что устроено, хоть одинаково Бог всех скроил. Аксинья залюбовалась на крепкую грудь и бедра Софии, которая с распущенными русыми волосами привлекла бы не одного мужика. «Дурные родители, такую девку мурыжат. Поумнее были бы – давно жених нашелся».

Семь хозяек сготовили богатый ужин – и кашу с мясом, и мясные пироги, и похлебку с олениной. Федотыч вытащил с погреба кувшин с темным, крепким вином.

– Эх, бабоньки, устроили вы мне праздник. Спасибо вам, милые, – даже поклонился он. – Век такой чистоты не видал в избе своей.

Дети быстро сморились после горячей бани и сытного ужина, женщины разошлись по лавкам беседы вести. А Федотыч все с Клавдией сидели за столом и тихонько шептались, наклоняясь друг к другу все ближе.

– Аксинья, Аксинья, – шептала София подруге.

– Что такое? – заморгала сонными ресницами Аксинья.

– Как ты думаешь, Клавдия у Федотыча останется?

– С чего бы, они люди пожилые уже. Хотя... Кто ж знает? Есть у них какая-то общая жилка, тяга друг к другу.

– И Клавдия в годах своих немалых счастье найдет. А я...

Сквозь сон Аксинья слышала всхлипы, тихое шмыганье расстроенной Мышки.

Яркое солнце будто хотело извиниться за два дня отсутствия, жарило с утра. На листьях и траве переливались жемчужинами большие круглые капли. Пахло мокрой хвоей, листвой и еще чем-то вкусным, будоражившим нос, как всегда бывает после сильного дождя. Отдохнувшие бабы резво отправились в дорогу. Клавдия посвежела, даже ворчать стала меньше, улыбка иногда красила ее узкие губы.

– А Клавдия-то, глянь, чисто молодуха, – зычно гоготали бабы, а скромная Софья тихонько хихикала, прикрываясь косой.

– Я слышала, как уходили вы с Федотычем куда-то, – любопытничала Ксения. – И куда ж вы в дождь-то ходили? Не в баньку ли попарить его старую спину? – раздался дружный громкий хохот.

– Тьфу на вас, бесстыжие, – возмущалась Клавдия. Она не злилась, ничего не отвечала охальницам.

Бабы от нее отцепились, но продолжали перемигиваться. Мокрая дорога разъезжалась под босыми ногами, но солнце и ветерок быстро высушили ее. К вечеру прямо на дороге стали попадаться кругленькие крепкие желтые и темно-красные маслята.

– Собираем, бабоньки. Вот и ужин нам!

Жареные грибы, долго томившиеся на костерке, умяли за милую душу.

В Пустоболотове путницы остановились на ночлег, разойдясь по избам деревенских. Аксиныя с Софьей попали к словоохотливой молодой, муж которой был где-то в лесу на промысле.

– Ох, какие вы пыльные да усталые. Бедолаги, ноги в кровь сбили. Сейчас баньку истоплю. А вы тут мне по хозяйству поможете. Умаялась с детьми да скотиной, еще и третьего ношу, – показывала она не различимый еще живот.

Довольные, разомлевшие бабы с удовольствием слушали болтовню хозяйки, редко вставляя словцо заплетавшимся языком.

Аксиныя не сразу уснула, предвкушая завтрашнюю встречу с Феодосией. Ноги гудели, сердце часто колотилось, сжимаясь в тревоге.

Весь скит состоял из двух полувкопанных в землю крохотных изб. Рядом – миски с едой и молоком. Местные жители приносили еду отшельнице, проводившей дни в молитвах и беседах со страждущими. Неподалеку бил из земли ключ с хрустально чистой водой. Аксиныя с Софьей зачерпнули в горсть воду, жадно выпили, чувствуя, как сводит зубы.

– Вкусна водица!

К вечеру дошла очередь до истомившейся Аксиныи. Пригнув голову, зашла в избу. Полутьма, закопченные стены, Богоматерь со светлым пронзительным взором на иконе, две лавки и узкий стол.

Не сразу Аксиныя разглядела скитницу. Высокая костистая старуха вперила взгляд в Аксиныю. Черные монашеские одежды облекали костистое, иссушенное тело. Длинные узловатые пальцы, сжимающие потемневший от времени посох, прямая властная спина... Глаза целительницы сразу привлекали внимание – маленькие, выцветшие, они зорко смотрели на собеседника, будто заглядывая прямо в душу.

«С виду вроде обычная старуха. Сила и умиротворение от нее исходят», – смятенно думала Аксинья.

– Рассказывай, девонька, – мягко обратилась Феодосия. Голос у нее оказался мелодичный и совсем молодой.

Аксинья без утайки рассказала о жизни своей, о неосуществимом желании иметь детей, о скинутых плодах.

– Сама знахарка. Должна знать: если баба иль телка не донашивает детеныша, значит, мужик бык не тот, – вместо молитв и благостных речей Феодосия говорила о житейских вещах, как обычная деревенская баба.

– А откуда знаешь, мать Феодосия, что лечу я людей?

– Много я знаю. Послушай-ка. Ты за помощью пришла?

– Да, матушка.

– А подсобить в твоём несчастье, девонька, не могу.

– Почему же?

– Не можешь ты от мужа родить, и не дает вам Бог детей. Не надо, значит.

– А что же мне делать?

– От другого мужика родишь, – усмехнулась скитница.

– От другого? Как же?! У меня муж венчанный!

– Да, девонька, – Феодосия вновь назвала ее, взрослую женщину, так. Все, кто был моложе ее на несколько десятков лет, казались ей неразумными детьми. – Грех. Не можешь ты с другим мужиком быть при живом муже. Смири желания свои. Молись. Одному Богу все ведомо. И я тебя буду поминать в своих молитвах.

Аксинья поняла, что больше старуха ей ничего не скажет, и с разочарованным видом вышла из избы.

– Помогла Феодосия? – спросила Аксинья Мышку вечером, когда они уже улеглись спать.

– Помогла.

– Вот и славно. Я рада за тебя, София.

– А тебе?

– Да... Молиться сказала. – Правду Аксинья решила не говорить. Хотела она плакать, разочарование жгло каленым железом, но глаза оставались сухими.

Феодосия творила чудеса. Аксинья с изумлением смотрела, как мальчонка, еще недавно падавший после двух неуверенных шагов,

стал увереннее держаться на ногах. Он шел на своих подгибающихся кривых ножках. Шел и падал. Немая девчушка промычала что-то неразборчивое, но растрогавшее ее мать до слез. Сухорукой Ирине Феодосия сказала молитвы особые читать:

– Бабы, отступает хворь! – сжимала и разжимала она пальцы на правой руке.

Клавдия не жаловалась на боль, но здесь дело было не в Феодосии, а в ином чудотворце.

Обратная дорога казалась еще длиннее. Не радовали сказочные высокие сосны, игривые белки, гостеприимные деревеньки. Хотели путницы одного – домой. Спать на перине, а не на жесткой земле, вытянуть измученные ноженки и отдохнуть.

На подходе к избушке Федотыча Клавдия все подобралась, блестела глазами, помолодев на добрый десяток лет. Женщины не удивились, когда следующим утром Клавдия с ними не пошла:

– Вот так... Не зря вы, бабоньки, смеялись. У старика я остаюсь. Забыла уж, каково с мужиком жить. Давно вдовствую... Хоть крошку счастья изведаю.

Клавдия попросила Ольгу, жившую в соседнем селе, детям передать весточку: матушка их замуж выходит, пусть не теряют, а скарб свой, одежонку потом заберет.

– Взрослые уже дети-то мои, и внуки выросли... Справятся!

– А венчаться вы будете? – спрашивала София, больше всех обрадовавшаяся за Клавдию.

– А как же! Нам во грехе жить нельзя, помирать скоро, – улыбались старики и долго стояли на крыльце, провожая взглядом фигурки, бредущие по дороге.

* * *

– Софья, давай у меня погостишь. Родители по тебе не скучают, а мне в радость, – предложила Аксинья подруге, которая за время странствия стала совсем родной.

– А как же муж твой, не прогонит?

– Нет, он добрый. Придумала: я к родителям тебя определю. Они рады будут моей подруге. А уж когда я расскажу, какая ты работящая да скромная!.. – Софья зарделась, румянец на желто-коричневом ее лице проступил багряными пятнами.

Гриша пришел из кузницы в ту же минуту, как запыленные Аксинья с Софьей ступили на порог, без слов крепко обнял жену, взгляделся в родные карие глаза.

– Вернулась! Аксинья, помогла скитница-то?

– Должна помочь, Гриша. – Аксинье не хотелось отрывать голову от пахнущей потом и кузней груди мужа. – Соскучилась я. Вот София, сдружилась мы в дороге. Позвала погостевать. К родителям моим сходим, там ее и разместим.

Анна с Федором уже ждали на крыльце – слух о возвращении Аксиньи быстрой ласточкой долетел до них.

– Дочка, наконец-то, я уж боялась – не случилось ли чего, – две седмицы не было Аксиньи дома, первый раз за всю ее жизнь.

– Матушка, рада я возвращению несказанно. Это София. Ее деревня дальше по Усолке, в пяти верстах от нас.

– Боровое? Знаю-знаю. Здравствуй, милая. Пошли в дом, – позвала ее Анна.

Федор, завидев незнакомую девку, выскочил из дому.

– Не поздоровался даже. Федя, Федя, – покачала Анна головой и лукаво улыбнулась.

Отмывшись в бане, с удовольствием отведав каши, сготовленной мужем, и кислото до оскомины кваса («Не удался он у меня, все в точности делал, как ты говорила», – повинился Григорий, вызвав смех у жены), кулебяки, заботливо испеченной матерью, Аксинья стала расчесывать деревянным гребнем каштановые кудри, игриво поглядывая на мужа.

– К Марфе-то не ходил? – припомнила Григорию прошлые прегрешения.

– Нет, дома все сидел, жену свою ждал.

– Вот и дождался, муженек. Соскучился?

– Конечно – Голос Гриши стал хрипловатым. – Ты устала, поди, с непривычки столько на ногах, в пути.

– Устала, но мужа без ласки не оставлю.

Шершавые руки нетерпеливо шарили по ее телу, нежно касаясь груди, язык дерзко обшаривал рот, вторгаясь глубоко, вызывая у Аксиньи стон. Соскучилась, будто месяцы не видела, по голосу низкому, по телу крепкому, по насмешливому блеску темных глаз, по резкому переходу от ласки к грубости.

Потом потные, запыхавшиеся, лежали они на постели.

– Значит, будет у нас ребенок, жена?

– Говорила она: молитесь, все наладится. И сама будет поминать меня в молитвах.

Муж вздохнул в темноте, не поверил.

Аксинья давно замечала, что нет в нем истинной веры, благочестия. Мог он высмеять священника, редко крестится на образа. После рассказа его о крымском плену Аксинья поняла, что живет с великим грешником, который веру отцов поменял на басурманскую. «Он выжить бы не смог, если бы не стал магометанином. Отмолю мужнин грех», – утешала себя Аксинья.

* * *

Следующей ночью полдеревни перебудил Игнат. Выпучив глаза, размахивая руками, он заскочил в избу Григория и Аксиньи с криком:

– Вода вылилась! Рожает!

Два года назад Еловая гудела на свадьбе Игната Петуха и Зои, дочери крестьянина Петра. Аксинья на свадебном пиру с улыбкой следила за смущенной, растерявшей свою бойкость Зоей, вспоминала свою свадьбу. Невеста так смотрела на жениха, а жених на невесту, что ни у кого из гостей не было сомнения – на этот раз родительская воля (Игнат с Зоей давно уже были посватаны) не встретила никаких препятствий у молодых.

В эту ночь в большой избе Петуховых никто не спал. Ни родители Игната, Спиридон и Дарья, ни двое старших братьев с оравой детей.

Зоя рожала девочку быстро и споро – видно, помогли ее широкие бедра – Аксинья вместе с Зоей-старшухой, Дарьей и Агашей принимали роды. Перерезав пуповину, Аксинья завязала пупок тонкой нитью.

– Здоровая девчуля! – одобрительно прожурчала Зоя-старшая, убрав мокрые пряди с круглого, измученного лица дочери.

– Парень куда б лучше пришелся. Все невестки девок рожают, – поджала губы Дарья. Ей грех было жаловаться, два внука носились в избе. Но свекровь довольна не бывает.

Агафья вытирала тряпицей окровавленную девчушку и что-то тихо ей напевала. В избе Петуховых она, будто приживалка, дневала и ночевала. Свою семью не завела и подбирала крохи Зоиною счастья.

– Аксинья, ты крестной матерью будешь, – тихо пробормотала роженица.

– С радостью, – устало улыбнулась знахарка, перехватив обиженный Агашин взгляд. Отказала Зоя лучшей подруге в этой радости, почему – бог весть.

Через сорок дней, принимая в свои руки хныкавшую девочку, только что побывавшую в крестильной купели, Аксинья вновь вспоминали жестокие слова Феодосии, положившие крест на ее надеждах.

* * *

Еловчане потихоньку убирали лук и чеснок, репу, редьку, готовили варенье с кислицы, черной смородины и духовитой малины. Анна нарадоваться не могла на работающую Софью, которая всегда была на подхвате.

– Сделала дочка подарок, – улыбалась она. – Будто вместо себя помощницу мне привела. А дома-то не потеряют? Через кого весточку отправить?

– Не потеряют, они только рады будут, – наполнились соленой влагой Софьины глаза.

– Как же так! – возмущалась Анна. – Бедная девка! Разве можно не любить такую ладушку!

На Медовый спас^[57] установилась жара. С обеда александровский поп освящал воду в Усолке, радостные ребяташки из речки не вылезали.

Девки и бабы плескались в излучине реки, освежая разгоряченные тела подальше от мужских глаз. Софья долго не решалась зайти в воду, прохладная вода щекотала пятки, покрывала кожу пупырышками.

– Иди скорее. – Аксинья окунулась и теперь выжимала толстые косы.

– Все у тебя просто. А я боюсь – вдруг водяной утащит.

Подруга схватила ее за руку и потащила подальше от берега. Мокрые рубашки путались между ног, солнце нежило повизгивающих молодых.

– Загостились ты, Софийка, – рассматривала девку Марфа.

Красавица набирала полными пригоршнями воду и окатывала горячее тело, от удовольствия прикрывала глаза. А Аксинья взгляд не

могла отвести, представляла, как закатывает Марфа глаза в руках Григория, как кричит... Муторные думы навалились, прижали к илистому дну.

– Не лезет Федюнька Ворон тебе под юбку? – Марфу терзало любопытство.

София сверкнула глазами, промолчала.

– А, он же только мужних баб лапает. Я и забыла.

София поменялась в лице и поспешно, подобрав подол, побежала к берегу.

– Ты б помолчала. С женатыми вяжешься, а холостые стороной обходят, – уколола Аксинья и побежала вслед за Мышкой.

– Марфа, язык у тебя без костей. Шаболда! – шикали бабы.

– А что? Неправду говорю? Все историю эту знают. Зря, что ли, Матвей Фуфлыга бесился.

– Нет креста на тебе, – проворчала всегда молчаливая Агаша, а Марфа неодобрительно хмыкнула и вышла из воды, с гордостью неся свое статное тело.

– Оксюша, домой мне пора, – Софья натягивала сарафан на влажную рубашку и еле сдерживала слезы. – Загостились я у вас. Люди смеются.

– Да ты что? Не слушай окаянную, Марфа всю дорогу злобствует. – Но подруга не слушала ее увещаний. Длинные ноги несли Софью к избе Вороновых. С красными глазами, растрепанной головой ворвалась она в избу и притулилась в светлице, обхватив метелку и прижав ее к сердцу, будто добра молодца.

Девушка не видела, как Федор проводил ее долгим взглядом. Мокрая одежда не скрывала изгибов тела, тонкой талии, пышных бедер. Он нерешительно встал и пошел к дому, где рыдала обиженная София.

На следующий день во дворе Вороновых остановилась дребезжащая скрипучая телега, поводья держал здоровый мордастый мужик одних годов с Василием.

– Здоровья вам, хозяйева.

– Здравствуй, – прищурился Ворон.

– София, дочь моя, не у вас ли гостует?

– У нас, добрый человек, – выступила на крыльцо Анна.

– Соскучились мы по дочке своей. Самая пора страды, а она тут прохлаждается, – не сдержал благостного тона отец девки, оскалив желтые зубы. – Погостила, пора и честь знать!

Софья побежала в светлицу, дрожащими руками стала собирать узелок с пожитками.

– Через два денька сами мы привезем дочку вашу, не переживайте.

– На что она вам сдалась? Батрачит, что ли? Все молоко от нее скиснет.

– Зря ты так. Хорошая дочь у тебя выросла, – не сдержался Василий.

– Пока не собирайся, дочка. Поспешешь – людей насмешишь, – успокоила Анна бледную как смерть девуку.

Тем же вечером Вороновы вели тяжкую беседу в мастерской.

– Жалко девуку, замордуют ее. Отец будто леший, глаза злющие, холодные. Надо же так кровинку свою не любить. Не понять мне! – возмутился Василий, и горшок в его руках выходил гладким, пузатым.

– Жалко – не жалко... А что мы сделать можем? Не оставим же у себя, отцу она принадлежит. – Анна с силой вдавливала узор на горлышке кринки, да так, что получилось глубже, чем надо. – Тьфу, испортила! – И с досадой отложила работу в сторону.

– И Федя не мычит не телится. Месяц уж прошел, а на девуку и не смотрит, – возмутился отец.

– Я всяко пыталась. Даже раз в баню его отправляла, когда она там стирала. Надеюсь, мож, сладится. Прости за греховные помыслы, – быстро перекрестилась Анна.

– Оба они тихушники... Софья – это ж не Машка. Та баба умелая, сама Федьку на себя затащила. А Софьюшка-то как мышка, мужиков боится. И наш пуганый.

– Что делать-то?

– Может, в лес их вдвоем отправить. Там дело молодое... Авось...

– Дождешься! Хотела б я такую невестку, золото, а не девка. А с лица... не воду пить.

Вечером они заметили, что Федор весел, рот его сам собой в улыбке расплывается, а Софья рдеет, как маков цвет, даже шея, белая, нежная, покраснела.

Наконец Федя осмелился:

– Надо вам, батюшка, матушка, сказать...

– Что сказать-то?

– Благословения мы с Софией просим вашего – Они упали на колени перед растроганными родителями Федора.

– Конечно, благословляем. Вот обрадовали! Когда успели только...

Со слезами на глазах Анна обнимала молодых, Василий хлопал сына по плечу, неловко улыбался будущей невестке.

– Не знали мы, как вас сосватать, – признались родители.

– А мы вот... Сами...

– Надо Аксинье сказать... Она ж затеяла, – улыбнулась Анна.

– До гроба я ей благодарна! – горячо сказала Софья.

– Ты про гроб, девка, погоди. Жизнь твоя только начинается. Ликующая Аксинья бросилась обнимать брата с невестой.

– Вот молодцы-то! Федька, я в тебе не сомневалась.

Вечером она долго расспрашивала стеснявшуюся Софью:

– Как получилось-то у вас? Федька-то наш...

– Так... Он мне понравился... красавец такой, да ласковый, и не больной, и не дурак вовсе. Не надеялась я, что на меня Феденька посмотрит. А после речки увидел меня расстроенную, утешил...

– Он у нас душевный, добрый.

– Мы проговорили до вечера, родителей-то не было в избе. А потом спросил он, соглашусь ли за него выйти. Рассказал он про Марию, про сына своего, про то, что женщин боялся.

– Да, боялась я за Федю...

– А как меня увидел, говорит, как узнал душу мою, так поверил, что все у него еще может быть – и жена, и дети. Вот так, Аксиньюшка, ты мне счастья дала, а не Феодосия.

– На все воля Божья. А что Феодосия тебе посулила? – Аксинью давно мучило любопытство.

– Через дорогу к скиту счастье найду... Так и сказала... Вечно буду молиться за Феодосию... И за тебя, Аксиньюшка.

София отправилась в родную деревню, но сердцем своим осталась она в Еловой, с Федором и его добросердечной семьей. После Успения Пресвятой Богородицы^[58] Василий, Федор, Аксинья, Григорий и Ульяна с Зайцем надели лучшие одежки, взяли подарки, отправились сватать Софью. Грязная, захламленная изба, орущие прыщавые дети и озлобленные родичи оставили неприятное впечатление. Но главное

было сделано: поотпирившись для виду, родители Мышки благословили молодых.

– Люди мы небогатые, приданое у нас скудное, – развела руками мать невесты, замученная, худящая баба с ввалившимися глазами.

– Для нас главное богатство – ваша дочь, а не котелки с рушниками, – огорошила Анна будущих родственников, так и не понявших, чем же семью Вороновых привлекла их уродливая дочь. «Видно, околдовала парня да свекра с свекровью заодно», – судачили они меж собой, когда Вороновы уехали.

Аксинья на правах замужней родственницы поучала Софью, рассказывала про обязанности жены, про долг ее перед мужем. Радостно ей было смотреть на светящуюся счастьем подружку и довольного, ходившего вокруг невесты гоголем брата.

Отгуляли всей деревней, еловчане были искренне рады за Федора, нежданно-негаданно нашедшего свое счастье. И жених, и невеста были, как считалось, малость подпорчены, юродивые, потому ровня. Одна Марфа брезгливо кривила красные губы, нашептывая соседкам:

– Нашли красавицу, рожа вон какая страшная. Аж жуть берет!

Для молодой семьи выделили светлицу, закрыли ее цветной занавеской, чтобы молодые не стеснялись. Первую брачную ночь Софья и не думала скромничать. Засиделась она в девках, долго тосковала по мужику, накопила в себе неистовое желание любить. Откликалась на поцелуи Федора, выгибала тело под его длинными пальцами, будто мучимая жаждой, прижималась к нему, шептала:

– Миленький мой, все для тебя сделаю.

Утром помятым после вчерашнего гуляния гостям показали простынь со смачным красным пятном точнехонько посередине.

– Ишь, прям нацелились как! Меткие, – глумились мужики.

Федор и нарадоваться на жену не мог. Привыкший к ласкам опытной любовницы, он встретил не меньший пыл у скромницы Софьи. Стоны и крики невестки будили даже Василия, спавшего крепким сном, и вызывали улыбку у Анны. Завершились они предсказуемо – невестку стало сильно тошнить по утрам.

– Ем то же, что и все, а выворачивает меня одну, – пожаловалась свекрови простодушная Софья.

– Так не все так по ночам кричат. – Лицо невестки исказилось от стыда. – Да не бойся, не осуждаю, сами когда-то молодыми были.

Ребенка ты ждешь.

– Так быстро?

– А что, умеючи, дело быстрое-то.

– Ой, Аксинье надо сказать, – воодушевилась было Софья, быстро одела душегрею, намотала платок на косу, но, вспомнив о ее беде, присела на лавку. – Расстроится она.

– Да что ты так думаешь плохо про мою дочь, – напустила суровый вид Анна. – Обрадуется она за вас. Может, покручинится потом о своем, но жизнь такова: у каждого свои беды и радости, но их надо переживать вместе, плечо к плечу, рука к руке.

* * *

Голод не отпускал государство Российское, сжимал в своих костлявых пальцах. К осени в Москве, Туле, Смоленске, крупных и мелких городах и деревнях опять начался голодный мор. Народ колобродило, царя Бориса оскорбляли уже прилюдно, на всех площадях как детоубийцу, грешника, из-за которого Русь наказывается Богом. Крепостные бежали от своих хозяев, а искать их было некому, купцы боялись ехать по своим делам, власть не успевала сажать в тюрьму татей и разбойников.

В Пермь Великую и другие земли, уральские, сибирские, где жилось спокойнее и сытнее, стали ехать оголодавшие. В Соли Камской появилось несколько семей, приехавших с Московии, были они как зачумленные, с больными глазами и заморенными лицами. Одна семья просила крова в Еловой. От приезжих и пошел слух, что царевич Дмитрий, замученный Борисом Годуновым, чудесным образом спасся и теперь идет в Московию. И хочет он вернуть себе трон, принадлежащий по праву рождения.

– Говорят люди, что отсечет он голову Бориске, и мир вернется на Русь, – рассказывал худосочный Демьян.

– А вы-то чего сбежали? Ждали бы доброго царя, – не выдержал Василий Ворон.

– Жрать нечего, можно и не дожить до воцарения Дмитрия. Слышал я, что у Камня люди хорошо живут и властью особо не притесняются. Вот и потащил сюда жену с детьми, – щипал тощую русую бороденку мужик. – Дочурка в дороге померла... Жена еле жива... Осталось еще трое голодных ртов.

Староста выделил новоприбывшему семейству земельные участки, всем миром помогли с одежкой и скарбом. Демьяна с семейством поселили в пустовавшей избе Матвея Фуфлыги.

Рассказы про царевича Дмитрия народ будоражили так, что Гермоген был вынужден пригрозить: «Смутьянов отдам в город. Посадят в темницу для острастки, чтоб успокоились!» Но разговоры все равно продолжались.

К лету 1605 года дошла весть о кончине Бориса Годунова. Многие радовались смерти несправедливого царя. Те, кто поумнее, понимали, что это не к добру. Престол Борис оставил своему молодому сыну Федору, мягкому и набожному.

Федор Борисович недолго был у власти. В начале лета Дмитрий, называвший себя сыном Иоанна Грозного, с большим войском вторгся в Московское государство, сбросил годуновского отпрыска с трона, установил свою власть в стране.

Вести о том с изрядным опозданием доходили до пермской стороны, но всяк свое мнение имел по этому поводу. Одни верили в чудесное избавление царевича Дмитрия от смерти, до хрипоты настаивали на своем, называя противников басурманами, предателями. Другие кричали, что на престоле московском сидит теперь самозванец, а ляхи поддерживают его, грех это большой для православного народа. К зиме вторых стало больше – Дмитрий позволял себе очень много, веру православную не уважал, бояр за дураков держал, посты не соблюдал, на коне в церковь заезжал. Поляки по Москве ходили и дел много дурных творили, насильничали, грабили, убивали.

Когда узнал народ, что Дмитрий повелел убить сына Годунова Федора, что задушил вдову Марию Григорьевну, а с дочерью Ксенией совершил насилие, держал ее при себе как девку паскудную, даже те, кто радел за нового царя, поутихли.

Аксинья жалела Ксению, дочку Бориса Годунова. Ее тезка, дивная красавица, царская дочь, рождена была для богатства и счастья. Судьба оказалась к ней немилосердна. Ставила себя на ее место дочь гончара, жена кузнеца, представляла, каково это – отдаться врагу, загубившему мать и брата, и холодный озноб пробегал по телу.

А сплachtetся на Москве царевна,
Борисова дочь Годунова:
Ино боже спас милосердый!
За что наше царство загибло,
За батюшкино ли согрешенье,
За матушкино ли немоленье?
Едет к Москве Расстрига
Да хочет теремы ломати,
Меня хочет, царевну, поимати...

Сказители и скоморохи, на свой страх и риск, повествовали о том, что творилось в Москве и других городах. Большие толпы собирали на площадях и базарах, народ слушал печальные напевы сказителей и пакостные частушки скоморохов, дивился и печалился. Целовальники отдавали приказ казакам разгонять толпу: от греха подальше, а то как бы головы с плеч не полетели, царя-то Расстригой звать! Но скоро печальные напевы собирали новую толпу зевак. Бабы и девки прятали влажные глаза, мужики смущенно кхекали.

– Такого бедствия не знала земля русская, – говорили старики, помнившие и орды тюменцев, и чуму, докатившуюся даже до их глухих мест, и многое другое. – Татары и те чтити русские храмы и священников... А чтобы свой правитель патриарху в лицо смеялся да невесту латинянскую завел – такого не было! Спаси, Господи!

6. Две березки

Аксинья с Григорием за столько лет привыкли друг к другу, вросли, вжились, как две березки в лесу, что обвиваются друг об друга, растут вместе, тянутся к солнцу, поддерживая, питая друг друга своими соками.

За годы брака сложились у них свои обычаи, которые связывали каждый прожитый вместе день незримым смыслом и духом. Аксинья никогда не садилась за стол без мужа, дожидалась его дотемна. Пока носилась от печки к столу, отщипывала кусочки – а как проверить, дошел ли пирог, стомила ли каша? – но свято чтит традицию. Григорий, приходя домой, всегда ополаскивал закопченное лицо, черные руки в лохани с водой, а Аксинья с полотенцем в руках смотрела на любимого мужа. Смеясь, она вытаскивала из черной, длинной бороды, спутанных волос окалину:

– Гевест ты мой!

Баню они топили по два раза в неделю, вызывая осуждение еловчан – только зря дрова переводят. Они ходили мыться вместе, стараясь делать это в сумерках – не грех, но поперек обычая. Бабы парились с бабами, мужики с мужиками. Григорий и Аксинья находили особую радость, плескаясь в лоханях, охаживая друг друга ядреным венником, надолго саживаясь в бане за серьезными и досужими разговорами.

Про детей, Аксиньино бесплодие они не говорили никогда. Она так и не передала ему суровые слова Феодосии, лишаящие их всякой надежды. Ловила, темнея лицом, мужнины тоскливые взгляды, будто случайно замиравшие на Тошке, соседских бутузах. Григорий хотел наследника, сына, которому передал бы свое редкое мастерство, хотел красавицу-дочку. Но... пришлось смириться... Аксинья задумывалась порой, что муж мог бы с кем-нибудь ребенка сообразить, для мужиков это дело быстрое... И гнала от себя паскудные мысли.

Порой Аксинья чувствовала, что муж от нее отдаляется, взгляд скользит и не задерживается на ее лице, статной фигуре, ночной пыл пропадает и остается только движение тел без всякого единения душ. Она вспоминала страшные рассказы про брошенных бездетных жен.

Аксинья старалась быть хорошей женой, ублажала Гришу как могла и днем, и ночью, не спорила, всегда была весела и добросердечна, угадывала каждое его желание. Став уже взрослой, опытной женщиной, она поняла, что Григорию доставляет удовольствие причинять ей боль, тискать, мять ее грудь, зверски кусать шею, часто после его объятий на теле расплзались синяки да ссадины. Она перестала жаловаться, кричать от боли, терпела, стиснув зубы. Верно, понимала мудрая женка: будет противиться – муж у другой, потребной иль непотребной, бабы будет искать нужное ему в постели. Со временем она привыкла, перестала замечать и даже сама порой получала удовольствие от звериных ласк мужа, а он ценил ее податливость.

Аксинья налилась цветущей пышностью, стан был теперь не так тонок, как в девичестве, округлились щеки, полнее стали руки, движения обрели плавность и манящую женственность. Будь Аксинья такой справной семь лет назад, никто из деревенских бы не удивлялся: «Что это кузнец нашел в худосочной дочке Васьки Ворона?» Теперь Аксинья часто ловила на себе взгляды мужиков – и молодых, и постарше. Прелесть ее лица с темными умными глазами, милым носиком и пухлыми губами осталась все той же, а фигура стала куда краше.

Порой Семен преграждал ей дорогу, заводил пустые беседы и ел налитую грудь масляным взглядом. Несколько лет назад Семен привез тихую, неприметную невесту из соседнего Борового, Катерина ходила беременной уже вторым, но мысли мужа своего не занимала. Аксинья не жаловалась мужу на Сёмкины неуклюжие заигрывания. Знала, что Григорий Ветер может своей затаенной жестокостью много бед наделать.

Масленичные гуляния 1606 года обнажили тайную вражду, как острый нож знахарки вскрывает гнойный нарыв. На берегу Усолки, покрытой толстым слоем зеленоватого льда, собрался весь деревенский люд. Мужики и парни от мала до велика окружили деревянный помост, где раздетые по пояс молодцы мерились силами. Уже несколько парней встретились в кулачном бою, уже еловские парни побили двух александровских, уж Семен уложил на две лопатки ничуть не расстроившегося Зайца, балагура-Игната, коренастого

Фимку, покрасневшего от досады. Одобрительный гул мужских голосов вопил:

– Семка, молодец!

Нескладный, но сильный и верткий мужик запыхался, капли пота стекали по его высокому лбу, курчавили светло-русые волосы. Он оглядывал толпу, будто искал кого-то.

– Григорий, а ты что стоишь в сторонке? Давай сюда, силой померяемся! – Аксиныя повернулась уже к мужу, чтобы попросить: «Давай уйдем отсюда! Ну его к лешему, дурака». Не успела.

Кузнец молча принял вызов. Сбросив с плеча тонкие пальцы жены, стянул кафтан и рубаху, вперившись темным взглядом в противника.

Кулачки всюду на Руси испокон веку были народной потехой. На Святки, Крещение, Масленицу, Пасху, Ивана Купалу молодцы встречались, чтобы померяться силушкой богатырской. В Еловой особо ценился бой двух бойцов, один на один, когда сила и хладнокровие определяли победителя. Бондарь Яков, в прошлом большой силач и любитель кулачков, сейчас приглядывал за бойцами, сопровождая бои дельными замечаниями.

Семен и Григорий сошлись в яростной схватке без всяких предисловий. Семка сразу же ударил кузнеца кулаком в солнечное сплетение со всей злостью. Многих мужиков такой удар сбил бы с ног, но Григорий устоял, покрутил только звеневшей головой и, уйдя от пары ударов, обрушил свой огромный кулак «под микитки», под ребра противника. Семен оскалился, обнажив чуть желтоватые зубы, сдержал стон и вновь, еще не придя в себя от удара, кинулся на кузнеца как на врага, как на разбойника, как на человека, надругавшегося над святым.

Катерина, жена Семена, чуть побледнела и прикрыла лицо крупными обветренными руками. Аксиныя протиснулась поближе к помосту, распахала в стороны азартно орущих мужиков. Они разделились: те, кому не нравился серьезный, неразговорчивый кузнец, поддерживали Семена, те же, кто столкнулся с безотказностью и мастерством Григория, подбадривали кузнеца озорными криками:

– Гришка, задай ему перца!

– А кузнец-то наш драчливый, злой в бою, – ухмылялся Яков, наблюдая, как Семка отступает на край помоста от резких ударов Григория.

Долго мутузили друг друга соперники, Аксиные напомнили они петухов, которые сходятся порой в бою, налетают друг на друга в исступлении. По правилам кулачного боя били только кулаками: костяшками, основанием кулака или головками пальцев. До пояса можно было наносить удар куда угодно, но особо удачными считались удары «в душу»^[59] или «под микитки». Правила были строгими, дрались всегда до первой крови, но с носа Григория капала кровь, а Яков все не останавливал бой.

– Яков! Да где ж такое видано? Убьют же друг друга, – теребила Аксиныя рукав бондаря, а он отмахивался от нее, как от надоедливой мошки. Голос взволнованной молодухи тонул в реве толпы.

– Молчи, баба! Что б ты понимала!

Еловчане почуяли, что идет между Григорием и Семеном непростая схватка, что доказывают они что-то друг другу. В таком случае исход боя мог стать смертельным, а значит, для зрителей двойной кураж. Уже заорали мужики, предлагая ставки: кто копейку ставил на Григория, кто – на Семена, бой все продолжался. Оба уже запыхались, пот заливал глаза, разбитые в кровь костяшки саднили, но сдаваться ни один из бойцов не собирался.

– Ты чего, Семен, добиваешься? – спросил Григорий, в очередной раз увернувшись от мощного удара.

– Рожу твою поганую разбить хочу, чтоб не ухмылялся.

– Тебе руки наглые повыдергать... Лезут к тому, что принадлежит другому хозяину.

Аксиныя не знала, понимают ли односельчане, о чем ведут речь мужики. Для нее и самой стало новостью, что Гриша узнал про Семкины поползновения. На секунду она зажмурила глаза, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце, и не увидела, как Григорий ударил противника «в душу», и Семен не устоял, упал на помост. Кузнец уже занес руку, чтобы нанести новый удар пытавшемуся встать сопернику, как подлетел Яков:

– Оба правила нарушаете, охломоны. Нельзя лежачего-то!

Мужики заорали:

– Гришка победил! Ты чего, Яшка, цепляешься?! – довольные победители пересчитывали копейки. Игнат и Фимка лучились улыбками – не зря поставили деньги на кузнеца.

Еле поднимая руки, Григорий нацепил кафтан, поданный Аксиньей, и довольно улыбнулся. Дома жена вытирала кровь с лица, мазала расплывшиеся пиявки-синяки, выговаривала Грише:

– Зачем это представление нужно было? А если бы он тебя в грудь ударил, по голове? А если б покалечил?..

– Если бы да кабы... Все хорошо, Оксюша. Надо было его проучить, совсем обнаглел. У самого жена каждый год на сносях, а на мою засматривается.

– Так ты знаешь?

– Догадывался. Почему не говорила мне? Давно бы с ним разобрался.

– Не хотела я огласки, ссор и драк боялась...

– Посмотри-ка на меня! – Григорий пристально посмотрел в глаза Аксинье. – В следующий раз появится какой охальник, сразу говори мне. Не то плетью проучу тебя. Нечего меня позорить!

Аксинья кивнула в ответ. Прав муж.

Вечером прибежала зареванная Катерина: Семка лежал как мертвый, в себя не приходил. Аксинья вопросительно посмотрела на возившегося в углу с упряжью мужа.

– Гриша, я схожу.

– Да иди уж.

– Вы не переживайте, – успокоила она всполошенных родителей и жену Семена. – Такое бывает после сильного удара. Вот вам мазь, травы.

Забрав кулек, сладко пахнувший медом, – чем еще бортнику платить, – она погладила ободряюще плечо Кати:

– К утру очнуться должен.

– Спасибо тебе, Аксинья. – Катерина пошла ее провожать и остановилась в сенях.

– За что благодарить. Мой муж его и отмутузил.

– Семен сам напрашивался. – Катины глаза наполнились слезами. «Не такая она и невзрачная, – подумалось Аксинье. – Глаза вон какие здоровые, как блюдца. И переживает за мужа! Зла не таит».

– Всегда он был забиякой...

– Ведомо мне... Рассказали мне, что за тобой бегал...

– Давно все это было. Детские дела... Ты что ж, не реви.

Заплакал жалобно ребенок, и сразу раздался резкий окрик Маланьи:

– Куда ты, чумная, пропала?! Сын орет, а она прохлаждается, беседы разводит!

Катерина еще раз пробормотала:

– Спасибо тебе! – И побежала к колыбели.

Через пару дней Семен оправился, но теперь с еще большей злобой косился на кузницу. Аксиныю стал он после этого случая обходить стороной.

* * *

Поздним вечером в избу к Аксинье пришла Еннафа. Невестка старосты Гермогена, она жила в его доме больше двадцати лет, и строгий старик спуску ей не давал, все хозяйство держалось на крепкой невестке. Она рано и быстро постарела, зазмеились морщины, опустились вниз уголки губ, сторбилась шея.

Аксинья сторонилась Еннафы. Зацепились в памяти воспоминания из детства. О том, как Глафиру едва не погубили эти крупные, будто мужские руки.

– Ноги мои крутит, мочи нет, – после приветствия завела жалобу Еннафа. За эти годы причитания, слезы и мольбы об исцелении стали для Аксины делом привычным. Нравился ей человек или нет, каждому пыталась она помочь.

Протягивая Еннафе мешочек с корешками, Аксинья не удержалась:

– Меня-то топить в Усолке не будешь? Как Глафиру.

Та оторопело уставилась на знахарку, со всей силы сжав холщовый мешочек.

– Помянула... Сколько лет назад это было. Не тебе меня винить. Сама никак родить не можешь. Вся округа судачит. Можешь понять... Ополоумела я тогда от горя...

Баба выскочила на улицу, а Аксинья прислонилась к стене. Не рада была, что вспомнила прошлое.

* * *

Почти каждую субботу Аксинья с Григорием наведывались в Соль Камскую – узнать новости, по базару походить, людей посмотреть да себя показать. Аксинья любила появляться на народе с мужем. Оба

нарядно одетые, молодые, красивые, они выделялись в любой толпе. С удовольствием она слушала шепотки всезнающих городских кумушек:

– Вон смотри, кузнец еловский с женой идет. Ишь какая ладна пара! – Впрочем, продолжение бы ей не понравилось: – А деток Бог не дает! Прогневали чем-то.

Накануне дня Святого Георгия^[60] на главной площади увидели они неприглядную картину. Запах дыма и печёной свиньи окутал округу удушливым туманом. У деревянного помоста толпился люд.

– Колдуна жгут! Поделом ему!

– Людей изводил, болезни насылал!

– Слыхали, у него младенцы, засушенные в бутылках! Страсть!

– И глаза человечьи! И хвосты крысиные!

– И змеи сушеные!

– Проклятый басурманин!

Аксинья поняла, что речь шла про безобидного киргиза-лавочника, у которого она порой покупала заморские травы.

Крики бедного старика становились все громче. Наконец они умолкли – огонь поглотил его целиком на радость толпе, улюлюкавшей и выкрикивавшей проклятья.

– За что его? – обратилась Аксинья к молодой, бедно одетой женщине, с жалостью во взоре наблюдавшей картину казни.

– У соседей его дочка маленькая захворала. Киргиз продал им, значитца, лекарство, чтобы сбить горячку. Только не помогло оно, и девчушка умерла. У другой семьи, которая накануне приходила за отваром, значитца, сгорела изба. Колдун, говорят. – Она вздохнула и отвела глаза от костра.

– Так в чем виноват-то? Не всякую горячку излечить можно. А дом сгорел?.. Он при чем тут? Что за дурость? – Аксинья не сдержала чувств.

– Молчи лучше. – Муж прижал ее к себе и вывел из толпы.

– Гриша, как же так?

– Аксинья! Та же смерть может ждать и тебя. Люди сейчас обозлились, ищут виноватых. Так всегда бывает в лихую годину. Не лечи ты людей, утихомирься, не то колдуньей объявят и тебя, а я вдовцом останусь!

– Нет, Гриша, меня не тронут. Я ведь своя, местная, русской крови. Не киргиз-иноверец, – храбрилась она, а страх все же угнездился где-

то в самой глубине сердца.

– Ох, Акси́нья, не слушаешь мужа. Выброшу все травы твои колдовские да котищу увезу куда подальше в лес, чтобы не вернулся.

– И не вздумай! Я тогда тебе покажу. – Серьезный разговор перешел в шутливую перепалку.

Григорий Акси́ньино́го Уго́лька невзлюбил, постоянно его шугал, кот отвечал ему столь же явной неприязнью, шипел, выгибал спину, а однажды нагадил в сапоги. Кузнец чуть кота не прибил, попинал хорошо. Но глаза жены, полные слез, утихомирили гнев. После того случая Уголек присмирел и только косился на кузнеца откуда-нибудь с печи или из-под лавки презрительно сощуренными желтыми глазами.

Жизнь в Соли Камской и окрестных деревнях становилась все хуже. Хлеба собирали мало. Коровы жалостно мычали, вздымая тощие бока. Зверь лесной и рыба будто скрылись куда подальше от голодного народа. А из Москвы шли и шли грамоты с повелением отправлять подводы в города.

– Пусть сами кормятся. У детей своих должны отрывать да по малым ценам людям Чердынского воеводы отдавать! Сажать уже нечего, амбары пустые! – кричали на площадях злые мужики. Но каждый понимал: слово царя – закон, хочешь – не хочешь надо подчиняться. Иль уходи в тайгу густую, живи там, как зверь, к людям не выходя. Но кому такая жизнь надобна?

Все уже присягнули на верность новому царю Дмитрию, признав его законным правителем земли Русской. Не заметили солекамцы большой разницы – то ли Федор Иоаннович, то ли Борис Годунов, то ли чудом спасшийся Дмитрий – все одно: подати повышаются, народ бедствует, и просвета в этом море черном не видать.

* * *

Дружба – как стекло: разобьешь – не сложишь. Помирились подруги, ведь как сестры они были, вместе росли, радости и печали делили. А оскомина от ссоры осталась.

Глянет, бывало, через стол Акси́нья и уверена: неприязнью дышит Рыжик в ее сторону, сморгнет – показалось ей. Подруга, как всегда, озорна и весела, хохочет, песни дурашливые затягивает, на Зайца вешается бесстыже. И так ее утомило разгадывание Ульянкиных шарад, что решила Акси́нья держаться от нее подальше.

Благо невестка ее была подругой наивернейшей, и от нее каверз можно было не ожидать. Всегда Софья спокойна, приветлива, приятно с ней и поговорить, и помолчать.

У Вороновых в тесноте да не в обиде жили две семьи. Светлицу отдали молодым, пристроили к ней с юга клеть. В избе было весело – Васька своей луженой глоткой оглашал избу и днем, и ночью. Горластый, крупный, уверенный, что все вокруг должно крутиться вокруг него, он был непохож на тихушников-родителей.

– Вылитый дед, – хвастался Василий. – Громкоголосый, весь в меня. Одно имя у нас чего стоит, царственный!

– Царь ты мой! – охала Анна.

Рожала София долго и муторно, видно, оттого что запоздала с ребенком. Акси́нья боялась, что племянник ее никогда не родится, угробит мать. Но Бог сжалился над Софьей – через два дня крупный младенец наконец вылез из ее утробы, огласив всю округу громким ревом.

И Софье Бог даровал свою милость. Всем, только не Акси́нье.

Глава 3

Грех

1. Зависть

Весной 1606 года царь Дмитрий сыграл пышную свадьбу с полячкой Мариной Мнишек. Казалось, новая власть надолго установилась над очумевшей Русью.

Василий Шуйский, честолюбивый боярин, давно подговаривал верных людей сбросить басурманина. Дмитрия, а вернее монаха-расстригу Гришку Отрепьева, убили зверски, отплатив за все издевательства над Московией. Тело проволокли через Спасские ворота на Красную площадь, сняли одежду, несколько дней глумились над телом «царя»: и дудку в рот воткнули, и на распоротый живот пристроили маску потешную, которую готовил «царь» для карнавала.

Бабы ревели и крестились, глядя на непотребство, а людишки сыпали на распухающее тело всякие нечистоты, мазали дегтем. Когда предали земле изувеченное тело Гришки, опять пошли всякие слухи. Мол, бесы ликуют, радуются, что воссоединился с ними «царь». Еще говорили, что тело как ни закапывай все равно на поверхности оказывается, возникает то на кладбище, то у богадельни.

Василий Шуйский, чтоб слухи эти поганые пресечь, повелел тело сжечь и пеплом выстрелить из пушки в сторону Польши, откуда расстрига и пришел на землю русскую. Шуйский стал новым царем, но на том смута не закончилась. Возникали все новые самозванцы, на юг стекался недовольный, лихой народ, зрели восстания и бунты.

Пермяки истово крестились, прося Бога отвести беду от их земель. Внезапно зимой того же пакостного 1606 года стали ходить слухи, что инородцы местные, ногайцы и татары, прознав про смуту великую, решили ясак царю не платить. От невыплаты дани до открытого неповиновения и похода на русские города уже недалеко.

Воевода отправил войска, удалось по-доброму договориться с родами ногайскими – все по-прежнему остается, мягкую рухлядь исправно привозят, и тогда останутся в целости и сохранности с семьями своими и имуществом. Но страх у народа остался. Большого порядка, твердой руки дьяки и подьячие не чуяли над собой, воровали по-страшному, мзду просили немалую, народ скрипел и платил.

* * *

Григорий день и ночь пропадал в кузнице. Август катился к самому концу. Деревня готовилась к страде. Акси́нья с Фимкой, не разгибая спин, дергали лён. Пряди его, длинные, крепкие, удались на славу. Солнце выкатилось к полудню, пот стекал градом.

– Ефим, закончишь? – Рыжий парень кивнул. Акси́нья не могла нарадоваться на своего помощника. Даже теребление льна, исконно женская работа, не возмущала его. – А я тебя покормлю досыта.

– Иди, – подмигнул Ефим. – Мне миску побольше бери, уханькался.

Акси́нья уже открыла дверь и замерла. В трех саженьях^[61] светловолосый мужик, стащив крышку с колодца, гремел ведром.

– Оставь, не трогай! – подобрав подол, Акси́нья побежала к нему.

– Почему запрещаешь? Хочешь, чтобы умер я от жажды? – синие глаза сверкнули насмешкой.

– Плохая вода в колодце этом. Нельзя пить ее. – Два десятка лет назад дочка Гермогена утопла в колодце. С той поры считался он поганым, воду старались не брать. – Подожди, кваса тебе налью.

Незнакомец жадно пил из ковша, влага стекала по его светлой бороде, капала за шиворот, а он довольно жмурился. Теперь Акси́нья его разглядела. Огромного роста. Светловолосый, с синими пронзительными глазами. Порты дорогой китайской ткани, рубаха по горловине отделана жемчугом и бирюзой, легкий шелковый опашень с резными пуговицами... Богач.

– Спасибо, чародейка. Твоя доброта сродни твоей красоте. Кто ты?

– Я жена кузнеца... – Акси́нья выпрямилась. Нахальный мужик ощупывал ее глазами.

– Сразу видно, непростая баба, – открыто смеялся синеглазый.

– Прощай. – Акси́нья ощутила, как щеки наливаются жаром.

– Зовут тебя как, кузнецова жена?

– Без надобности тебе имя мое. – Она хлопнула жалобно скрипнувшей дверью перед его носом.

Вечером Григорий вернулся в избу куда раньше обычного. Вздуродраженный, веселый, он хвалился:

– Строганов нанял меня. Оружие, подковы у его людишек, телеги... Работы тьма!

– Какой еще Строганов? Откуда он в наших краях взялся?

– Так в нескольких верстах, под Солью Камской, их городок. Нанял меня Степан, младший сын Максимов.

– Почему же тебя наняли? Город ближе, мастеровых больше.

– Да кто же его знает! Зашел в кузню, посмотрел на работу мою. Понравилось, видно.

– Сегодня он в кузницу приходил?

– Да, с Гермогеном дела у него какие-то. Аксиныяа!

– Да что ж ты радостный такой?

– А ты не понимаешь? Такую деньгу хорошую мне обещали, женушка! Заживем! Избу расстроим, одежды новой купим, скотины возьмем, девку тебе в помощь! – возбужденно блестя черными глазами, обещал муж.

Аксиныя молчала. Дурное предчувствие сжимало сердце стылой волной. Но Григорию она ничего не сказала. Не поверит, будет только хуже.

* * *

Строгановы, ходившие в любимчиках у Бориса Годунова, были не в почете у Дмитрия – не понравилось ему, что владеют они обширными угодьями, новые земли присоединяют при потворстве воевод пермских.

Перед Шуйским, новым царем, Строгановы решили выслужиться. В небольшом шумном становище под Солью Камской готовили обоз с припасами, оружием. Как встанет лед, укатается санная дорога, так строгановские люди отправятся в Москву.

Аксиныя теперь нечасто видела своего мужа. Дневал и ночевал он в строгановском лагере. Не желал терять ни минуты драгоценного времени, оплачиваемого нежадным заказчиком по высокой цене.

В один из тех дней, когда в воздухе уже пахло осенью, Степан нагрнулся в Еловую. Постучал в знакомую избу. Аксиныя наливала важному гостю пенистый напиток, а руки тряслись.

Понятно было, что Степан тщеславный малый. Бабское нутро сразу чуяло в нем погибель. «Не одну девку ты попортил, дружок, ишь как рыщешь глазами», – думала Аксиныя.

– Тоскуешь одна, без мужа-то? – оторвавшись от кувшина, Степан смотрел на Аксиныю.

– Жажду утолил? – Она оправила убрус, спрятала выбившуюся прядь. – Дел у меня много, некогда с тобой лясы точить.

– Жажду, говоришь, утолил... Нет, горит все, краса моя. Мочи нет.

Синие глаза, не моргающие, упрямые, смотрели на Аксинью. Степан Строганов, низко пригнув голову, вышел из избы. Аксинья долго смотрела ему вслед.

* * *

– Может, не надо. Ну их, копейки эти! Редко я стала тебя видеть, соскучилась вся, – прижалась Аксинья к мужу. – Сколько дней уже не видела.

– Да что ты, голуба. Я пообещал, отказаться не могу. Потерпи ты, скоро закончу работу.

Ночью Григорий старался успокоить жену страстными ласками, а она все томилась, чувствуя, что грядет что-то страшное, неотвратимое.

Опять, как когда-то в пору девичества, мучили ее тревожные сны, не дающие спать. То гонится за Аксиньей с лаем собака, долго гонится, по ночному лесу, она обернется – нет собаки, собирается вернуться – опять собака появляется и оскаливается. «А глаза ведь у собаки синим огнем горят», – ворочалась в полночь Аксинья. То черт ей приснится, старый знакомец, то еще какая муть, и нет рядом мужа, чтобы успокоить, утешить мятущуюся женку.

– Не растаешь на солнце?

Опять он! Аксинья выпрямилась и облизнула капли пота. Крупный лук, выдернутый и уложенный рядами, желтел на грядке.

Степан снял шапку и вытер пот.

– В тенек бы, хозяйка.

Аксинья боялась Степана с его ласковым взглядом, родинкой над губой, вкрадчивым голосом.

– Занята я. Иди ты своей дорогой.

Она готова была уже молить его: оставь в покое!

– Грубая ты, неласковая. Мужу твоему деньги хорошие плачу, а ты грубишь мне.

– Чтоб тебе провалиться, – прошептала она. И услышала, как идущий за ней след в след Строганов хмыкнул в ответ.

Изда встретила прохладой, которую дерево заботливо хранило с ночи. Аксинья впустила назойливого гостя, ополоснула в сенях руки и

зашла в избу. После яркого солнца глаза ее ничего не видели в полутьме. Она натолкнулась на какую-то преграду и вскрикнула.

– Дай поцелую. – Его родинка близко, чуть наклони губы – и вот она.

– Окаянный. – Аксинья вывернулась из его рук и побежала к печи. – А этого хочешь? – Сжала в руках кочергу, тяжелую, толстую, сделанную основательным мужем.

– Давай!

Он ухмыльнулся и приблизился к ней, сцепив руки за спиной. Аксинья сжала кочергу крепче.

– А получай! – Она стукнула его по руке.

– Покалечишь, – Он захохотал и выхватил кочергу. Покрутив ее в руках, согнул, кинул в угол и вышел из избы, бросив напоследок:

– Сильная ты женщина. Рука-рученька болит.

Он выслеживал Аксинью, как дичь лесную, как лань, как трепетную косулю. Будь Строганов крестьянином, Аксинья бы в раз пресекла его блудные взгляды. Любой мужик на селе помог бы ей, укоротил блудника. Муж призвал к ответу... Но Строгановы...

– А чегой-то к тебе мужик этот ходит? – Фекла оперлась мощной грудью о забор и уходить не спешила.

– Строганов?

– А, вон даже кто. Я слеповата стала, не вижу ни зги.

– К Григорию заходил.

– Так его ж третий день нет. Фимка от вас не вылазит. Озимые сеять уж скоро...

– Отпущу его сегодня пораньше, Фекла. Не переживай.

Аксинья знала, что разгильдяй Макар и не заметил отсутствия старшего сына. А вот что отвечать на вопросы любопытной соседки, она не знала.

– Ты смотри, Ксинька, хвостом не крути перед чужими мужиками. Муж быстро косы на кулак наматает.

– Ты прости, дел у меня много. – Аксинья быстро ушла в избу, а соседка проводила ее понимающим хмыканьем.

Степан Строганов так и повадился ходить чуть не каждый день в избу кузнеца. Наглый, уверенный в своей неотразимости, он и не задумывался, какие беды это сулит бабе. В Еловой стали поговаривать

о том, что купец неравнодушен к Аксинье. Мол, мужа отослал, а сам здесь забавляется с женкой.

– А может, плата идет и за одно дело, кузнечное, и за другое, постельное, – хохотали соседки. – Семейный подряд.

* * *

В промозглый августовский день к Аксинье пришла неожиданная гостья. Рыжик обшарила глазами избу. Уселась в красном углу без приглашения. Аксинья мерзла, куталась в цветастый платок, подаренный мужем. В ту памятную ночь, когда сбежала она из-под замка, когда пренебрегла отцовской волей. Платок истрепался, выцвел, но по-прежнему грел плечи хозяйки.

Гостья молчала. Пухлые губы шевелились, пальцы гладили вышивку на широком подоле.

– А платок мой, – сказала Ульяна, – мой.

– Ты о чем, подруга? – Голос дрогнул, изменил Аксинье.

– Какие ж мы подруги-то? Сама подумай. Враги мы с тобой, Аксинья.

– Иди домой, Ульяна. Не хочу я пустые разговоры вести.

– Зря. Я тебе могу много интересного рассказать. Хочешь?

– Нет... – Аксинья встала. Дрожь пробежала по ее узкой спине.

– Бедняжка ты, ни одного детенка. Мужу твоему-то не страшно. Оставил кровинушку...

– Уходи!

– Дура ты... Знахарка, ведунья... А тупее братца скудоумного! Ничего ты не видишь перед носом своим.

Ульяна

Рыжик почти не помнила матери, ее запаха, голоса, ласковых слов. Она надеялась, что рыжеволосый милый лик, который видится ей во снах, – матушка. Побожиться в этом она не смогла бы. Отец не любил разговаривать о Дарье. Суровый мужик считал это баловством.

Пяти лет не было Ульяне, когда осталась она без матери, без ее заботы и тепла. Девочку отдали на воспитание Евсевии, бабке по отцу. Та женщиной была строгой, баловства никакого не допускала и держала внучку в ежовых рукавицах. Так же она строила детей своих, двух дочерей и беспутного Лукьяна. Бабка проводила ночи на коленях

перед образами. Она мечтала отдать сына или дочь в монастырь. Дети удались не в нее, были не чужды мирским радостям. Тогда Евсевия стала грезить: мол, внучка, Ульянка станет невестой Христовой. Что с этого бы получилось, неизвестно. Вряд ли что хорошее, учитывая, что Ульянка девкой была шепутной. Проверить это не удалось – бабка умерла во сне.

Ульяна, как и положено, надрывалась от плача во время поминального обряда, а в душе ликовала – наконец-то она будет предоставлена самой себе. Но десятилетке отец хозяйкой избы быть не позволил. Кстати, сдружилась она с соседской Аксиньей и была отдана под пригляд Вороновых.

Для девочки Анна и Василий стали теми родителями, заботливыми, внимательными, мудрыми, которых у нее не было. От всего своего маленького сердца она их полюбила, пыталась стать им дороже Аксиньи.

Но не смогла.

На первом месте для матери и отца всегда была родная дочь. А Рыжик – да, почти родная, забавная, любимая, голосистая. Почти. Когда Аксинья сильно простыла, испуганная Анна проводила ночи напролет у ее постели, не обращая внимания на Ульяну. Девочка это запомнила и возненавидела... Аксинью...

Даже соболек, подаренный отцом, и тот пошел в руки Аксиньи, а хозяйку свою цапнул за палец. Рыжик исхитрилась его приманить на куриную требуху. Тонкая шея в ее сильных пальцах сломалась в раз. Был зверь – и нет его.

Она боялась показать темноту души своей словом или усмешкой, поступком или взглядом, понимала, что ее могут выкинуть из дружной семьи. Так Ульяна, милый Рыжик, с детства освоила искусство притворства. Она могла улыбаться, хвалить, угождать, в душе желая растерзать, накричать, унижить. Всегда она чувствовала потребность хоть в чем-нибудь да превосходить Оксюшу – в рукоделии ли, в пении, в густоте косы.

Когда Ульяна рано стала округляться, заневестилась, это радовало ее, как ничто другое. Наивная подруга хвалила ее косы, ее пышную стать без всякого злого умысла, а Ульяне виделась в каждом слове зависть – то самое чувство, которым она была полна до краев и не могла расплескать эту полную чашу.

Детские забавы с деревенскими мальчишками стали для Ульяны опять поводом показать свое превосходство, свое безразличие к опасностям. Да и льстило Ульяне безграничное уважение Лешки и Семки. Наглый, острый на язык сын Ермолки-пьяницы дергал Ульяну за косу, совал ей дохлых сверчков за шиворот. За что получал от нее тумачи. И скоро всем стало понятно – пройдет несколько лет, и будет сыграна свадьба. Эти двое друг другу подходили необычайно.

И не стало Лешки. Где-то у обочины государевой дороги закопали его косточки.

С первого взгляда, брошенного на кузнеца, Ульянка поняла, что Григорий – ее судьба. Он вырвет ее из мира нелюбви и пренебрежения, он даст ее томящемуся телу то, что оно так отчаянно просит. Потому Ульяна выпрашивала у Василисы о ночных забавах с мужем, потому хотела понять, что же ее ждет во взрослом мире, в замужестве, в постели с кузнецом.

Ни зазывные взгляды, ни проникновенные песни, ни колыхания пышной груди не помогали. Девка видела, что порой глаза кузнеца с мимолетным интересом скользит по ее пышной фигуре, но взгляд не задерживается.

Ульяна попросила у старой знахарки приворотное зелье. Глафира сначала выпросила: кого приворожить хочет девка, почему да как. И огорошила: «Кузнец не твой суженый. Приворот только погубит его, уморит, а ближе к тебе не сделает». «Знала, старая ведьма, что зреет у Гришки с Аксиньей любовь, потому и встала стражем на пути к моему счастью», – догадалась потом Ульянка.

Чутко следила за каждым взглядом, каждым движением кузнеца и раньше подруги поняла, что он к Аксинье неравнодушен, что не может противиться своему желанию смотреть на ее каштановую головку, касаться ее руки, слышать ее голос, насмешничать над ней.

Страх и ненависть темными змеями сплетались в душе Ульяны. «И здесь она, злодейка, меня опередила», – в бессилии скорчившись в своей темной избе, выла она.

Оставалась одна надежда: заботливая дочь, Аксинья не помыслит о другом мужчине, кроме своего жениха Микитки. И надежда эта рухнула, когда Ульяна, заметив выскользнувшего вечером из избы кузнеца, проследила за ним.

Идя по узкой тропе, Григорий не смотрел по сторонам, иначе увидел бы крадущуюся Ульяну, пышную фигуру которой не могла скрыть молодая листва. С болью смотрела она на подругу и кузнеца, оживленно болтавших на берегу Усолки. Они не целовались, даже близко друг к другу не подходили, но между ними уже протянулась та нить, что связывает любящих людей.

Ульяна наблюдала за подругой, видела, как влажно блестят у той глаза, как порой румянец окрашивает нежный цвет ее лица и ждала... Ждала, когда же подруга признается ей и начнет поверять свои сердечные тайны. Тут бы уж Ульянка нашла, что сказать. К ее удивлению, Аксиныя хранила в тайне свидания с Гришей. «Не ждала от нее, стервятницы, такого... Осторожная сучка», – злилась она.

А когда Аксиныя засела дома и перестала ходить на свидания, Ульяна выждала день и, подкараулив возвращающегося впотьмах Григория, сказала:

– Утварь прохудилась. Поможешь?

– Да. Завтра заберешь, – сухо ответил кузнец, забрав посуду.

– А угостить меня, Гриша, ничем не хочешь? – осмелилась девка.

– Нет. Не хочу. Уходи.

– А я не уйду, – внезапно обхватила широкую грудь кузнеца Ульянка. – Как ни прогоняй, на пороге лягу, а не уйду.

Ее пышная грудь прижималась к мужской спине, горячая рука прожигала рубаху Григория, и скоро она почувствовала, как быстро заколотилось его сердце, как участилось дыхание. Здоровый мужик не мог не отозваться на открытый призыв. Не тратя времени на объятия, кузнец завалил ее на лавку, потискал, вошел в податливое тело.

Сначала взвизгнув от боли, Ульяна забыла обо всем. Она не ошибалась. Григорий нужен был ей, нужен весь, от крупных его рук, пахнущих железом, до мощной груди и горячих бедер, так тесно прижатых к ней. От боли не осталось и следа, она растворилась в мощном вихре похоти. Самое главное удовольствие приносила мысль: «Я перехитрила Аксиныю. Он мой. Он меня полюбит. Не может после такого не полюбить»!

Несколько раз удовлетворил с Ульяной свои плотские желания Григорий в тот вечер. Ульяне стоило усилий сдерживать слезы боли. Ждала она благодарности, ласки, слов хороших, а в ответ получила только:

– Иди домой.

И все.

Еще не раз Ульяна умоляла Григория о милости, прокрадывалась, как кошка, в его избу. Кузнец скоро жалел о содеянном – попалась она ему под разгоряченную руку, вернее сказать, под разгоряченный уд.

– Блуди, Ульянка, с кем другим, я тебе не помощник, – услышала она однажды ночью.

Шли дни, и, когда парень понял, что дала ему Аксинья отворот-поворот, сам нашел Ульяну, проскользнул ночью в ее избу.

– Иди ко мне, я ж знаю, скучала.

– Ничего ты не знаешь. – Ульяна отвернулась, чтобы не увидел парень, какой радостью горят глаза.

– А я тебе платок куплю. Красивый, заморский. С цветами большими, я знаю, тебе такие нравятся. Завтра в город поеду и куплю.

– Гриша, не уходи больше. Не бросай меня.

Он долго терзал ее истомившуюся плоть. А когда семя и злость вышли наружу, Григорий смотрел через мутное окошко на лучину в окне Вороновых. Ульяна видела в его глазах тоску и исходила от злобы – с ней валяется в постели, ее сжимает в руках, а тоскует по проклятой Аксинье.

– Всем хороша ты, загораешься быстро, как сухая трава. Бесстыжая, как продажная девка. Но не любя ты мне, – чуть не с сожалением сказал он ей в одну из таких буйных ночек.

Ульяна предвкушала тот момент, когда расскажет Аксинье про свои пашни с Гришей, как вдруг кузнец проговорил:

– Ты сама ко мне больше не ходи, и к тебе дорожку забуду. Другая мне нужна.

И платок с заморскими цветами так и не подарил.

Часто Ульяна представляла, как затянет ремешок на Аксиньиной тонкой шейке. Или будет держать темную голову под водой, пока тело не обмякнет.

Один раз прокралась она вслед за парочкой, увидела, как кузнец кинул свою рубашку да уронил туда Аксинью. Не выдержав, убежала. Скоро Ульяну стало мутить, набухла грудь, и, наслушавшаяся женских разговоров с детства, она поняла, что понесла. Первой мыслью было пойти к Григорию с новостью. Не решилась рассказать про ребенка.

Пыталась вразумить, вернуть, говорила о страсти своей, а получила иное.

Прижав ее к кузне, Григорий тихо и внятно сказал:

– Ты лучше молчи о наших шашнях. Ничего особого у нас с тобой не было. Просто блуд выиграл, его мы с тобой и тешили. Ты в этих делах девка опытная – ничего не потеряла.

«Он даже не заметил, что у меня первым был», – прижгло Ульяну.

– Скажешь что Аксинье, ее родителям, кому в деревне, тебе мало не покажется, – неопределенно пригрозил он, а Ульяна испугалась. Что-то мрачное, жуткое было в его взгляде. Выполнит он свою угрозу, не пожалеет.

Ульяна искала выход из той ловушки, куда угодила, как те лисицы, шкурки которых приносил ее отец Лукьян в охотничий сезон. Не могла ходить к Вороновым, не могла видеть виновницу своего несчастья.

– Хоть топись, – признавалась она себе томительными, душными летними ночами, когда ворочалась на лавке до утра, обливаясь потом и слезами.

Помог случай. Зайца за человека ни александровские, ни еловские девки не считали. А он молча сох по Ульянке. Рыжуха затащила убогого в кусты, и обрадованный парень превратился в мужчину, страстные ласки Ульяны подогревались безнадегой.

Скоро девке стало уже казаться, что сама она выбрала Георгия.

Все забыть, засыпать, закопать. Быть счастливой.

Жених сдувал пылинки с Ульяны, любил без памяти со всем пылом невинного сердца.

Разохоченная рассказом Аксиньи, Рыжик захотела сходить к Глафире, услышать, что все у нее в жизни будет гладко. И опять на те же грабли наступила. Колдунья сначала корила ее, что на чужого мужика девка позарилась, понесла от него, а потом другому подсунуть захотела свой плод.

– Молчи, Ульянка, паскудница такая! Я жениху твоему ничего не скажу, но и ты берегись. Нарушишь свое слово, я и с того света тебя заберу!

Девка замахнулась на бабу, хотела огреть ее чем тяжелым, а Плут набросился на нее и повис на когтях всем своим немалым кошачьим весом. Кровавые отметины он оставил на ее теле от шеи до бедер и,

яростно шипя, проводил гостью до крыльца. Ульяна бесславно бежала, слыша злорадный смех знахарки.

Вот так получилось, что подруги вышли замуж в одно время, одна – по любви, другая – скрывая свой грех. И обе любили одного и того же парня – деревенского кузнеца Григория.

Свадьба, горячая любовь мужа на какое-то время отодвинули ненависть к подруге куда-то далеко. Колдунья Глафира стала притяжением ненависти Ульяны. Прийти, задушить, поджечь избу – перебирала она в голове, но кишка была тонка. Случайно поймав за околицей ведьминога кота, она с мстительной радостью задушила его и бросила в лесу.

Аксинья пыталась почаще видеться. Ульяна отговаривалась. Недомогание. То мутит, то спину ломит. Будущий ребенок и холодность Аксиньи в Гришкиной постели стали новым предметом радости Ульяны.

Смерть маленькой дочери, заботы о сыне изменили Ульяну. Ей уже казалось все это давним прошлым, любовь к Грише, ненависть к подруге. Но взгляд Григория опять всколыхнул в ней былое. В один из вечеров, когда Ульяна с мужем пришли к друзьям в гости, кузнец внимательно наблюдал за черноволосым Антоном. Скопив взгляд на Ульяну, Гриша взглядом спросил: «Мой?» «Твой», – блеснули глаза любовницы.

Аксинья детей родить не могла. А Тошка – вот он, любопытный и забавный. Ульяна порой сама сажала сына на плечо к Грише. Наивные, простодушные Заяц и Аксинья не замечали, как они похожи.

Порой Ульяна видела: Анна приглядывается к мальцу. Бабе так и хотелось сказать:

– Да, я родила Григорию сына. Я настоящая баба, а не эта доходная курица!

Настал день торжества Ульяны. Она уже успела разочароваться в слюнявом муже. Он не мог дать ей в постели то, чего любострастница хотела.

Аксинья отходила от очередного выкидыша, и Григорий как миленький пришел в Ульянкину баню. Вспомнили они свою лихую молодость, стискивали друг друга, стонали, выли, рычали, будто волк с волчицей февральским вечером.

– Тебе лучше со мной, чем с ней? – спросила Ульяна. Она развалилась на лавке после очередной схватки, сверкала белой пышностью груди и бедер, бесстыдно расставленных навстречу любовнику.

– В постели ты огонь... Но нутро я в тебе гнилое чую, – сказал кузнец.

– Да и ты не святой.

– И то правда. Я пропащий человек.

Оба понимали: есть в них нечто общее. Зависть и животная страсть, тайны в прошлом и скрытое пренебрежение к людям другой породы. Почти месяц длилось безумие. Они встречались в лесу, в бане, за сараями. Каждый из них боялся, что тайна вылезет наружу и жизнь развалится на куски. Эти мысли будоражили хлеще медовухи.

Ульяна сама не знала, от кого зачала кудрявую, рыжую дочку, но молила всех святых, чтобы она была от Гриши.

– Как Богородица тебя в соляной столб не превратила? Молишь, чтобы дочка от полубовника, а не мужа была.

– Нет, Гриша. Она мать, меня поймет. Лишь бы губа у дочки не была заячьей.

Потом встречи их сошли на нет. Кузнец боялся потерять жену и вдоволь напился Ульянкиной похоти.

Но Ульяна наблюдала за семьей подруги. Умерла Глафира, меньше стало у Аксины защитников. Подругу точил червь: «Расскажи, расскажи, расскажи!» Какой толк от тайного торжества, от того, что у нее ребенок Гришин растет, если Аксиныя ничего не знает – не ведает, живет себе в любви мужниной, пустоцвет.

* * *

– Зачем ты мне сейчас это рассказываешь? – Аксиныя чувствовала, что злоба подруги придавила к земле. Трудно стало дышать, когда поняла она, кто с ней рядом был с самого детства.

– Захотелось. Знаешь, как мы над вами потешались с Гришкой, ой... Все животики со смеху надорвали! Прямо под носом у вас дела творили. А вы с Зайцем ни сном ни духом!

– А мужа... моего не боишься?

– Так ему скоро не до меня будет, с твоим бы полубовником разобраться. – Ульяна быстро поднялась и вышла из избы, оставив за

собой осколки жизни подруги.

Одного она не сказала. До сих пор Рыжик боялась Гречанку. Вдруг с того света придет?

2. Волк

В Аксинье после рассказа Ульяны будто что-то сломалось. Она лишилась сна, представляя Григория в объятиях рыжей лисы-подруги.

– И сына ему родила... Она, она, окаянная... Не я его жена перед Богом и людьми.

Аксинья не знала, как теперь жить с мужем, как глядеть в темные колдовские глаза, как прижиматься к его телу, тершемуся о пышную грудь соперницы.

Уйти от мужа она не могла. Да, отец звал его басурманином. Не мог простить давнюю обиду. Но есть то, что выше чувств – обычай и честь. Василий Воронов проклянет дочь, которая посмеет уйти от законного мужа.

Аксинья бессильно сжимала кулаки.

Другую бабу, может, и простила бы, но Ульяну... Хитрая, наглая... Когда-то была крестовой подругой^[62], а теперь покусилась на чужой каравай. Счастлива в браке, двое детей. Нельзя простить.

Была история с Марфой – стерпела. Больно было. Страшно было. Но не безнадежно.

Не оттуда пришла беда. Всегда между Аксиньей и мужем стояла Ульяна со своими греховными желаниями, со своими детьми, со своей завистью.

Лишь Григорий спрыгнул со своего верного Абдула, к нему подбежала Ульяна:

– Женка-то твоя времени даром не теряет. Тебя нет дома, а Строганов-то только порты успевают поправлять.

– А ты свечку держала? Или помогала подруге?

– Сама не видела, – не стала скрывать молодуха. – Другие люди подтвердят, долго у нее Степан торчал. А ты сразу ничего не спрашивай. Раз насильничал негодяй – ясно дело, будет мужу жаловаться, виниться... снюхалась по своей воле – дело другое. Грех!

– Наговариваешь – убью! – занес руку кузнец.

– Ее убивать придется, женушку твою ненаглядную, – хихикнула Ульяна.

Аксинья слышала шаги вернувшегося Григория. Она не схватила по обыкновению лохань с водой, полотенце, не выскочила, радостная,

ему навстречу. Стояла у печи, безвольно опустив плечи.

Муж молча скинул кафтан, стянул сапоги, кряхтя и чертыхаясь. Также молча сел за стол и с причмокиванием принялся за перловую кашу. Аксиные всегда эти звуки казались милыми и забавными, а здесь что-то черное поднялось к горлу и застряло там тяжелым комом.

Потрескивали угли в печке, жужжала назойливо муха, а тишина меж мужем и женой становилась все плотнее.

Вытерев усы, стряхнув крошки с отросшей бороды, Григорий наконец повернулся к Аксиной:

– Что за слухи ходят вокруг вас со Строгановым? Изменять мне вздумала?

– Да, любовник он мой! Ты с Ульянкой все годы эти развлекался. А мне нельзя?

– Что?! – Кузнец схватил за руку жену и сжал. – Что несешь, баба?

– Она мне все и рассказала. И до свадьбы валялись вы с ней, и после! Тошка от тебя! Ох, я дура, даже в голову мне это не приходило!

– Именно что дура! Не твоего ума дела! Что недодавала мне, то у Ульянки получал! Сама виновата! – даже тон, которым говорил муж, внезапно поменялся. Грубый, безжалостный.

– Гриша, да как же...

– Значит, измену ты признаешь? – подступал к ней муж.

– Да. Отстань ты от меня, ирод. – Усталая, поникшая Аксиная хотела раствориться в воздухе, лишь бы не видеть Григория.

Муж закрыл дверь на крючок. Даже подпер ее для верности засовом.

– Чтоб не сбежала. Жену-прелюбодейку муж должен наказать, – плотоядно усмеялся Григорий. Он ушел в клеть. Аксиная даже не попыталась бежать, сидела на лавке, с ужасом понимая, что это – теперь ее жизнь, исковерканная и раздавленная.

– Снимай сарафан! – гаркнул он.

– Нет, уйду я от тебя, Гриша. Не жить нам больше с тобой. Кончилась наша жизнь семейная.

– С любовником больше понравилось! Потаскуха! Никуда тебя я не пущу! – Весь гнев свой он вложил в плеть.

Он хлестал по склонившейся узкой спине, которую так любил гладить. Он смотрел на покорный затылок, на выбившиеся волосы и становился еще беспощаднее. После первого удара Аксиная закричала.

От боли перехватило дыхание. Акси́нья упала на колени и только подвывала, поняв, что муж быстро не успокоится.

«Забьет меня до смерти... и ладно», – подумала она, и спасительная темнота накрыла с головой. Сарафан, так и не снятый Акси́ньей, превратился в лохмотья, не прикрывавшие располозованную спину. Григорий пожалел жену, удары были слабыми – для острастки, чтоб больше неповадно было. Не хотел он ее убивать – лишь наказывал за измену.

Когда жена обмякла на полу, он плеснул ее в лицо воды. Акси́нья заморгала, не понимая, что происходит. В один миг память о том, что произошло, резкая боль нахлынули на нее, она застонала.

– Рано еще стонешь, – усмехнулся муж. Будто оборотень, за минуты превратившийся из любящего, заботливого человека в свирепого волка. Свист плети, стоны и крики жены разбудили в нем греховное, паскудное желание. – Это еще не все наказание. Как хорошая жена, должна ты ублажить мужа, которого долго дома не было. Одна беда, Акси́ньюшка! Другого ты тешила, погано мне после него с тобой... Что делать будем?

– Иди к другой. Вон к Ульянке своей, – запекшимися губами пробормотала Акси́нья.

– Ишь чего удумала, не нужна мне другая, у меня жена есть, венчанная. Я знаю другой выход. – Сорвав остатки сарафан, он резким движениям поставил ее на колени, стащил свои портки и пронзил будто копьем. Безжалостно, резко, грубо он овладевал той, которая была его женой, мечтала стать матерью его детей. Испытывал особое удовольствие от ее унижения, от зверства своего. Громкий победный крик исторгло его горло, а Акси́нья и стонать уже не могла, просто рыдала тихо, беззвучно.

– Оденься! И обмой своего мужа! – приказал мучитель.

Еле выпрямившись, Акси́нья потащила лохань. Смочив ветошь, она обмывала когда-то любимое тело и не чувствовала ничего, кроме ненависти. Уставший муж скоро захрапел на лавке.

Акси́нья ополоснула свою истерзанную плоть, исхитрилась помазать спину травяным настоем. Встала у лавки и долго стояла, не отрывая глаз от мужа.

Она взяла с поставца большой тяжелый нож, которым разделявала мясо. Он заманчиво оттянул руку. Акси́нья смотрела на отражавшее

свет лучины лезвие, гладила дорогую костяную рукоять, будто желанного любовника.

Григорий повернулся на другой бок, причмокнул во сне губами. А она с рыданием бросила нож на стол. Рухнув на колени перед образом, долго всматривалась в печальные глаза Богоматери. Пыталась молиться, но слова застревали где-то в горле. Она искала ответ на высказанные вопросы. Но Богоматерь хранила молчание.

Когда наутро Акси́нья проснулась, мужа в избе уже не было. Со стенами она дошла до кувшина с квасом, осушила его чуть не до дна и легла на лавку.

В дневном мареве работы, не успевая даже утирать пот со лба, Григорий и не вспоминал о том, что он сотворил. К вечеру жестокие сцены, творимые им с собственной женой, начали вспыхивать в его голове, и совесть проснулась.

Ушел подальше в лес, упал на траву и закричал, самого себя удивив дикостью своего хриплого голоса. Взлетели испуганно лесные птицы, где-то далеко отозвался резким воем какой-то лесной зверь.

Кузнец до конца сам себя не понимал, не знал, что плен, унижения, пережитые испытания оставили черную метку в его душе. Что на измену, предательство ответит он таким зверским образом. Что с любимой своей голубкой, заподозренной в прелюбодейском деле, сотворит то, что некогда Абляз-ага приказал сделать с Верой, изменившей хозяину рабыней.

– А если это просто слухи? Злые наветы?! Ульянка наговорила, а я и поверил... Акси́нья гордая, не оправдывалась. Характер – кремень. Господи, – эта ночь была самой страшной в жизни Григория, сравнимой лишь с той крымской ночью, когда он оплакивал истерзанную Веру, первую свою любовь.

* * *

Акси́нье казалось, что она видит дурной сон и скоро проснется. Тогда все будет хорошо, как раньше: любящий муж, уютная изба. Даже к матери боялась она идти: как рассказать такое, как признаться в издевательствах мужа?

Вспоминались теперь ей слова Глафиры о том, что есть у Григория темное дно, что с ним будет непросто, что в плену что-то с ним случилось, лишившее его мягкости и доброты. Всплывали в памяти

Аксиньи картины жестокой расправы Григория над лесными татями, напугавшие ее когда-то. Суровый, жестокий человек, мстивший своим обидчикам, Григорий и сам оказался способен на насилие. Когда сердце его охватывала холодная ярость, он лишался всякой человеческой жалости и сострадания. Надругался над телом жены – и уехал утром как ни в чем не бывало.

Избил, истегал спину... Испокон веку мужики так делали. Простить надобно.

Насильничать богомерзким способом... Над женой своей венчанной... Грех. Не прощу вовеки.

Несколько дней лежала Аксинья на животе, стонами разбавляя тишину избы. Зеленая мазь настаивалась у печки, котяра примостился под боком, а сон все не шел. Вновь и вновь прокручивала она в своей голове картины страшной ночи. Думала, почему же бесконечное счастье ее замужней жизни обернулось грязью и пакостью. Так нарядная, дорогая одежда порой скрывает язвы, безобразные наросты, гниль на коже.

– Аксиньюшка, – за дверью раздался чистый Софьин голосок. «Ребенка уж родила, а все тоненько говорит, будто девчонка», – усмехнулась Аксинья.

– Заходи, Софья, – откликнулась она, Уголек громко заорал на своем кошачьем языке.

– Бледная... На тебе лица нет... Ты заболела. А что ж нам не сказала? Мы бы... – засуетилась Софья.

– Не надо родителям и брату знать. Обещай, что не скажешь.

– Хорошо, молчать буду. Что случилось-то?

– Муж решил поучить меня. Да увлекся. – Софья ахнула, увидев подживающее месиво на спине золовки. Вернувшись домой, несколько раз она открывала рот, чтобы рассказать свекрови об Аксиньиных мытарствах, да в последний момент не решалась. Зачем чужими бедами травить свою мирную жизнь? Помирится Оксюша с Григорием, будут миловаться как прежде, а родственница, разнесшая молву о битой жене, останется виноватой.

На следующее утро Аксинья заставила себя встать с постели. Нечесанные волосы торчали в разные стороны, во рту стоял кислый привкус разочарования, а изба смотрела на хозяйку с немым укором.

Все валилось из рук, в хлеву жалобно мычала недоенная корова, а Аксинья все думала свою черную думу. Внезапно что-то решив, она успокоилась, споро взялась за дело. Тело ее ломило, спина отзывалась тревожно на каждое сноровистое движение, но к ночи все большое хозяйство было накормлено, почищено, обихожено.

Через пару дней, к вечеру, уже привычно зайдя в избу кузнеца, Строганов потребовал квасу:

– Дай, хозяйка, выпить с дороги, – и плотоядно наблюдал за Аксиньей, спускающейся в погреб. Не особо свежа, без того телесного сока, который обычно влек Степана. Смурна лицом сегодня. А что-то его влекло, тянуло неодолимо в эту избу, к молодой с темной косой и неулыбчивыми глазами, тонкой, как девушка. Может, по нраву ему пришелся ее несговорчивый характер, то, что не млела она, как другие бабы, от его льдисто-синих глаз, вкрадчивого голоса, широкого разворота плеч? Может, хотелось ему охоты, преследования, сопротивления, криков жертвы?

Степан, внебрачный сын, вымесок одного из братьев Строгановых, был рожден после того, как молодой еще промышленник обласкал одну вдовицу. Чтобы обошлось без скандала, забрал Максим мальчика в семью. Жена растила мальчика, который удалю и острым языком не давал покоя ни ей, ни законным детям. Отец определил вымеска мотаться по дальним разездам, чтоб поменьше раздражал семью. Степан закупал иноземное оборудование для строгановских заводов, заключал сделки, мог договориться и с бухарцем, и с англичанином... Да хоть с самим чертом! Подружиться с купцами и товар купить подешевле, продать подороже – это к нему. Обаятельный, улыбчивый, рубаха-парень, он мог быть опасным врагом. Обманывать его боялись, предпочитали дружить.

Жители Соли Камской и окрестных деревень всегда с опаской относились к Строгановым. Максим, Никита, Андрей и Петр разделили земельные владения, но мира меж ними не было. Каждый думал, что он обойден, что достались ему худший кусок земли, бедная солеварня. Едины братья были в одном: алчно разевали свои руки на все города и поселения, желая сделать их своими поместьями, а людей – крепостными.

Еще Иван Грозный дал Анике Строганову и его потомкам грамотку на владение землей в Прикамье, Зауралье, на сбор оброка, на торговлю

с англичанами, на соляной промысел. Хитроумные дети и внуки Аники множили богатства рода, становясь все опаснее для простого люда. Последние пять десятков лет земли в Великой Перми переходили к загребушим купцам, и конца и края этому не виделось. Соль-Вычегодская и Орел-городок, вотчины Строгановых, соревновались с Солью Камской по торговым оборотам, по продаже соли, и далеко не всегда солекамцы выходили победителями.

Степан Строганов частенько наезжал с Орла-городка в Соль Камскую: Бабиновская дорога вела в сибирские края, где у него были мутные дела с инородцами. Поговаривали, что скупали Строгановы шкурки соболя, куницы, горноста, белки, зайца за сущие копейки у местных зырян: то за котлы, то за бусы, то за домашнюю утварь. Местные инородцы в мехах особых богатств не видели, даже соболя ценили больше за вкусное мясо, чем за шкурку. А Степан, говорливый, напористый, изучивший нрав дикарей, был настоящим мастером по части таких торговых сделок.

К своим тридцати годам он так и не женился. Менял любовниц, портил девок, вводил в искушение мужних баб и вдовиц. Отец и дядьки уже махнули на него рукой. В деревне Еловой вымесок строгановского рода нашел себе очередную потеху.

Подготовившись к долгой осаде, Степан стал рассказывать Аксинье про города, в которых бывал, про страны заморские – Хиванское ханство, Китай, Персию. Она слушала, устремив на него взгляд, отстраненный, загадочный.

– В черном теле держит тебя муж. А, красавица? – он вытащил из-за пазухи серебряный браслет с чернением. Она вытянула руку, полюбовалась на чудную вещицу.

– Что ж ты не кричишь? Не срываешь браслет с руки?

Она молча смотрела на него. Когда руки его обхватили талию, когда тело его придвинулось близко, Аксинья высвободилась из цепких объятий. Но лишь для того, чтобы закрыть крючок на двери, задернуть тканые занавески.

Она встала перед Степаном, распустила волосы и улыбнулась дрожащими губами.

Он долго целовал ее, шептал что-то на маленькое ушко, покусывал шею, нежил грудь, сохранившую девичьи очертания, гладил ноги с узкими, изящно вылепленными коленями... Почему-то ему жалко

было ее, жалко ее потухшего взгляда, ее побледневших щек. Когда он проводил широкой ладонью по узкой спине, Акси́нья не сдержала стон. Быстро повернув ее, Степан увидел затянувшиеся тонкой корочкой следы плети.

– Это кто ж так тебя? Муж?!

– Да, он самый. За грех с тобой наказывал.

– Так не было до сегодняшнего дня этого греха...

– А слухи были.

– Накажу я мужа твоего, не бойся, в обиду тебя не дам.

Посадив Акси́нью на колени, он продолжил гладить ее тело с еще большей нежностью, будто жалея ее за все пережитое по его вине. Развернул ее к себе лицом, насадил на себя хрупкое тело. Степан заставил ее не отрывать взгляд от его синих глаз, ставших темными, будто грозное небо. С торжеством понял, что Акси́нья жаждет его, что ласки заставили ее разгореться пламенем, потушить которое может только он.

Подкараулив любовников, в тусклом оконце торжествующая Ульяна увидела, как Акси́нья поправляет юбку, как Степан целует ее, а она ему отвечает, еще не остыв после бурно проведенных часов.

Только проводив любовника, Акси́нья поняла, что натворила. Не отмыться, не оправдаться ей вовек. Если муж узнает о том, что происходило здесь между ней и Строгановым, то убьет и ее, и любовника.

Стыд заливал ее мятущуюся душу. Боялась она саму себя, по доброй воле творившую срамное дело с чужим мужиком. Стала она гулящей бабой, на которую отец Сергей наложит епитимью, которую будет бить смертным боем муж, которая опозорит родителей.

– Ненавижу... Ненавижу... Ненавижу, – шептали ее сухие губы в ночную тьму. Мужу ли она говорила слова те или любовнику... Или ненавидела себя за то, какой стала, она и сама не понимала. Браслет она бросила в печь, и серебро долго плавилось, отбрасывая красноватые отблески.

* * *

Временный лагерь строгановские казачки разбили неподалеку от Александровки. Большие телеги с порохом, пищальми, зерном, солью заботливо прикрыли – надвигался дождь. Тихо ржали пасущиеся

лошади, казаки лениво переговаривались, чистили снаряжение. Работа Григория заканчивалась – все, что он обещал, сделал: и копыя с мечами, и прочее снаряжение, и подковы лошадей...

Утром Степан Строганов объехал лагерь, отдал приказания своим звучным голосом. Он не терпел возражений и лени.

– У тебя все в порядке? Управишься в срок, кузнец?

– Скоро все доделаю. В лучшем виде, – ответил Григорий и проводил долгим взглядом Строганова, пустившего во весь опор своего белоснежного жеребца.

Григорий ожесточенно орудовал молотом. Был ли грех у Аксины со Степаном? Сколь ни всматривался он в наглые синие глаза, в них всегда таилась насмешка – и нельзя было понять, относится ли она к обманутому кузнецу-рогоносцу или ко всему белому свету. «Неужели она могла? С ним, выродком...»

Кинув молот и бесформенный еще кусок железа, который должен был стать рукоятью сабли, Григорий встал. Скинув кожаный фартук, отвязал Абдула. Он должен все проверить.

Завернул на поляну, покрытую жухнувшей травой, желтыми березовыми листьями, кузнец спрыгнул с коня и долго сидел, глядя на осеннее выцветшее небо, грыз былинку и сплевывал на землю. А если правда... Жизнь закончится, та размеренная спокойная жизнь с милой женой, занятие любимым делом, уважение, заслуженное в деревне, – все пойдет прахом.

Но кто мы, чтобы изменить то, что предначертано Аллахом?

* * *

Аксинья не ждала Степана. Она заклинала Бога, чтобы он отвел с пути синеокий соблазн. Грешница. Проклята. Гореть в геенне огненной.

А если шанс есть? Отмолит, выпросит, забудется. Укроет в памяти своей далеко-далеко воспоминание о своей ошибке. Должен быть выход...

– Аксинья, встречай. Да где ж ты?

Она спряталась в клетки за старыми одеждами, истрепанными шубами, льняными полотнами. Будто шестилетняя девочка, укрылась в надежде, что беда не найдет.

– Ты что ж? Мужа боишься?

Утешал ее, баюкал, успокаивал ласковыми словами, дышал в макушку, наклонив могучую шею. Но долго ли мог себя сдерживать? И скоро руки полезли за пазуху в поисках мягкой груди, уютно ложившейся в ладонь.

* * *

Быстроногий Абдул, как демон, скакал в деревню, подгоняемый безжалостным хлыстом хозяина.

Григорий соскочил со своего вороного и широкими шагами пересек двор. Лохматый пес подбежал за лаской к хозяину, а получил удар в живот. Скуля, он отбежал и виновато свернулся.

– Не выгоняешь, Рыжий, гостей незваных – придётся самому, – процедил кузнец сквозь зубы. Белый жеребец Строганова, привязанный к сараю, мирно щипал траву. Григорий зашел в дровяник, вытащил топор, взвесил его в руках. Конь заржал тревожно, влажные глаза уставились на кузнеца.

– Ты не бойся. Тебя не трону, – пригладил постриженную гриву.

Заскочив подобно вихрю в свою избу, с лету сбив крючок, он увидел то, чего так боялся, что жило в его воспаленном воображении, что гнал он из своей головы последние дни.

Жена в задранном до пояса сарафане. Беспутная, с розовым румянцем, бесстыдно припухшими губами. Купец, полуголый, порты спущены, рубаха задрана. Сзади... как собаки... Склешнулись, проклятые! Как она могла, жена венчанная, жена любимая...

Застыли, выпучили глаза в недоумении. Не ждали, голубчики. Получите.

* * *

Аксинья закрыла глаза, поняв, что свершится страшное. Вот она, расплата за безрассудство.

Глаза Григория налились кровью, руки крутили острый топор. Всю свою ярость вложил кузнец в бросок. Строганов, сильный и ловкий, успел отшатнуться в сторону, но вскинул руку, будто загораживаясь от удара. Топор, наточенный остро, как и положено у хорошего хозяина, вонзился в сильную руку, перерубил, отсек кисть. Раздался рык раненого зверя, хлынула кровь, и Строганов потерял сознание.

Рыдания сотрясали Аксиныю, слезы бежали из глаз, а она была бы рада остановить этот бесполезный поток. Она ждала, что следующим ударом муж прикончит или покалечит ее. Без всякого страха смотрела Аксинья на Григория, ощущая в глубине души даже радость: еще миг, и все закончится. Одно движение большого ножа, что лежал на столе, и она будет свободна.

Кузнец безумным взглядом оглядел избу: Степана, без чувств упавшего на пол, скорчившуюся жену, и, шатаясь, выбежал из избы. Руки его тряслись, сердце билось неровно. Страх затопил его, животный, дикий, безграничный. Не от того, что убил человека. Ему было не впервой отнимать жизнь. Одним ударом топора он превратил Строганова в калеку, а себя – в татя.

Так и не вымолвив ни слова, он выскочил из избы, скатился с крыльца. Григорий не думал, не рассуждал, ломанулся в лес, поддавшись глубокому звериному инстинкту. Уйти, забиться в нору, спрятаться от людей, их любопытства, гнева, насмешек. От наказания.

Аксинья уже не сдерживала всхлипы. Когда муж выскочил из избы, она перевела дыхание, вытерла рукавом слезы, подползла к Степану. Оцепенение оставило его, он сцепил зубы и попытался левой рукой развязать пояс на рубахе. Обрубок висел на тонкой полоске кожи, кровь залила пол, промочила рубаху и портки Строганова. Аксинья выпрямила затекшие ноги, сгребла со стола нож.

– Потерпи, перевяжу руку.

Она перерезала лоскут – Степан застонал, не выдержал глубокой, огненной боли. Оторвала от подола широкий лоскут и перетянула обрубок тряпицей.

Аксинья, страшная, растрепанная, уже не рыдала. Она впала в оцепенение. Выйдя за порог, уже не думала о том, что соседи увидят ее простоволосой, в неприбранном виде. Внутренности скрутило от страшной боли, от ощущения непоправимости только что произошедшего.

Вокруг уже толпился народ.

– Грешница, – раздалось над самым ухом дребезжание. От резкого удара голова Аксиньи качнулась в сторону. Бабка Матрена махала над головой молодухи клюкой. Игнат оттащил ее, чертыхаясь, еле справившись с хлипкой на вид старухой.

Степана слуги увезли в поселок, Аксинья остановила кровь, а остальное должна была сделать сама природа. Отсеченную руку она завернула в тряпицу и сунула под лавку. Она представила, как теперь горюет красивый, видный мужик, ставший по милости ее мужа калекой. «Видно, суждено мне приносить боль, горечь мужчинам, которые меня любят... или хотят... Григорий, Степан, даже Семен...»

До вечера народ не расходился. Бабы обсуждали произошедшее, мужики посмеивались, дети галдели.

Анна обхватила дочь за плечи, крепко прижала ее голову к своему плечу. Она не отпускала ее. Знала, в таком помрачении может решиться на непоправимое.

– Все пройдет, дочка, все перемелется, мука будет. – Она и сама понимала, что говорит ничего не значащие, ненужные вещи. Но молчать не могла.

– Не мука́, а му́ка, – разлепила губы дочь. – Почему мучение? Откуда? Зачем?

Долго еще мать гладила грешницу по голове, брат тихо возился у печи, растапливая ее остывшее нутро. Наконец на Еловую опустилась милосердная тьма. Всей деревне она принесла сон. Лишь Аксинья что-то шептала, свернувшись болезненным клубком.

Григорий, не видя перед собой дороги, исцарапав лицо колкими лапами елей, уходил подальше от деревни, подальше от людей. Он не думал о том, что совершил. Не раскаивался. Перед глазами его стояло испуганное лицо жены, и черная, удушающая злоба клубилась в сердце.

– Ей надо было руки отрубить... Чтоб не повадно было другого обнимать.

Пот капал градом, а он все шел и шел. Ночью сильный дождь обрушил свои потоки на Еловую.

Григорий, найдя приют под огромной елью, дышал громко и с присвистом. Он тоже что-то бормотал сквозь зубы, можно было разобрать лишь одно слово: «Сын».

3. Высокая цена

Тошке было скучно. Третий день мать ходила сама не своя. С красными, опухшими глазами.

У Тошки были такие же глаза недавно. Когда он играл с крохотным щенком и случайно задушил его, прижимал к себе теплый шелковистый комочек слишком сильно. Жалко было, обидно. Это понятно. А мать почему плачет?

– Кто-то умер? – не выдержал, спросил, уткнулся лбом в ее цветастый подол.

– Нет, сыночек. Плохое случилось.

– С кем? А ты почему плачешь? Из-за тебя? – вдруг спросил мальчишка.

– Нет... Да, из-за меня.

– Ты сильно кого-то обнимала... как я щенка?

– Да, Тошенька. – Ульяна сжала сына, который неожиданно оказался близок к истинной причине ее слез. Он был куда понятливее мужа, глупого, наивного, бесхребетного.

«Подругу жалею! Скажет тоже. Сдохла бы, и радость на душе. Не убил ее Гришка, любит и сейчас. После всего. Тварь подколотная. Аксинья. А с ним... Что с ним будет?»

Ульяна все не могла успокоиться. Григорий, исчезнувший из Еловой и ее жизни, скитающийся где-то в лесу, изломавший свою судьбу одним взмахом топора, не желал покидать ее сердце.

* * *

Вечерело. Антошка копался в мусорной куче, выковыривал из нее изогнутой палкой всякие диковинки. Вот заляпанный грязью клюв, а вот и весь череп курицы. Тошка подтянул его к себе, нагнулся, высунув язык, стал чистить от грязи. Будет с чем играть. Не с куклами из тряпок, как Нюрка.

– Антошка... Тошка, – мальчик оглянулся. Никого.

– Поди сюда, – он наконец разглядел скрючившегося за дровяником человека. Темный, со спутанной бородой. Не сразу Тошка узнал в нем Григория, еловского кузнеца.

– А ты чего тут делаешь? Тебе отец нужен? Сейчас позову.

– Нет. – Кузнец сжал плечо мальчика. – Не надо. Я сказать тебе хочу...

Он замолчал, и Тошка нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Да что ему надо, этому дядьке. Куриная черепушка лежит, как бы кто не уволок.

– Я твой батя. Посмотри на меня, сынок! Что бы тебе ни говорили, знай, я твой отец! И матери скажи, я в зимовье. Пусть придет ко мне.

Григорий погладил мальчика по голове и скрылся среди деревьев.

Мальчик недоуменно смотрел вслед соседу. Кузнец его родитель – нет! Перепутал он. Помешался дядя Гриша!

Тошка кропотливо счищал грязь, глазницы превратились уже в слепые провалы, прочистились ноздри. Он вытянул в руках кость, чтобы полюбоваться своей работой.

– Встань! – К Тошке подошел отец, и раздвоенная его верхняя губа дрожала, что указывало на волнение.

Мальчуган встал с коленок и вытер заляпанные грязью руки о новые порты.

Отец подхватил его. Земля, изба, сараюшка, закатное солнце закрутились перед глазами.

– Что, Тошка, доволен? – Отец знал, как любит он мельташащий перед глазами мир, головокружение, неуверенную поступь. Еще год назад сын ходил за ним неотступно и просил:

– Покружи меня, тятя.

– Взрослый уже для детских забав.

А здесь отец сам подхватил на руки, хохочет.

Про темного дядьку Тошка уже и думать забыл. А Георгий Заяц помнил.

* * *

Ефим, Макаров сын, возился в скотнике и опасливо косился на избу кузнеца. Как вести себя с Аксиньей, он не понимал. За все эти годы работы на семью кузнеца Фимка привык уважать хозяйку, Аксинью. Каждое утро она встречала его улыбкой и краюхой теплого хлеба. Никогда не ругала, защищала перед строгим мужем. Часть монет, которые кузнец каждый месяц отдавал работнику, Фимка утаил от бестолкового отца, копил, прятал в хозяйском сарае – пьяница-отец дома мог обнаружить припасенное.

Теперь кузнец искалечил любовника жены и скрылся. Акси́нья давно не появлялась на улице, даже Фимке ни словечка не сказала за последние дни. А забор вымазан дегтем. Тут и объяснять не надо – лишь гулящим бабам такое наказание уготовано.

Фимка чистил Абдула, ласково водил по его черной лоснящейся шкуре, чуть искрившей седыми проблесками.

– Что косишься? По хозяину скупаешь. Вестимо.

Конь жалобно скосил темный глаз.

– Будто понимаешь, паря. Эх. Натворил он дел. Прячется, а от людей, от мира не скроешься, найдут.

– Ефим, – парень вздрогнул и оглянулся.

Акси́нья стояла на пороге и улыбалась. Вернее, только сложила губы для улыбки. Под глазами тени, губы искусаны. Казалось, кто-то потушил свет в ее взгляде.

– Здравствуй, – он настороженно посмотрел на нее. Нет, она не виновата ни в чем. Наговаривают.

– Держи, – она протянула мешочек. – Больше приходить к нам не надо.

Облегчение накрыло парня с головой:

– А я... я...

– К родителям вернусь. Изба пусть стоит... Он... вдруг вернется... – Она сбилась и замолчала.

– Я уеду.

– Куда? Ефим, ты чего...

– Я давно решил. Хочу Россию повидать, счастья попытать. В городе на площади народ кликали царю служить. Я записался.

Акси́нья тревожно посмотрела на него и не ответила ничего. Парень уже возмужал, руки его налились силой. Вверх он расти давно перестал, но это его не смущало. Акси́нья коснулась легонько его рыжих вихров ладонью.

– Доброй дороги.

* * *

– Акси́нья, дочка, ты не можешь сидеть в избе всю жизнь.

Она и не спорила. Но не могла себя заставить выйти на улицу. Наткнуться на гневный взгляд бабки Матрены, осуждающее

перешептывание Зои или той же самой Марфы, понимающую ухмылку соседки Фёклы, злорадное прищуривание Семёна.

Аксинья единственный раз вышла из-за ограды. Заставила себя вычистить все углы в избе и наткнулась на смердящий кулек. И тогда только вспомнила.

Развернула тряпицу, сама не зная, зачем. Не для того же, чтобы полюбоваться на распухшую, безобразную, синеватую руку. Недавно эти пальцы ее утешали, гладили, были полны жизни, крепки. А теперь горстка праха. Единственное, что осталось ей от Степана.

Увезу, защищу от мужа. Смешной. Себя-то не смог уберечь. Ни одной весточки не подал ей за эти дни Степан. Наверно, проклинает случайную любовницу. Слезы Аксиньи давно высохли, и ее мучил лишь один вопрос. Как ей теперь жить? И ради кого?

Уже в потемках, озираясь, Аксинья, жена кузнеца Григория Ветра, закопала правую руку купца Степана Строганова в том месте, где лес подступал к Еловой, у раздвоенной березы.

* * *

Он устал. Вспоминать. Прятаться. Бояться. Ныла нога. Что-то булькало в груди.

Григорий соорудил сенок, наловил зайцев и птиц. Зимовье приютило его на шесть ночей. Но здесь в любой момент могли появиться охотники. Еловские, александровские, солкамские, неважно... Любой человек – опасность для загнанного зверя.

Он не уходил и ждал.

Перед тем как покинуть навсегда Пермскую землю, скрыться на сибирских просторах, раствориться среди тайги, он должен был увидеть ее. Услышать высокий голос, прижать рыжую голову к груди. Спросить, как там сын.

Что перевернулось в его душе, Григорий не понимал, но ясно чувствовал, что совершил десять лет назад ошибку. Он выбрал не ту женщину. Бойкая, похотливая, любящая... Ему нужна была Ульяна. Что теперь жалеть?

Она все не шла. «Ульяна бы не бросила меня», – клокотала мысль. Силы его оставили, он поднимался с жесткой лавки лишь для того, чтобы затопить печь и сварить похлебку.

Жарко-то как!

Сквозь пелену, застилающую мысли, он услышал шаги.

Идет! Наконец-то!

Григорий приподнял голову, все тело болело.

– Вот ты где! А я тебя искал все эти дни.

* * *

Семен увидел, как на дальнем зимовье вьется дымок из печки. Слово было сказано старосте, и Григория схватили накануне дня Усекновения главы Иоанна Предтечи^[63]. А он и не сопротивлялся, когда его волокли в Еловую. Только все смотрел в сторону избы Зайца: выйдет – не выйдет Ульяна проводить его в долгую дорогу. Она выбежала, но было уже поздно – Григорий со связанными руками-ногами, как особо опасный тать, трясся по ухабам на пути к городу.

Кузнец оказался в тюрьме Соли Камской, печально известной суровостью обхождения, сыростью, в которой даже самые здоровые за год содержания загибались. К преступнику не пускали никого.

– Злодей, строго-настрого запрещено, – отвечали стражи Аксинье. Узелок с яйцами, хлебом, пирогами и курицей забирали, а передавали ли мужу – неизвестно.

Решила она для себя, что простит мужа за измену. Виновна, грешна, чего-то недодавала страстному Григорию. Будет вымаливать у него прощения за блуд, в ноги будет кидаться, виниться за грех свой великий. Венчаны они перед Богом, должны быть вместе и в горе, и в радости. Теперь настало время горестей.

* * *

– Она будет жить с нами. Что ей в избе одной делать, Василий, – муж не смотрел на Анну и, казалось, даже не слышал сказанные слова. Его руки плели верёвку, медленно, совсем не так ловко, как раньше. – Муж, ответь мне.

– Что ответить, мать?

– Тебе ее не жалко?

– Моя жалость умерла той ночью, когда мы искали ее, сбежавшую из-под замка.

– Она будет жить с нами.

– Запрещать не буду. Пусть живет – Он вышел во двор с конопляной веревкой в руках.

Анна не узнавала Василия. Он, баловавший когда-то младшую дочь, не сказал ей ни слова утешения. Никогда не приходил в избу кузнеца, где тихая Акси́нья коротала свои нескончаемые дни и ночи. Будто ее не существовало, как не было и скандала, который обсуждали на каждой завалинке.

– Феденька, ты сестре помоги. Вещи соберите все, и сюда.

– Хорошо, матушка.

Федор побежал на другой конец деревни к Акси́нье, а София недовольно посмотрела на свекровь.

– Сама бы она не справилась? На дурные дела она горазда.

– Софьюшка, не надо так.

Невестка замолкла, но долго еще хмурила светлые тонкие брови и накричала безо всякой причины на крутившегося под ногами сына.

* * *

– Все собрано уж. Посидим, брат, на дорожку.

Акси́нья села на тюк с барахлом и оглядела избу. Бесславно закончилось ее замужество. Молодая, и двадцати пяти лет нет. А ни ребеночка, ни мужа. Только дурная слава и сарафаны с бусами.

– Кис-кис.

– Кота зовёшь?

– Потерялся Уголек мой. Пошли.

Она прикрыла волосы темным платком, сторбила спину. Идти через всю деревню – для нее это было худшим испытанием.

– Вон, смотри. Ёнда идет!

– Смотри, ноги еле переставляет. Столько на раскорячку провела.

– Ходит, и не стыдится, еще голову задирает, – это Авдотья, старая мать Агаши.

– Я б таких топила, – это Зоя.

– Акси́нья, поздоровайся хоть. Иль мы рылом не вышли. Со Строгановым повелась, возгордилась, – зубоскалила Марфа. – Мужа в Сибирь, а сама в хоромах сладких будешь жить с богатым купцом.

– Ты не слушай, Оксюша, – шептал Федор. Он подвинулся поближе к сестре, прижался своим крепким боком.

– Спасибо тебе.

– Ведьма, – закричал тонкий мальчишеский голосок. – Получай!

Коровья лепешка ударилась об ногу Аксиньи и упала рядом. По голосу узнала она младшего сына Демьяна-переселенца.

– Бей ведьму, – поддержали его другие мальчишки.

Федор закрыл собой Аксинью и, ухватив тюки с вещами, медленно двигался к дому.

Бабы не утихомиривали разошедшихся оболтусов. Смотрели и улыбались. Озорники уже стали хватать камни, спасавшие дорогу от осенней слякоти. Камешек ударил Аксинью по руке, другой больно укусил щеку. Ее охватывал ужас. Это ее родная деревня? Это те люди, кого она знает с детства?

Никто так и не выяснил потом, которой из зеленых недорослей бросил тот камень. Федор враз обмяк и упал. Вмятина на левом виске наливалась синевой, а Аксинья – ужасом.

Она положила голову брата на свои колени. Его сотрясала дрожь, кривились губы, глаза закатывались.

– Федя, Феденька, ты что ж... Сейчас примочку сделаем... Хорошо будет. Нельзя тебе умирать, мне можно, – Она сама не понимала, что шептала.

– Темнота, сестренка... Темно...

Губы скривились. Федор вздрогнул и затих. Аксинья сразу, до боли, до крика отчетливо поняла: брат умер. Его больше нет.

– Вы, вы его убили, нелюди, – закричала она. И сама поразилась своему голосу. Низкий, дикий, он разнесся на всю деревню.

Аксинья осторожно положила голову Феди на куль с добром и встала. Она медленно крутилась и смотрела на толпу.

Теперь никто не смеялся. Озорники, что недавно кидались камнями, попрятались за спинами матерей.

– Я виновна. А он-то что вам сделал?

– Сыночек, – казалось, через мгновение прибежала Анна. И рухнула рядом с ним на землю. – Лучше б я вместо него лежала здесь, – безжизненным голосом прошептала Анна и прижала к себе Федора.

– Анна, пойдём. – Василий закрыл сыну глаза и подхватил жену под руки. Она, как куль, повисла на его руках.

Аксинья смотрела вслед родителям и не отходила от тела брата, будто цепной пес. Она встала на колени, развязала платок, вытерла

кровь с его лица, тщательно, будто был в этом какой-то смысл, гладила по голове, ворошила упругие кудри.

– Херувим, – нежно шептала она и не замечала, что влага стекает по ее щекам и капает на брата мерной капелью.

– Федяяяяяаа! – Сердце бухнуло вниз, отозвалось резкой болью.

Софья.

Она бежала, а на руках ее лопотал улыбчивый, кудрявый Васенька. Ноги в льняных портянках торчали из-под рубашки, он вырывался из рук матери, брыкался и всем видом своим показывал: «Пусти».

Софья выполнила его желание, почти кинув его в руки Аксиньи. Софья прижала к себе темную взлохмаченную голову мужа, резко, властно. Завыла над ним, как волчица, потерявшая своего волка.

– Яааа, – тянулся малец к отцу. Аксинья сжала его горячую ручку.

– Устал тятя, отдыхает. Пойдем домой, – говорила она, а сама продолжала стоять.

– Софья, ты успокойся. Федора мужики унесут в избу. И ты ступай, – увещевала бабу Марфа.

Лицо Софии стало безобразным: опухшее, с выделявшимся темным пятном, оно было искажено ненавистью.

– Что вы... Чтоб она сдохла... – шептали ее губы. – Как жить-то без тебя, касатик мой!

Марфа отошла подальше и перекрестилась.

Только к вечеру молодую вдову, страшную, что-то бормочущую, смогли увести домой Георгий с Василием.

Федю схоронили через три дня. Много слез было пролито по дурачку с доброй и скромной улыбкой. Софья проститься с мужем не смогла, слегла от неведомой лихорадки. С того самого дня лежала она, истекая потом. Без умолку говорила что-то, неразборчивое и все же жуткое.

– Миленький, ты меня возьми. Я им... Покажу, изуверы, омут... Головушка болит... Да пройдет все, Феденька... Кто теперь...

Ваську взяли с собой на кладбище. Он, толком не понимая, что происходит, видел мокрые дорожки на лицах бабки, тетки, размазывая слезы и сопли по круглой мордочке. Василий хоронил сына с бесстрастным лицом. Но Анна знала, каково ему было остаться без младшего любимца, надежды семьи. Плечи горбились под этой неподъемной ношей.

В день похорон будто разверзлись небесные хляби. Могилу копали долго, утопали в грязи. А после похорон не меньше недели лил дождь, сгубив те хлеба, что не успели еще убрать за всеми случившимися горестями.

Анна не корила дочь за свалившиеся на нее несчастья. Она одна была для Аксиньи утешительницей и опорой. Анна понимала дочь в ее терзаниях, в ее мести обманувшему мужу, в той безнадее, что окутала сейчас ее темным удушливым облаком.

Василий после этой истории резко сдал. Еще по весне никто бы не назвал этого крупного, осанистого мужчину стариком. За этот месяц горе и позор согнули его, углубили морщины на лице, подернули пеленой глаза. Он не кричал на дочь, не корил за прелюбодеяние. Она умерла для него.

Аксинья целыми днями хлопотала над Софией. Она обтирала ее мазями, вливала в побледневшие губы одной ей ведомые отвары, поила куриной похлебкой, укладывала ерепенившегося Ваську под безвольную руку матери. В том нашла она свое исцеление – некогда было рыдать и грызть себя.

Однажды утром, разбуженная несмелым осенним солнцем, София заворочалась, села на лавке и встревоженно спросила Аксинью, глядя на нее мутными, за время болезни ввалившимися светло-зелеными глазами:

– А с Васей-то что? Как сынок мой?

– Все с ним хорошо!

– Спала я, что ль?

– Поспала, Софьюшка. Выздоровела, слава тебе, Господи!

В деревне долго судачили о произошедшем. За несколько десятков лет деревня их не знала таких страстей, такого душегубства. Кто винил Аксинью за прелюбодеяние, кто считал, что Строганов насильничал над бабой, кто корил Григория:

– Не наш, сразу было понятно, что дочку вороновскую до добра не доведет.

После смерти Федора Аксинью оставили в покое. Шептались за спиной, отворачивались, обходили стороной на узкой тропке. Но камни в ее сторону больше не летали. Скудоумный заплатил высокую цену за покой младшей сестры-грешницы.

4. Острог

Женщины нашли утешение друг в друге. Поработав днем до ломоты в костях, Анна с дочкой и невесткой, «второй доченькой», сидели за долгими беседами, вспоминая Феденьку, его добрый нрав и любовь к каждой из них. Григория, не сговариваясь, они в своих разговорах не поминали.

Василий застыл, замер в молчании. Он держался подальше от баб, лаская небрежной рукой лишь долгожданного внука. С Васькой он порой разговаривал, рассказывал ему что-то о деревне, о птицах, о зверях – как когда-то младшей дочери.

Затаившись, вжавшись в стенку светлицы, Аксинья слушала усталый, надтреснутый голос отца и тоненький любопытный голосок Васьки. Горло ее перехватывало от любви и жалости.

Кузнец по-прежнему сидел в тюрьме – ждал решения великопермского воеводы.

Накануне Покрова Пресвятой Богородицы^[64] Аксинья, смилив гордость, отправилась к Ерофеевым. До того она долго упрашивала отца:

– Попроси дядю Акима, он на короткой ноге с воеводой. Может, замолвит словечко.

Отец отворачивался, не желал отвечать опозорившей его дочери.

Аким встретил ее приветливо. Микитка, погрузневший за прошедшие годы, приветствовал бывшую невесту с затаенной ухмылкой. История Аксиньи, срамная, похабная, стала достоянием и городских сплетников.

– Бог отвел меня от женитьбы, – не преминул подколоть Микитка. – Бедовая ты баба, Аксинька! Все у тебя свербит. То Гришку захотела, теперь – ишь! – Строганова подавай!

– Будет! – оборвал его Аким. – Что могу – сделаю! В честь дружбы нашей старой с Василием помогу.

Аким Ерофеев сдержал слово – Аксинью пустили в темницу. Даже закутанная в платок, теплую душегрею, она сразу почувствовала, как ее охватывает тюремный холод. Страж с угрюмым лицом снял большой навесный замок. Кованая дверь распахнулась.

– Иди. Не задерживайся, девка.

Спустившись по скользкой лестнице, Акси́нья оказалось в темнице. Она ослепла – в сыром подполье не было видно ни зги. Потом глаза привыкли к тьме. И она различила кучу тряпья – это и был Григорий. Месяц длилось его заточение, и крепкого мужика было сложно узнать в узнике, надсадно кашляющем и прерывисто дышащем.

– Гриша, – опустилась на колени жена. – Прости ты меня...

Сверкнули черные глаза, лишь они сохранили искорку жизни.

– Простить, говоришь? – Раздался надсадный смех, перешедший в лающий кашель. – Ох, насмешила! Это делать ты умела всегда. Бог тебя простит... или черт... Он вроде же ведьмами повелевает.

– Гриша, я оступилась. Но и ты нарушил брачные обеты.

– Нарушил? – Внезапно сильный голос кузнеца прорезал влажную мглу темницы. – Ты довела меня до всего этого! Ты!

Смириться, простить мужу его жестокие слова. Несправедлив он. Узнав о мужниной измене, Акси́нья пошла на грех. Не стерпела ее гордыня.

– Я с тобой, Гриша, поеду, куда бы тебя ни отправили. Одного тебя не пущу.

Сама думала, прикидывала, какие же травы вылечат этот кашель, рвущий душу, какие вещи увязывать в тюки, что с собой взять, а что оставить родителям. И еще куча житейских мелочей в этот момент теснились в ее голове и отвлекали от мрачной влаги тюремных стен.

– Сдурела, баба? На что ты мне на каторге сдалась? Сгину... загнусь, да без тебя. Уйди. – Муж зарылся в лохмотья, отвернувшись от Акси́нии, и, казалось, впал в забвение.

«Вот и все, – неожиданно спокойно подумала она. – Ни жена и не вдова я теперь». Долго Акси́нья обдумывала свое решение. За этот долгий, бесконечный месяц от ненависти и жажды мести пришла она к прощению и раскаянию. Григорий не захотел и этой жертвы, не нужна ему была Акси́нья теперь ни в горе, ни в радости.

Оказавшись на свежем воздухе, она вдруг ощутила, как дурно пахло в каземате – потом, человеческими испражнениями и смертью. Там не чуяла она смрада, вся ушедшая в свой порыв, свое сострадание. А теперь этот запах будто обжег ее ноздри, к горлу подкатила тошнота, и прямо у порога невзрачного острога, ныне служившего тюрьмой, Акси́нья вывернулась наизнанку. Тошнота накатывала волнами, и еще не раз склонялась она над белым, свежесвыпавшим снегом, прожигая на

нем пятна желтыми едкими клочьями. Почувствовала, что стало легче. Будто гнилое прошлое вылилось из ее нутра.

Дом Анфисы расположен был недалеко от темницы, на улицу выходило темное, зарешеченное окно.

– Анфиса, открой! – никто на крики Аксиньи не отозвался. Колотила молотком в окованную железом дверь – тишина. Мелькнула в слюдяном окошке чья-то фигура и пропала. Так Аксинья поняла, что подруга больше знать ее не желает, и с тяжелым сердцем поехала в Еловую.

Григорий вовсе не впал в забвение, как показалось его жене. Терзала невеселая дума о том, что жизнь его отныне будет столь тяжела и ничтожна, что крымский плен покажется раем. Что все выстраданное там в детстве было лишь преддверием новых мук.

Он жалел теперь, что отверг искренний порыв жены, отверг вовсе не из-за ненависти, как подумалось Аксинье, а потому что сохранились в нем остатки былой нежности. Недавно оберегал он жену, как цветочек весенний, верил, что проживет с ней до гробовой доски. Григорий знал, что там, в северном остроге, даже здоровые мужики мрут как мухи, женщине там не место. Теперь он сокрушался об этой мимолетной слабости. Мгновение спустя его захлестнули жалость к себе и ярость.

– Пусть бы ехала. Уж я-то бы отыгрался на ней, – шептал в полузабытьи.

Через две недели на площади перед тюрьмой при всем честном народе Григорий и двое разбойничков были подвергнуты наказанию. Душегуб, невзрачный хлипкий мужик, зарезавший свою семью, лишился головы под дружное оханье баб. Вор и конокрад, долго разыскиваемый властями, Пашка-обормот был порот плетью. Палач старался от всей души, и вор быстро лишился сознания.

Стоя на ледяном ветру в одной рубахе, презренный преступник и злодей, Григорий хотел сейчас только одного – посмотреть в глаза своей жене, понять, рада она его позору или жалеет его. Будто не все еще сказал он ей тогда, в темнице, будто не отказался от нее и ее любви, будто не сжигала его ненависть.

Григорий, как сотни бедолаг до него, как тысячи после него, обшаривал глазами толпу. Что хотел он найти в этом скопище глумливых ухмылок, злорадных взглядов и злобных ртов? Что искал,

то не нашел. Но с удивлением встретил истосковавшийся взгляд Ульяны. Она тревожно вглядывалась в его сторбленную, лишившуюся былой стати фигуру и крестила его размашистой рукой, задевая людей, тесно прижатых, сдавленных любопытством. Она не видела никого, кроме Григория. Расталкивая людей во все стороны, далеко оторвавшись от Зайца, сильная молодуха пробиралась к помосту с преступниками.

– Гриша... Гриша... Родненький... Как же... – то ли слышал, то ли читал по губам своей любовницы кузнец. Наверно, никогда еще он не испытывал к Рыжику такой благодарности, такой неистовой нежности. Не побоялась, чертовка, ни мужа, ни людей, пришла на казнь. И смотрит теперь с той жадной страстью, которая по большому счету никогда не нужна ему была, которая была ему обузой, докучливой забавой.

«Надо было поддаться Ульянкиному желанию, не добиваться Аксиньи. Не обманешь. Что хочет, то и сделает... Бог... Аллах, сжалуйся...» – бессвязные мысли крутились сейчас в Гришиной голове. Да кто ж знает, что верно, что неверно в этом страшном мире, где правит человеческое безумие. Как сложилась бы его судьба, если бы решил он Рыжика сделать законной женой... Неведомо никому...

Левая рука с темными, заскорузлыми пальцами лежала на буром полене, пропитанном кровью до самой сердцевины. Подручный палача, крупный, мясистый мужик держал кузнеца – струсит, трепыхаться начнет.

Григорий и сам удивился: не было страха, не было жалости к себе и ощущения того, что все кончено... Крепкий палач занес острый топор, народ затаил дыхание – и сильная, крупная мужская кисть упала на помост, и пальцы еще сжимались в последнем рывке. Раздался громкий женский вопль, и сквозь обжигающую боль, сквозь шум в ушах Гриша успел подумать: «Ульянка-то как убивается» и упал, милостиво лишенный возможности слышать радостные вопли толпы, всегда с восторгом принимающей любую расправу над человеческим существом, бесправным и нелепым. В миг торжества над чьей-то плотью всем, кто стоит близ помостая, кажется, что от них участь эта далека, и радость нетронутного бытия наполняет жестокой радостью каждый вздох.

* * *

– Анна, а вы что ж в Соль Камскую-то не съездили?

Ехидная ухмылка перекосила полное лицо Маланьи. Редко соседка разговаривала с Анной. Тут не стерпела, вывалила важное известие.

– Что нам делать в городе? Скажи мне.

– Зятя вашего, кузнеца, проводить. Калека теперь, муж Аксинькин венчанный.

– Калека?

– Не знаете что ль? – Маланья закрутилась на месте. – Дай расскажу, подруженька.

Анна вернулась в избу и, не снимая душегреи, села на лавку.

– Матушка, ты чего? – всполошилась Аксинья, а мать с тоской и жалостью смотрела на свою младшую: «Видно, кто проклял».

К следующей весне Григорий Ветер вместе с двадцатью такими же каторжниками оказался в Обдорске, где сильные морозы и суровая каторжная жизнь поставили перед ним одну задачу – выжить назло жене, назло Строганову, назло судьбе.

Долго еще Аксинья была как неживая. Она с трудом находила в себе силы даже на повседневные дела. А вскоре Софья принесла очередную дурную весть, потрясшую всю деревню: утром Заяц нашел свою жену в подполе, со сломанной шеей.

– По лестнице спускалась да не удержалась, – вздыхал он.

А соседи так и не могли понять, врет или невиновен, сколько ни вглядывались в подернутые печалью глаза вдовца. Вся Еловая знала о шашнях Ульяны с Гришкой, о темных глазах Тошки. Все это за месяц уже обсудили на десять рядов, жалели терпеливого Георгия. Ульяну осуждали еще больше, чем Аксинью – мол, дрянь баба. И бить ее не перебить мужу: рыдала над любовником, никого не стеснялась.

А тут раз – и нет Ульяны.

Еловчане судили-рядили: Георгий, святая душа, не мог худа сотворить, никто и вслух обвинений не выскажет. И совпало все на удивление. Гришку в острог, Ульянку на тот свет. Сгорбленная, казавшаяся вечной бабка Матрена грозил своей палкой: «А я говорила, греховодница Ульянка! Подолом трясла! И Аксинька та же курвь! Видит Бог, что творится на белом свете!»

Обмыли, отпели, народу собралось много – вся деревня. Никто, кроме осиротевших Тошки и Нюры, не плакал. Лукьян пропадал где-то в лесах. Ему только предстояло узнать о смерти единственной дочери.

От опечаленного вдовца ни на шаг не отходила Марфа. Никто и не удивился, когда на Фому-хлебника^[65] она перетасила скорбь к Зайцу. С мужем Марфа расцвела. Злоязыкая стервозность сошла с нее, как снег по весне. Дочка Ульянкина любила Марфу как мать родную, а Антошка так и не принял, все тосковал по рано сгинувшей родительнице и вспоминал странные слова темного бородатого мужика.

5. Зима

В тот год рано выпал снег, укутав белым одеялом улицы и дома, деревья и распадки. Василий, сгорбившийся от всех невзгод, поседевший, выглядел глубоким стариком. Каждый день он уходил подальше от родной деревни.

– Сегодня, мать, пойду я к зимовью, вверх по Усолке. Пару недель меня не будет, не теряй. Рядом уже никакой охоты нет, всего зверя повыбили. – Голос его был сухим и безжизненным, вся теплота исчезла.

– Вась, ты там поосторожней, смотри, чтоб чего не случилось. – Вещее сердце Анны сжималось от дурных предчувствий. Понимала: мужа не остановить.

– Может, лучше вам без меня будет, вон как воркуете. Видать, дела свои прелюбодейские вспоминаете... Радуйтесь...

– Ты что ж, Вась? – кричала вслед Анна, но оставалось ей только смотреть вдаль, как сгорбленная фигура мужа в толстом тулупе теряется в снежном лесу.

Василий был счастлив только среди деревьев, подальше от человеческой вони. Петляя по звериным тропам, ощущая заскорузлыми пальцами мех вытащенной из ловушки куницы, он радовался своему охотничьему дару, не пропавшему вместе со здоровьем.

Затопив печку в зимовье, он набрал снега в котелок – сварить немудреной каши. Мороз крепчал. Птицы, нахохлившись, пытались сохранить остатки тепла. Поутру мужик обнаружил возле зимовья следы лисы, кружившей, видно, в поисках пищи.

На следующий день Василий отправился в мелкий лесок, где десяток лет назад охотник брал соболя без особой натуги, а теперь зверя сыскать мог лишь опытный охотник. Падал мелкий снег, завьюжило, идти, несмотря на широкие лыжи, становилось все сложнее. Запыхавшись, с трудом дойдя до зимовья, он скинул тулуп, радуясь долгожданному теплу печки. Подбросив поленьев, стал обдирать перья с пойманного накануне тетерева.

Мясо отливало сизым проблеском, но вываренное в пару раз смененной воде обжигало рот ароматным соком.

За работой Василий задумался в который раз о том, почему все пошло не так, почему налаженная жизнь разбилась, как кувшин, разлетелась на черепки. Вместо того чтобы сидеть с женой, детьми, внуками в родной натопленной избе, он, как неприкаянный, скитается по лесу.

Василий Ворон

Детство свое, родителей помнил он плохо. Да и что там вспоминать, в Казани мыкались по углам, нищенствовали. Отец Василия, хороший в прошлом гончар по прозвищу Ворон, чернявый и узкоглазый, пропил все свое мастерство, потерял его в кабаках за азартными играми.

Вася помнил, что мамка порой отправляла его за отцом. Он пытался увести его оттуда, от карт, от непотребных девок, но получал лишь затрещины. Так и замерз отец, не дойдя до родного закутка.

Мать одна поднимала Васю, хваталась за любую работу, раньше времени постарела от надрыва. Старшую дочь Варвару, высокую, ладную, выдали замуж за торгового человека с далекого Устюга. Иногда с оказией передавала она весточку и небольшой мешочек с копейками, для семьи большое подспорье. Василий сестру свою старшую, зазнайку и гордячку, не любил. Казалось ему, что она нарочно уехала так далеко от бедствующей семьи. Могла бы взять мать и младшего брата в свой большой дом в Великом Устюге.

Десятилетний Васька был отдан в ученики гончару, и мать вздохнула с облегчением. С ней сын стал видеться редко – от зари до заката на ногах, то в мастерской помогал, то гнул спину в хозяйстве гончара. Приходил к матери редко, больше по праздникам. Она и умерла в одиночестве, в предрассветной тишине.

За парнишкой послала соседка. Васька долго глотал слезы над уже обмытой, обряженной во все чистое матерью. Лицо ее прояснилось. Смерть, унеся все невзгоды и терзания, сделала ее молодой, похожей на ту девчонку, что, полная надежд, вышла замуж за чернявого бондаря.

Вася решил, что мастером станет хорошим, выбьется в люди, не будет жить в нужде. Его крупные пальцы на удивление ловко работали с глиной. Из трех учеников мастер хвалил чаще всего Ваську. Упертый, сдержанный, умный паренек был гончару по нраву. Звали его

сызмальства Вороном, как и чернявого отца, но парню нравилось. Ворон птица крупная, мудрая, сильная. Ничего против этого прозвища Василий не имел.

К пятнадцати годам он сам – а кто ж еще? – присмотрел себе невесту. Ладная, большеглазая Анна своими озорными взглядами и серебристым смехом давно влекла его: «Вот такая жена мне и нужна». Анна ни минуты сидела без дела, слыла девкой работающей и скромной.

Гончар и Василий пришли сватать Анну. Родители и невеста были согласны, от добра добра не ищут. В пятнадцать лет Василий был уже взрослым, рассудительным мужиком, откладывал деньги на свадьбу. Добрый гончар, зная, что парень сирота, ни матери, ни отца, давал ему лучшие заказы, помогал словом и делом.

За пару недель до свадьбы Анна куда-то пропала. Родители сказали обеспокоенному жениху, что она в сильной горячке. Васю не пускали в дом.

К свадьбе хвороба прошла. Побледневшая, осунувшаяся, она все равно была хороша. Но болезнь не прошла просто так, Анна растеряла где-то свое веселье и озорство. Молодой муж так рад был ночью сжимать ее податливое тело, что старался этого не замечать.

Его тревожили иные мысли: Василий мечтал уехать подальше, к Камень-горам, в привольные земли, еще только обживаемые русским человеком. Болезнь Нюры помешала отправиться в дорогу сразу после свадьбы. Долго она провалялась в горячке, потом выяснилось: ждет ребенка.

Вася был очень рад: не прошло и года после венчания, а появится на свет дитя, которое продолжит род Вороновых. Дочка, болезненная, горластая, выпила много крови матери и отцу. Не чуял в себе любви отцовской Василий, только недоумение: откуда такая кикимора взялась?

С большими тратами и маетой переехали под Соль Камскую, вслед за старшей появились двое сыновей, на радость родителям, крепкие, здоровые. А вторую дочку, появившуюся аккурат под Рождество, Василий решил назвать Анной в честь ненаглядной жены.

Старшая Василиса нянчила братьев и сестру. Отец видел, как она старается, помогает, порой пересиливал себя, гладил ее по жидким волосенкам, сажал на колени. Чувство справедливости в нем проросло

глубоко с самых малых лет. Ребенок не виноват в том, что для родителей он стал олицетворением невзгод.

Василий стал тем мастером гончарного дела, каким видел себя в мечтах: его горшки, кувшины, чашки, миски продавались бойко, выручка росла. Дом – полная чаша, жена – красавица, исправно рожаящая детей. Даже младший болезненный Федя и тот стал не наказанием, а счастьем для родителей – хороший парень вышел. Младшей дочери Василий отдал самую пылкую свою любовь. Сам не знал он, почему с самого ее рождения умилялся милой девчушкой. А когда она стала подрастать, от отца не отлипала, ходила за ним хвостиком, внимательно слушая каждое сказанное им слово.

У Василия был такой взгляд на жизнь: считал он, что Бог всем дает по заслугам. Грешишь, ведешь неправедную жизнь – накажет, отнимет детей, покалечит, лишит радостей жизненных. А если живешь по уму и сердцу, соблюдаешь все заповеди, делаешь добро людям – наградит хорошей семьей, здоровьем, мастерством.

Знал мужик, что отец Михаил и другие попы с ним бы не сошлись. Того и гляди объявили его рассуждения ересью, непотребством. Библия да проповеди учили, что воздается человеку на том свете. Он о мыслях своих никому особо не говорил, про себя пестовал.

И все у Василия получалось, сходилось с этим раскладом. Сам он не грешил, даже ни разу жене своей не изменил, хотя – Бог видел – искус имелся, и серьезный. Был Вася помоложе – ох вертели перед ним бабы хвостом – не так много было видных мужиков в Еловой:

– Мужа сегодня не будет. Зайди, помочь надо... Я в долгу не останусь.

Особенно Маланья старалась, подмигивала и улыбалась зазывно, ее-то мужик все какой-то вареный, видно, пчелами искусанный. Но Вася терпел, посмотрит-полюбуется на изгибы, через любой сарафан выпирающие, – и к жене домой.

Только один грех мог бы Бог в вину Василию поставить – чревоугодничал он, любил поесть сладко. Стряпала Анна хорошо, не то, что некоторые бабы, за уши не оттащишь от ее запеченного пороса. Но надеялся мужик, что это можно простить истовому христианину.

Хитрый, умный, пытающийся разбираться и в тех делах, до которых ему не должно быть никакого дела – как царь правит, куда Россия-матушка катится, – он был наивен, как дитя, в делах

житейских, домашних. И обмана не терпел ни от кого, сам был честен и открыт.

Аксинья и ее шашни с кузнецом впервые ударили по Василию. Он заботился о дочке, холил ее, все прихоти исполнял! Она, мерзавка, подвела его, врала, нарушила волю отцовскую, заставила перед Акимом виниться, шею гнуть. А этого Василий ох как не любил!

Аксинье, любимой крохе, он обиду простил, а Григорию не смог. Казалось ему, что этот черный, суровый кузнец сбил с пути его маленькую дочку, ввел в грех. «Родичем теперь стал он, – уговаривал себя Василий. – Надо принять, простить». Но сколько ни виделся с Григорием, так и ощущал в душе черный гнев. Зятя-басурманина винил он и в том, что дочка не может родить ребенка.

После расстроившейся свадьбы Микитки и Аксиньи дела пошли хуже. Ерофеев отомстил – нашел другого гончара. Василию пришлось ходить по лавочникам, ловить ухмылки, соглашаться с невыгодной ценой. Всю жизнь Ворон копил деньгу на старость, и он, чувствуя подкравшуюся осень, проводил в мастерской все меньше времени. Видел он уже, как Федя все возьмет на себя. Но нет! Не суждено было.

Месяц, который унес жизнь любимого сына, лишил зятя, разрушил жизнь дочери... Этот месяц стал для Василия тем рубежом, который разделил жизнь на две части: когда верил он в высшую справедливость, чувствовал, что все на свете устроено правильно и ладно, и вторую, когда ощутил он предательство и Божье, и людское.

Дочь его оказалась прелюбодейкой, изменницей. Неспроста Гришка с топором на Строганова налетел, застав кобеля с простоволосой, взьерошенной Аксиньей, – Василий своими глазами видел.

Долго он молчал, не одну неделю. И сына уж похоронили, а он все думал. И решил для себя, что Аксинья не дочь ему отныне.

Анна перебирала вещи и отыскала внуку Ваське рубашонку Федькину. По бабскому мягкосердечию сохранила она вещицу. Тут Василия и прорвало – последний раз он так горевал над умершей матерью, все тело его сотрясалось от беззвучных рыданий, а Анна гладила его поседевшую голову, шептала что-то утешительное.

Потом сокрушался он, жаловался жене своей:

– Ведь растили Аксинью в праведности, в страхе Божьем, сами пример подавали. Как могла она так?

– Не виновата она. Если виновата, не одна Акси́нья, – защищала дочь Анна.

– Она не виновата?! А кто? От мужа таскалась, рога ему наставляла, – горячился отец, растирал грудь. – Никогда я Гришку не любил. Она сама ведь его выбрала, наперекор нам, от Микитки отказалась. Вот и хранить верность надо было до гроба, а не хвостом крутить. И главное – Федя жив бы остался! – голос его сорвался от горечи.

– Узнала, что изменял ей муж с Ульянкой, змеей подколодной, что Тошка Гришкин сын. Недаром так похож на него.

– Это его мужское дело, с какими потаскушками он валяется по сеновалам. А она баба, должна честь свою блюсти. Не может женка такое творить. Вот ты у меня, всю жизнь прожила без всякого греха. Почему дочь твоя так не смогла?

«Дочь твоя... Уж и не его будто дочь Акси́нья», – возмутилась про себя Анна. В исконном желании выгородить дитя, защитить его перед всем миром, перед суровым отцом, Анна не выдержала:

– А ты уверен?!

– В чем уверен?

– Что я без единого греха прожила!

– Да... Скажешь нет?

Анна устало вздохнула и поднялась, теперь она делала это медленно. Куда ушла только вся прыть:

– Пойду я поросят кормить, отощали совсем. Не до них было в круговерти горестей.

Василий с того момента, с того разговора не мог успокоиться. Одно крутилось в его голове.

Однажды, выпив сверх меры, он в сенях прижал к стене Анну, грозно нахмутив брови:

– Говори, а то...

Она рассказала ему все, что надо было хранить под семью замками. Усталая, измученная, бездумная, Анна обрушила на седую голову мужа горькую правду.

– Суки вы все! Геенна огненная вас сожги! – в сердцах крикнул Василий и перестал разговаривать и с женой. Не мог он простить ей. Не один десяток лет прошел с тех пор, а обида жгла, будто случилось это вчера.

И сейчас в зимовье опять по-стариковски перебирал Василий прошедшие годы, не мог успокоиться, кляня жену и непокорную дочь.

На печке томился тетерев в старом чугушке, наполняя жильё ароматным запахом. Поставив перед собой чугунок, Василий вглядывался через мутное окошко в зимний лес, медленно жевал мясо.

Ощувив знакомую боль в левом боку, он по привычке затаил дыхание – ожидая, что пройдет она, как проходила обычно. Но боль не уходила, становилась все сильнее, полыхала огнем, поглотившим весь белый свет.

* * *

Больше недели Анна, Акси́нья и Софья места себе не находили, дожидаясь Василия. Не выдержали – попросили Зайца и Игната сходить до Верхнего зимовья, проверить, что со старым. К вечеру мужики принесли давно остывшее тело Василия. Он настолько окоченел, сидя за столом, что разогнуть они его не смогли.

В замерзшей земле с трудом выдолбили могилу, схоронили на следующий день под рыдания осиротевшей семьи и тихое бормотание отца Сергия.

– Проклятие какое-то на семье Вороновых, – шептались в толпе, провожавшей в последний путь мужика. – Все мужики мрут! Ты смотри, одни бабы остались.

Впрочем, проклятие терзало не только семью Вороновых и деревню Еловую. Казалось, Бог проклял всю землю русскую. Не мог царь боярский Василий Шуйский навести порядок, пресечь заговоры и бунты. Был царем он никудышным; как ребенок, плясал под дудку бояр.

Беглый холоп Ванька Болотников объявил себя воеводой царя Дмитрия – еще до того, как превратился Гришка Отрепьев в пепел. Теперь же рассылал крамольные грамоты, мутил народ, заявляя, что царь Дмитрий Иоаннович спасся. Войско стекалось к Болотникову, ведясь не столько на слухи о воскрешении Дмитрия, сколь на возможность убивать и грабить богачей. Среди этого войска затерялся рыжий Фимка.

Он, маленький и юркий, быстро выслужился перед Прокопием Ляпуновым, хитроумным рязанцем, и, как чертенок, успевал везде. Фимка вместе с пятитысячным войском вяз в слякоти под Москвой.

Когда Прокопий смекнул, что крестьянский вожак долго не протянет, и с верными рязанцами взял сторону Шуйского, Фимка увязался с перебежчиками. Принял боевое крещение, зарубил троих болотниковцев.

Осенью чуть не взяв Москву, Болотников отступил к Туле, где был наголову разбит войсками Шуйского. Коварный боярский царь обещал пощадить холопа, но слова своего не сдержал. Уж больно насолил ему свирепый Болотников. Ефим привез письмецо, после которого главаря бунтовщиков в Каргополе ослепили, а потом утопили в проруби. Пермский паренек крестился, дивился жестокости человеческой и вспоминал с тоской родную деревушку, мать, Аксинью и даже беспутного пьяницу отца.

* * *

Через пару недель после похорон Василия Ворона богатые расписные сани остановились у избы.

– Встречай, матушка, дочь свою, – бросилась в объятия Анны погрузневшая старшая дочка, с трудом выпутавшись из медвежьей шкуры. – Только весть о смерти брата дошла – я в дорогу отправилась. Что с братом случилось?

Анна, с трудом сдерживая слезы, рассказала о второй потере, о том, что глава семьи оставил бранный мир. Василиса слушала и не верила. В маленьких глазах ее отражалось непонимание: отец, крепкий, шумный. И больше нет его? Приняв весть о смерти отца, она осела, как была, посреди избы. На лице ее не было слез, только кривились губы. Тихое подвывание напугало Васюку. Малец свернулся на коленях у матери, вцепился в холодную руку Аксиньи. Они втроем, как мышки, затаились в светлице, боясь предстать пред глазами громкоголосой купчихи, слушали разговор Анны и Василисы.

– Почто беды обрушились на семью? Матушка... Как же так?

– Успокойся, дочка. На все воля...

– Здравствуй, сестра. – Аксинья пересилила себя, вышла из светлицы.

– Аксинька? В гостях что ль?

Младшая окинула ее взглядом, быстро собрала узелок и ушла в свою стылую избу. Видеть шумную, нахальную сестру, слушать ее речи... Лучше с гадюками в одном овраге сидеть.

Анна долго рассказывала своей старшей дочери про все беды, что свершились в их семье за последние месяцы, пыталась смягчить вину младшей дочери.

– И отец... И Федя, горе-то какое! – На глазах Василисы застыли слезы. – Почему ж Аксинькин муж с топором бегал?

– Приревновал ее...

– Вот оно как! Из-за сестрицы-потаскухи я без отца и брата осталась! Я ей сейчас покажу!

– Не покажешь, – спокойно ответила мать. – На ночь оставайся, а следующим днем езжай домой. Слугу твоего мы в клетки разместим, не переживай.

– Прогоняешь меня? Не даешь на могилке у брата и отца погоревать?

– Так завтра и погорюешь, с утра. Василиса, знаю я тебя. Нам и так худо, а твоих гневных речей нам не вынести. Познакомься лучше с племянником своим. – Вася из-за угла смотрел на громкую, богато одетую тетку, боясь приблизиться.

– Феденькин, значит. Здравствуй, невестушка, – поздоровалась Василиса с тихо подошедшей Софией. Уставилась жадно на ее родимое пятно. – А у племяша личико чистое, слава тебе, Господи.

Анна вздохнула. Нахальство Василисы не знало границ и раздражало до крайности. Но надо было терпеть и быть благодарной дочери за то, что Василиса нашла время, приехала к матери.

– Прости ты меня, доченька, – решила она, – если обижала тебя когда-то. Не со зла я, – обняла она пышное дебелое тело старшенькой.

Василиса вытащила пригоршню монет:

– Вот деньги на сорокоуст на упокой. Пусть душа батюшки возрадуется.

Анна проглотила возражение – отцу Сергию в день похорон вручила она узелок, в завещании своем, заверенном солекамским дьяком, Василий писал, что помимо сорокоуста надобно рубль раздать милостыней и в дар александровской церкви рубль. Большие деньги.

Спозаранку Василиса принесла свое грузное тело к избе кузнеца.

– Угости хоть, – без всякого приветствия уселась в красном углу.

Аксинья молча поставила на стол постные щи и каравай хлеба.

– Цветешь все, сестрица. Погубила мужа, брата, отца, любовника... А все девочка девочкой. Как глазами-то своими бесстыжими на людей,

на мать смотришь?

– А так и смотрю.

– И стыд глаза не колет? Греховодница. – Старшая сестра смаковала слова. – Родители меня тыркали... Обижали неизвестно за что... С тобой носились, будто с боярыней. А вот ты ... Потаскуха! Ты! – Василиса сама себя распалила.

– Ты бы помолчала, – ответила Аксинья и подняла глаза на сестру. Что-то сильное и уверенное было в ее взгляде. – Сидела бы ты в Великом Устюге со своим мужем толстопузым.

– Что?! – от такой наглости Василиса, хлебавшая суп, подавилась. Налилась краснотой, закашляла долго, утробно. – Да как ты смеешь такое говорить мне, уважаемой купчихе, матери...

– Вот так и смею... Ты-то еще дальше меня ушла, в девках нагуляла. В одном тебе повезло – не узнали родители про грех твой.

– Сдурела что ли?! Вот наградил Бог сестрой! – Василиса плюнула в чашку с супом и, грузно встав из-за стола, покинула избу.

Аксинья невесело усмехнулась – вот где Ульянин длинный язык пригодился. Если б не давняя история, не один еще ушат грязи вылила бы Василиса на нее.

«Велика гордыня Василисина. Давно это было... За соблазителя своего замуж вышла, а как не хочет, чтобы узнала мать... И деревенские». Больше сестру она не видела, Василиса поплакала на кладбище, попрощалась с отцом и братом и отбыла в свой Великий Устюг.

После того как мать попросила прощения, так душевно говорила, в душе Василисы что-то стало оттаивать. Как в лесном укромном овраге, где холод идет от самой земли, лед тает порой в середине лета, так и сердце ее с самого детства будто заморозилось от родительской нелюбви, потом от паскудного поступка Шиноры.

Ехала она обратно, вспоминала слова греховодницы-сестры. Перебирала их, кусая тонкие губы... Новой коркой льда покрывалась в негодовании ее душа. Столько всего Ксинька натворила. А не рыдала, не просила помощи, хамила. «Отплачу я тебе, сестрица моя младшая, ты не беспокойся». – Ветер пронизывал ее богатую одежду, закручивал поземку.

* * *

– Одно хорошо: отец и сын этого уже не видят, – вздыхала Анна. Замороженной Аксинье не было уже дела ни до чего.

Дом родителей казался осиротелым. Все соседи обходили избу стороной. Двор хирел без должного ухода. Единственная телка отошала. Только старыми запасами семья и спасалась.

София, потеряв любимого мужа, замкнулась, исчезла доброта во взгляде. Стылые, тоскливые дни плавно перетекали в черные ночи, и не было спасения от дурных мыслей. Даже Васька чуял, что беда своим широким крылом обняла семью Вороновых, и присмирел.

Избу свою Аксинья заперла. Не могла она и представить – какого это жить одной. В родительском доме лучше, голоса и суета, детский смех. Игнатка, Гришкин помощник, стал теперь хозяином кузницы. По обычаю избу ему передать следовало, но добрый Игнат на нее не претендовал, обещал:

– Ты, Аксинья, не сомневайся, я тебе помогу, не обижу. Ты в избе живи, мне она без надобности. Мутная у вас с Григорием история вышла, но я знаю, что баба ты хорошая... – Мужик смешался и не знал куда девать глаза.

– Спасибо, Игнат, на добром слове, – чуть не до слез растрогалась Аксинья, которой тяжело было ощущать на себе насмешливые взгляды односельчан, слышать неодобрительный шепот в спину, – семья у вас большая, места не хватает в отцовском доме. Переезжай ты в нашу избу. Что ж она пустая будет стоять...

Часть птицы, корову и телка Аксинья продала в городе, цепных псов отдала Игнату, а верного коня Абдула, молодую телку, с дюжину кур и гусей, поросенка привела с собой:

– Вот, матушка, мое имущество, – устало вздохнула она. Следующим утром, вернувшись с очередной своей ночной гулянки, пришел Уголек, возвестив громким мяуканьем хозяйку, что нашел он ее. Аксинья боялась, что кот не привыкнет к новому месту, потеряется, но Уголек вполне вольготно чувствовал себя в новой избе и приоровился спать под боком у Аксиньи.

Не было теперь лучших друзей, чем Васька и Уголек. Долгими зимними днями и вечерами они носились по избе и представляли собой ощутимую угрозу для кувшинов и мисок – не раз сворачивали они поставец с посудой. И только Анна спасала их обоих от розги в руках Софии.

6. Круговорот

– Я ведь и брата сгубила. И отца. И мужа, – прорвало молчавшую теперь днями Аксиною. Вдвоем с матерью склонили они головы над узорчатым покрывалом.

– Дочь, не дури. Есть на тебе вина... Но не ты же виновата, что Степка строгановский к тебе приставал... Что муж изменял... Что сотворит такое... И себя сгубил, и Федю нашего. – Анна долго молчала. – А отца я угробила. – София удивленно переводила взгляд с матери на дочь и обратно.

– Ты? Матушка, о чем ты?

– Я ж рассказала ему, греховодница, про отца Василисы. С тех пор он и меня ненавидеть стал, все простить не мог.

– О чем? Матушка! – Аксиныя оборвала себя на полуслове и посмотрела на мать. Склонившаяся голова под ветхим платком, выбившаяся седая прядь... Ее фигура согнулась, как отцветшие травы под осенними ветрами.

Анна

Родители Анны перебрались в Казань вместе с тысячами других русских людей по приказу Иоанна Грозного. Покоренное Казанское ханство стало частью России, по городам да поселкам татарским стали заселять русских.

Петр, простой скорняк, бобыль, женщин не любил с самой юности, но перед молодой и хваткой Василисой не устоял. Так появились на свет Анна и ее брат Федор. Не дожив до пяти лет, брат умер во сне, тихо и мирно.

Нюта осталась в семье одна, но забалованной не была. Долго и трудно устраивалась семья в чужом городе – и избу хорошую справить, и скотиной обзавестись, и поставщиков грамотных найти.

Уже двенадцатилетней Анна была посватана за Василия, лихого, чубатого соседского парня. И родителям он, работающий ученик гончара, был по нраву, и самой девушке не противен. Дело шло к свадьбе.

Повадился к Петру сын боярский. То соболь на шапку ему нужен особой выделки, то горностай на опушку плаща женушке. Положил глаз на Нюту – коса до колен висит, глаза глубокие, взор с поволокой,

брови соболиные, грудь высокая. Тайком от родителей приносил гостинцы ей – то петушка на палочке, то колечко серебряное, то пряник фигурный.

– Любить тебя буду, Аннушка, холить и лелеять. Поселю тебе в хоромы расписные, будешь, как королевишна, там сидеть да пряники грызть. Украшу тебя как паву, птицу прекрасную, будешь в жемчугах да яхонтах, в нарядах распрекрасных. Жену старую посылую в монастырь отправлю, а ты мне сыновей нарожаешь.

Слушала Нюра речи медовые и таяла. Позволила увезти себя в домик на краю города, нежилась там в руках сына боярского несколько дней, и честь свою девичью забыла, и родителей. А потом... увез он ее домой, к родителям и пропал бесследно. Где девке молодой найти в большом городе боярина и к ответу его призвать? Ничего Нюта родителям не рассказала, порота была жестоко да посажена под замок для острастки.

Через месяцок поняла она, что боярское семя проросло в ней пышным цветом. Выход один – к знахарке идти и зелье просить, чтоб вытравить ублюдка. Сжалилась старуха над расстроенной девкой, продала ей зелье за копейку и строго напонила:

– Три капли утром, три капли вечером, и покинет твое тело младенец. Сразу будь готова, боль тебя ждет адская, цепляется дитя за жизнь как может. Может, передумаешь еще, молодая да красивая, найдешь отца своему байстрюку. Ты и жизни можешь лишиться... Думай, девка.

Через месяц была назначено венчание Нюты и Василия. Девушка надеялась, что месяца достаточно, чтобы избавиться от ребенка и выздороветь. Каждое утро вытаскивала пузырек из укромного места Анна и смотрела на него, не решалась выпить грязновато-зеленую мутную жидкость.

Сыграли уже свадьбу, Анна и веселиться не могла. Все зудело, крутилось в голове: «Выпить... вытравить дьявольское семя».

Жить молодые стали с родителями Анны, и ладно сложилось их житье-бытье. Муж то ли не понял, что жена его не дева, то ли скрыл это знание от Нюты. Все бы хорошо, если бы не...

Два денька пообнимала она мужа своего. Кляла себя, дуру, за то, что пошла за сыном боярским, ввергла себя в грех. Зачем, если муж

законный, венчанный куда лучше полюбовника? И статен, и темноглаз, и любит ее безоглядно, и смотрит, как на богатство какое невиданное.

Проплакав всю ночь, решила Анна выпить зелье. Три капли утром. Три капли вечером. Все, как говорила бабка, а толку нет. Еще три капли утром выпила для верности.

Упала без чувств Анна на пол, нашли ее и на лавку положили. Три дня трясло ее в лихорадке, кровь застлала глаза, болели все внутренности так, что забывала Анна обо всем, хотела одного – освободиться.

Та самая старуха пришла, посмотрела, понимающе хмыкнула. Промолчала ведьма, ничего не сказала о причине болезни.

– Давайте каждый день, – протянула порошок в тряпичном свертке. – Молитесь за рабу грешную Анну.

Потихоньку Анна стала выкарабкиваться из бездны. Бледная, шатающаяся, с ввалившимися глазами, Нюта бродила по избе. Ребенок тело ее не покинул. Уцепился за мать так, что никакое зелье не в силах было оторвать его.

– Сестру муж любит богатую, а жену – здоровую, – вспоминали родители Нюты присказку, – а твой Василий холит и лелеет тебя, счастливцу.

Родилась дочь маленькой, нездоровой и крикливой. Сколь ни пыталась Анна отыскать в себе данную природой материнскую любовь к ребенку, приголубить девочку – ничего поделать не могла. Как ни взглянет на нее, так вспоминает обманщика, отца ее, дни болезни, оставшиеся в красном тумане.

Соседки злобились:

– Не выживет заморыш! Вон синюшная какая!

Молока у Анны не было. Без козы соседской не выкормила бы Василису. Держала дочку на печи в овчине. Дочка не умерла, но была чахлая, хлипкая с виду. С печи постоянно писк доносился. Анна с ног сбивалась, чтобы успеть и мужа накормить, и ребенка обиходить.

Много Анна с ней намучилась, да забрюхатела почти сразу вторым. Он родился сильным, крепким, на радость родителям.

Не зря они переехали на Пермскую землю, хорошо здесь сложилась их жизнь. Ни разу больше Анна ни словом, ни делом не обманула своего ненаглядного мужа. Рожала ему детей, вела хозяйство, помогала во всем, слушалась, как господина своего, и хранила тайну.

* * *

– Матушка, тяжело тебе пришлось... Вот что... Василиса-то!.. Страшно мне, – бормотала Акси́нья, пронзенная жуткой мыслью. – Все в роду нашем безрассудно поступают... грешно...

– Все? Ты о чем, доченька? Хотела я тайну с собой похоронить и сейчас жалею, что рассказала.

– Это ведь ты? Дверь той ночью открыла... Когда к Григорию...

– Я. Сама не пойму, как решилась. Пожалела тебя, дочка.

В светелке скрипнули половицы под невесомыми шагами. Софья слышала каждое из слов, обнаживших прошлое свекрови. Она медленно прошла мимо родственниц. Софья уставилась на Анну так, будто хотела проткнуть ее взглядом. «Тихая, тихая... Мышка. А ишь как злобно смотрит-то. Крысой зубастой», – промелькнуло усталое в голове.

* * *

Зима выдалась ранней и морозной. Пичуги мерзли прямо на лету. Дров уходило много – благо запасливый Василий оставил семье полную поленницу. Бабы старались поменьше во двор выходить, чтоб избу не выстудить и самим не заморозиться.

В середине декабря Акси́нья внезапно ожила. Драила полы, перестирывала все подряд ослабевшими руками.

– Что это с тобой, дочка?

– Надо избу готовить. Совсем мы ее, мамушка, запустили.

– К чему готовить-то? – Анна вздрогнула. Дочь ума лишилась.

– К рождению.

– Кого? Кто рожать-то будет?

– Ребенка. Брюхатая я. Не видно что ль?!

– Ты-ы-ы?!

– От Строганова, видно, ребенок будет. И крепко в животе сидит...

Мать так и осела на лавку и только и вымолвила:

– Чудны дела твои, Господи! А я и не углядела. – перекрестилась на образа и умиротворенно вздохнула.

– Сбылись слова Феодосии, матушка.

– А что, Акси́нюшка, сказала-то она тебе? Ты ведь так никому не призналась толком, – встрепенулась София.

– Сказала, что с мужем детей не будет. А от кого другого – рожу. Вот и получилось. От любви ребенок не зачинался. От злобы да мести...

– Зачем ты так говоришь, Аксинья! Ребенок всегда в радость.

– Да?! Не от мужа законного, а от любовника ребенок тоже радость?! Как по-твоему? – гневно напустилась на невестку Аксинья, будто тихая Софья в чем виновата была.

– Ты потише будь, – урезонила мать. – Ребенок от мужа твоего законного, по-другому и думать не смей. Отправили Григория на каторгу – дело иное. Вырастим... Добра накоплено много. С голоду не помрем.

Аксинья вспоминала, как носила она детей от Гриши, детей, которым не суждено было явиться на свет – берегла себя, как тонкостенный кувшин. С радостью гладила свое пузо, ощущая, как зарождается в ней жизнь. Муж обнимал ее, заботился – даже ведра из рук выхватывал!

Сейчас же первые три месяца она и не чувствовала ничего, уйдя в горе свое неисчерпаемое, не замечая зреющей внутри новой жизни. Потом увидела, как проступает живот на исхудавшем теле, ощутила другие, знакомые уже признаки, вспомнила, как мучительно рвало ее на крыльце темницы.

Долго она хохотала сама с собой, будто умалишенная.

– Зачем мне строгановское отродье? Как растить без мужа ублюдка-то?

Тайком от матери и Софьи зелье себе сварила. Выбрала наивернейший рецепт. После рассказа матери кольнуло сердце. Ее ребенок, ее кровь. Кто отец – неважно. Дело десятое.

Холодная зима заканчивалась, выкосив изрядно народ в Еловой. Голод и липнущие болезни не оставили шансам малым и старым. Умер староста Гермоген, усохший до самых костей; умер бортник Иван, подцепивший грудную болезнь; умерла древняя бабка Матрена; родами чуть не ушла к праотцам Зоя, своего новорожденного сына сберечь она не смогла, померло двое деток растерявшей щеки Дарьи Петуховой. Умерла старшая сестра Аксиньи, Анна вместе с двумя младшими детьми. Каждая семья отдала свою дань поганой зиме.

В Соли Камской ушли на небеса родители зловердного Никиты, его двухлетняя дочь. Не пощадила смерть детей приказчика, отца Михаила

и еще сотни три солекамцев.

Еловским старостой стал бондарь Яков. Деревенские не возражали: прижимистый, спокойный, он оживлялся только на кулачных боях. Яшка Петух был старше всех деревенских мужиков, хоть не исполнилось ему еще пятидесяти лет. Никого он сроду не обижал, был справедлив и умел договориться и с дьяками, и с целовальниками, и с лихими казаками.

Аксинья глотала слезу: отец должен был стать старостой деревенским. Мудрый, дальновидный, любивший старину русскую... Все судьба...

* * *

Прикрыв стыд широким сарафаном, а греховное нутро – покорностью, шла Аксинья на поклон. Она брела до Александровки, медленно передвигала распухшие ноги, которым малы стали вытертые сапоги. Давно, целую жизнь назад дорога была быстрой и веселой, с шутками, смехом, песнями. С гордо поднятой головой.

Вздохнула Аксинья о тех счастливых днях, о беззаботной Ульянке. Пышное тело истлело давно, а душа корчилась в адских муках.

– Прости нас, Господи Всемогуций!

Вскоре показалась деревушка. Бедностью веяло от каждого ветхого домишки. Уцелевшие собаки лаяли тихо и неохотно. Незнакомая баба с подозрением уставилась на Аксинью. В голодные и беспокойные времена всяк сидел дома.

Прислонившись к сараюшке, Аксинья перевела дух. Должна. Ради дитятка. Вымолить.

Посвистывающий ветер нагло гулял под ее ветхим тулупом. Аксинья выбрала самую скудную одежонку. «Чтобы жальче было и тати не отобрали», – скривила иссохшие губы.

Мать заголосила, услышав о решении дочери. Одна, в Александровку, к попу-пьянчуге... От греха все равно не отмыться, не отскрести деготь от ворот и тела.

На поседевшей бороде повисли крошки хлеба. Белый, давно такого есть не приходилось. Набрякший нос, бегающие глаза, язык, беспрестанно облизывающий губы.

– Отче! – Аксинья хотела поклониться в пояс, но живот разрешил ей лишь легкий наклон.

– Аксинья-я-яя, здравствуй, доченька. – Отец Сергей оглядывал молодуху и чуть не причмокивал языком от удовольствия. – Исповедаться надобно доброму христианину раз в месяц. А тебе, знахарство и колдовство творившей... В грехах погрязшей...

Все припомнил он Аксинье, все те годы, когда ускользала она в Соликамск, влекомая красотой убранства храма, мягкостью отца Михаила. Давно смотрела с усмешкой на пьянчужку, далекого от божьей благодати.

– Каюсь, – решила она и бухнулась в ноги. Тусклый свет с трудом проникал в неказистую часовенку. Светлые бревна, мох, торчащий из щелей. В спешке строили александровцы дом божий. У еловчан и такого не было.

– С магометанином жила... Каюсь... Похотью была томима... Каюсь... В гневе своем каюсь. – Чо она говорила, Аксинья и сама не помнила. Гордыня ее скукожилась в тугой комок и давила-давила, лишала воздуха.

– Со Степкой была? Со Строгановым? Говори! – таинство исповеди переплавлялось во что-то иное. Липкое, любопытное, гадкое. – В блюде состояла? В кровати возлежала? В тайные места проникать позволяла?

Вспомнилась Аксинья давняя исповедь, когда огорошил ее, молодую жену, священник.

Смирение застыло на ее лице, обращенном в утоптаный истовой паствой пол, ноне было смирение в мыслях: «Не все попадья батюшке дает, о чем мечтает он. Бесится отец».

– Наговор это, отец Сергей, – подняла она голову и вгляделась в опухшее лицо. Спихватилась, уронила красивую голову. Нет покорности в ней. Одна свобода лесная, нашептанная Глафирой.

Запоминала, сколько поклонов земных ей бить надобно. Сколько дней на хлебе и воде сидеть. Сколько каяться и молиться. Но это потом. Когда дитя греха вылезет за благословением божьим.

* * *

– Вжжик-вжжик. – Васька раскручивал брунчалку, и, склонив набок голову, прислушивался. В этот момент он, с темными кудрями, безмятежными чертами лица, точеным носом, так был похож на своего отца. Как быстротечно время...

Любимую игрушку четырнадцатилетнему Федору давно, целую жизнь назад смастерил отец. В куриной косточке провертел Василий два отверстия и продел в них тонкий кожаный ремешок. Федя игрушку туда-сюда вращал, ремешок натягивался, и брунчалка издавала низкий гул. Целыми вечерами крутил он в руках игрушку и так внимательно озирался по сторонам, будто ждал, что все бесы кинутся врассыпную от резкого звука.

Аксинья спрятала игрушку под лавку и забыла о ней. Брат беспокойно обшаривал всю избу, пока не раздавил своей крупной ступней брунчалку. Аксинья подняла такой рев, что отец пришел из коровника и пообещал, что сделает новую. Федя ее и в руки не взял и дулся на младшую сестру весь зарев^[66].

Теперь та брунчалка, что с любовью смастерил Василий, доставляла удовольствие внуку. Когтистая лапа Уголька, крутившегося неподалеку, поддела шнурок, и игрушка полетела в дальний угол избы.

– Вася, дай мне ее, – попросила Аксинья. Она сжала в руке косточку, будто та могла вернуть ее назад, в счастливое детство.

* * *

Морозным февральским днем сани остановились у избы Вороновых. Располневшая Анфиса выкатилась на крыльцо и несмело постучала в избу. Заглянула в покрытое морозными узорами окошко.

– Заходи, – открыла низкую дверь в сени Аксинья. Несколько мгновений стояли они, глядя друг на друга.

– Аксинья... Ты прости, – нарушила тишину Анфиса. – Прости, что тогда не пустила я тебя на порог своего дома. Муж запретил. Сама понимаешь... Григорий – каторжник... И ты... – Она замолкла.

– Понимаю я. Как не понять... Проходи в избу, холодно здесь.

Когда Аксинья сбросила душегрею в избе, стал виден ее живот, выпирающий даже в просторном сарафане.

– Ты... понесла? От Григория? – округлились ее глаза.

– Ты приехала ко мне вопросы задавать? Или за чем другим?

– Сыночки мои заболели... Никто сказать ничего толком не может... Травник дал снадобье какое-то. А толку?

– Рассказывай, что с ними. Сама понимаешь, поехать я к тебе не могу. Растрясет в дороге.

Прерывающимся голосом Анфиса рассказала, как оба ее мальчика стали кашлять. Не беда, поила малиновым отваром, кормила медом, травами. А кашель все сильнее и сильнее.

– Ни говорить детки не могут толком, ни дышать. Душит кашель проклятуший. Язык высовывается, лицо от красного синюшным делается. Так им плохо. – Фиса заглядывала Аксинье в глаза.

Знахарка задумалась, припоминая все, что узнала от Глафиры и прочитала в старом лечебнике. И синеголовник, и валериана, и чеснок, и подорожник помогут сыновьям «закадычной» подруги. «А не стоит ли поугубить ее? Мол, страшная болезнь, неизлечимая? Знать меня не хотела, а тут прибежала за советом», – лениво перекатывались думы.

Сжалилась над испуганной матерью. Рассказала ей про отвары и примочки, которые надлежало делать в ближайшие несколько дней. Анфиса щедро заплатила серебряной монетой. Аксинья была рада этому подспорью в голодное время.

* * *

– Аксинья, – окликнула Зоя хриплым, надтреснутым голосом.

Аксинья тяжело выпрямилась. Спина ныла. Любая работа давалась ей с трудом.

Зоя давно уже перестала здороваться с подругой, проходила мимо, отведя взор. А теперь оперлась о забор, улыбнулась.

– Скоро?

– В начале лета...

– Я сказать зашла. Младшего Анфиска не выходила. Старший здоровехонек. Спасибо тебе передавала.

– Что ж, я рада. – Аксинья не ощутила в сердце горечи и сострадания. Ребенок умер. В очередной раз подивилась стылости своей. Слушает о людском горе, смертях и болезнях. И не щемит сердце. Покой. Видно, растущее в ней дитя забирало все ее жизненные соки и чувства.

Все девять месяцев не берегла Аксинья, будто считала – плод греха живучий, цепляется за жизнь изо всех сил. Решила для себя – не суждено, значит, скинет опять ребенка, суждено – родит. Мыла пола, лазила в подпол, кормила скотину до самой последней недели.

* * *

Весна выдалась ранняя, дружная, уже к середине мая вылезли дружные всходы ржи, гороха, капусты. Солнце жарило уже полетному, нагоняло неистовые грозы. Еловую ливни обходили стороной, проливаясь где-то к северу от Усолки. Земля рассыхалась, а к началу червения пришла беда.

Кроваво-красное солнце медленно исчезало за лесом. Марево окрасило прихотливо извивающуюся Усолку, плавно несущую свои спокойные, чуть мутноватые воды по Великой Перми. Замер жаркий воздух.

Явственно пахло дымом, горьким и удушающим. К Еловой с юга подступала стихия, несущая разрушение и смерть. Несколько дней назад молния выбрала жертвой своей полузасохшую сосну. Огонь, подгоняемый жестоким ветром, начал свое странствие по Пермской земле.

Аксинья медленно вышла на крыльцо, с трудом переставляя пудовые ноги. Деревенька, несмотря на угрозу, жила своей хлопотливой, шумной жизнью. Пастух гнал голосащее стадо с лугов. Мужики с заступами и топорами шли навстречу пожару. Если полоса вырубленного леса и вскопанной земли не остановит стену огня, то Еловая будет сожжена дотла вместе со всеми своими обитателями.

Аксинья смотрела на суету, на клубы дымы. И не видела ничего. Вода стекала по ногам, намочив подол, и скапливалась небольшой лужицей на крыльце. Боль скручивала ее узлами, а в самом нутре был огненный сгусток. Такой же горячий, как подступающий к деревеньке пожар. Аксинья не позвала мать, не крикнула соседке, стояла каменным истуканом, вбирая в себя обжигающую боль.

– Степан, Григорий, сукины дети, – шептали ее бескровные губы. – Как я буду дитя свое растить... Грешница я... Нет мне прощения...

* * *

Боль застилала свет для Аксиньи, потерявшей человеческий облик. Корчась в муках, она выкрикивала проклятия всему мужскому роду, сводила с ума мать и Софию.

К утру начался слабый дождь, перешедший в дикий ливень. Мощными струями он задавил пожар. Облегченно вытирая закопченные лица, подставляя их под благословенные слезы неба,

мужики шли домой. Еловая радостно вздохнула, чудом выжив в борьбе с огненной стихией.

Тем же утром Аксинья родила дочь, родила уже на последней потуге, не веря, что останется живой. Обрезав пуповину и вытерев склизкие кровянистые сгустки, Анна подоткнула дитя под бок измученной дочери:

– Смотри, какая красавица!

Еле разлепив опухшие глаза, роженица вгляделась в крошечную дочку и поняла, все было не зря. Не зря стала она грешницей, потеряла мужа, опозорила семью... Не зря, если послали ей небеса маленькое чудо с темно-синими бархатными глазами.

Так судьба совершила очередной умопомрачительный круговорот, несчастье превращая в счастье, тасуя людей, как карты, в огромной колоде жизни, заставляя людей задаваться вечными вопросами: что такое любовь, откуда она берется и куда уходит, что есть обман и что правда, что грех и что праведность.

Послесловие

Полная историческая достоверность – вещь в своем роде страшная. Вряд ли читателю было бы приятно представлять главную героиню со сбритыми и нарисованными выше своих бровями, черненными зубами и белками глаз, напудренной, нарумяненной так, что естественного цвета лица не увидишь. А именно так выглядела привлекательная, ухоженная женщина в Московском государстве XVI–XVII веков.

Деревни Еловая, Александровка, конечно, выдуманы, но при этом вполне типичны для Предуралья того периода. Эпизоды истории Соли Камской – ныне Соликамска – основаны на реальных фактах, за которые благодарю авторов чудесного издания «Поморский город Соликамск».

Фигурирующий в романе Степан Строганов, внебрачный сын знаменитого купца, не является исторической личностью, как большинство героев: крестьяне, купцы и ремесленники. Артемий Бабинов, упоминающийся в романе, действительно жил в данный период времени и, исполняя поручение, построил дорогу в Верхотурье.

Атмосфера тех мест, менталитет людей переломной эпохи – религиозность, вера в колдовство, пренебрежение к женщинам были воссозданы автором с максимальной достоверностью.

Интересующихся повседневной жизнью женщин Древней и Московской Руси отсылаю к замечательной книге доктора исторических наук Натальи Пушкаревой «Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии: невеста, жена, любовница».

Примечания

1

Посошное (обложение) – поземельный налог в России в XIII–XVII веках.

2

Куть – задний женский угол в избе, место перед печкой.

3

Сечень – январь.

4

Гевест – Гефест (имя бога искажено).

5

Понёва – шерстяная ткань; также сшитая из нее одежда, представлявшая собой кусок материи, обернутый вокруг бедер, распашную юбку.

6

7092 год от сотворения мира – 1584 год.

7

Аршин – примерно 71 сантиметр.

8

Капустник – огород.

9

Жовтень – октябрь.

10

Бабий кут – женский угол в русской избе, где женщины занимались стряпней, рукоделием.

11

Тимофей-весновей – народный праздник, связанный с именем святого Тимофея Олимпийского, предвестник весны; 21 февраля по старому стилю.

12

Вогулки – представительницы местного населения, народа, родственного хантам и манси.

13

Березовый месяц, березень – март.

14

В Пелым были сосланы угличцы, признанные виновными в смерти царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного.

15

Вяжихвостки – сплетницы.

16

Лютый месяц – февраль.

17

Мымра – нелюдимый человек.

18

Долгое время считалось, что переводов иноземных лечебников на русский язык не существовало, но в конце 1970-х гг. советские ученые ввели в оборот древнейшие лечебники. Описание лечебника, целебных средств основано на реальных исторических данных.

19

Латиняне – католики.

20

Свербигузка – непоседливая девушка.

21

Стрыя – тетка по отцу

22

Вековуша – старая дева.

23

Мастер басманного дела – ювелир.

24

Шинора – проныра.

25

Матренин день, день Матроны Солунской – 27 марта по старому стилю.

26

Верста – 1066, 8 м.

27

Авторское переложение народных песен.

28

Рождество Богородицы – 21 сентября.

29

Квитень – май; *травень* – июнь.

30

Зыряне – старое название народа коми, данное русскими.

31

Персефона – греческая богиня.

32

Бишмула – одно из названий ирги, кустарника с темными плодами.

33

Фуфлыга – маленький, хилый мужичонка.

34

Хлебное вино – водка.

35

Вымесок – незаконнорожденный ребенок.

36

Кафа – второе название Феодосии.

37

Енда – гулящая девка.

38

Поршни – кожаная обувь на Руси.

39

Бу ким – кто это? (крымско-татарский).

40

Калита – небольшая сумка.

41

Повойник – головной убор замужней женщины.

42

Корзно – плащ.

43

Петров пост продолжался через неделю после Дня Святой Троицы до 29 июня, Дня Петра и Павла.

44

Китайская трава – женьшень.

45

Вопросы из церковных требников XVI–XVII вв.

46

Ахмак – дурак (крымско-татар.).

47

Копекке копек олюмы – собаке собачья смерть (крымско-татар.).

48

Гусиная дорога – на Руси Млечный Путь.

49

Бугунь ава сыджакъ – Сегодня жарко (крымско-татар.).

50

Аджайип! Пек аджайип! – Чудесно! Замечательно! (крымско-татар.).

51

Сагъ олунъыз! Мен чиберек седем! – Спасибо! Я так люблю чебуреки! (Крымско-татар.)

52

Ачу – открой (крымско-татар.).

53

Ложе детинное – плацента.

54

Василий Капельник – 28 февраля по старому стилю.

55

Царевич Дмитрий – сын Ивана Грозного, умерший в 1591 году в Угличе; Бориса Годунова обвиняли в его смерти, впрочем, версия эта до сих пор не доказана и оспаривается многими историками.

56

Повойник – головной убор замужней женщины, шапочка, одевавшаяся под платок-убрус.

57

Медовый спас – 14 августа.

58

Успение Пресвятой Богородицы – праздник, завершающий Успенский пост.

59

«*В душу*» – удар в солнечное сплетение.

60

День Святого Георгия – по старому стилю 23 апреля.

61

Сажень – 216 см.

62

Крестовая подруга – существовал обычай, когда подруги обменивались нательными крестиками. Считалось, что это делает дружбу нерушимой.

63

День Усекновения главы Иоанна Предтечи – великий праздник, посвященный Иоанну Крестителю, его мученической смерти, по старому стилю 29 августа.

64

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (по старому стилю).

65

Фома-хлебник – День апостола Фомы, 6 октября по старому стилю.

66

Зарев – сентябрь.